ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

1977

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК 1977



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1981

Настоящий выпуск «Тюркологического сборника» посвящен проблемам истории тюркских языков, текстологии древних и средневековых тюркских памятников, истории культуры древнетюркских народов Центральной Азии.

$T\frac{70000\text{-}192}{013\ (02)\text{-}81}$ БЗ-94-92-81. 4600000000

ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК
1977

Утверждено к печати
Институтом востоковедения Академии наук СССР

Редактор *Л. С. Ефимова*. Младший редактор *Т. Н. Толстая*
Художественный редактор *Э. Л. Эрман* Технический редактор *В. П. Стуковнина*.
Корректоры *В. В. Воловик* и *Р. Ш. Чемерис*

ИБ № 14006

Сдано в набор 16.10.80. Подписано к печати 03.11.81. А-08620. Формат 60×90[1]/[16]. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 18.5. Усл. кр.-отт. 18.75. Уч.-изд. л. 19.92. Тираж 1400 экз. Изд. № 4722. Зак. 1873.
Цена 3 р. 10 к.

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва К-45, ул. Жданова, 12/1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Новый том «Тюркологического сборника» посвящен общефилологическим и лингвистическим проблемам, связанным с изучением истории тюркских языков, методикой историко-филологических исследований в тюркологии, изучением историко-культурного наследия древних и средневековых тюркских народов Центральной Азии.

Н. А. Баскаков, обращая внимание на существующий разнобой в номенклатуре названий древних литературных языков, предлагает вместе со своей периодизацией их истории и единую схему их обозначений. В статье Г. Ф. Благовой поднят комплекс проблем, касающихся особенностей истории тюркских литературных языков и их исторической грамматики. Особое внимание уделено перспективам функционально-стилистического подхода к анализу морфологии отдельных текстов, в связи с чем обсуждаются методы изучения поэтического языка. Большое место уделено в статье проблемам периодизации письменно-литературных языков и их отношению к языкам общенародным.

Историографическая работа И. Г. Добродомова посвящена изучению (до 1965 г.) тюркизмов русского языка. Полнота обзора более чем двухсотлетней работы над тюркизмами как в славистике, так и собственно в тюркологии делает эту статью своего рода путеводителем по немаловажной теме, освещающей этапы культурного взаимодействия русского народа с его тюркоязычными соседями. Одна из статей Д. М. Насилова посвящена истории «дорамстедтовской» алтаистики, причем показано зарождение на урало-алтайском материале двух методов исследования — генетического и типологического.

Опыт сопоставления тюркских языков Саяно-Алтайского региона позволил В. И. Рассадину показать, что хотя эти современные тюркские языки входят в разные группы и подгруппы в рамках существующих классификаций, они сохраняют явные следы своей исторической общности. С. Н. Иванов, рассматривая проблему придаточных предложений в тюркских языках, выясняет место изъяснительных атрибутивных конструкций, вводимых глагольным именем на *-ган*; отмечается, что эти конструкции являются результатом развития самой синтаксической модели определительных причастных оборотов; вместе с тем автор отстаивает продуктивность и перспективность подхода к причастным оборотам как к зависимым трансформам. Продолжением серии работ, посвященных проблеме глагольного вида и изучению генетических связей алтайских языков, является другая статья Д. М. Насилова.

Рассматривая показатель способа действия, обозначаемый в тюркских языках формантом *-а-*, автор сопоставляет его с аналогичными формантами в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, в особенности фиксируя внимание на тезисе о необходимости выделения деривационных показателей как модификаторов смысловой стороны слова.

Статья Л. Ю. Тугушевой выявляет вариативность, сложную стилистическую структуру древнеуйгурского языка, показывает целевую (функциональную) направленность того или иного стиля и их связи с памятниками разных типов. А. И. Чайковская, разрабатывая материалы грамматик Ибн Муханны и Абу Хаййана (XIV в.), выявляет представленные там «дифференциальные значения» условных форм тюркского глагола. А. П. Григорьев дает недвусмысленный ответ на давно обсуждаемый вопрос о языке золотоордынских актов XIII—XIV вв., известных только в старинных русских переводах. Автор показал, что первоначально эти документы были написаны по-монгольски, затем дословно переведены на тюркский, с которого был сделан русский перевод.

Несомненный интерес представляет текстологическое исследование И. В. Кормушиным основных древнетюркских рунических памятников — надписей в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана. Автор вносит ряд важных поправок в чтение и перевод этих не раз издававшихся текстов. Серию мелких рунических надписей с Енисея публикует Д. Д. Васильев. Историко-культурные аспекты генезиса древнетюркской культуры исследуются в статьях Э. А. Новгородовой и Д. Г. Савинова.

И. В. Стеблева в своей статье рассматривает вопросы современной стиховедческой интерпретации некоторых традиционных теоретических положений, сформулированных Бабуром в его «Трактате об арузе».

С. Ю. Неклюдов, обращаясь к изучению фольклорно-мифологических связей тюркских и монгольских народов, приходит к выводу о значительных совпадениях в обеих мифологических системах, об исторической преемственности «степной» мифологии начиная с хунну. Статья С. Г. Кляшторного посвящена анализу отдельных фрагментов древнетюркских памятников, содержащих мифологические образы; впервые предложена сюжетная схема древнетюркской мифологии.

Сборник, достаточно полно отражая современное состояние тюркологии в области охватываемых проблем, вводит в научный оборот как новые продуктивные выводы, так и сумму впервые установленных фактов, исследованных в общей системе научной дисциплины.

Редколлегия

Ф. Д. Ашнин

ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ НАУЧНАЯ ГРАММАТИКА АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА
(Вопрос о названии)

История мистификации вокруг Грамматики алтайского языка была бы неполной, если бы вслед за решением проблемы авторства [1] мы не установили с должной последовательностью все так называемые рабочие варианты названия грамматики и не отграничили истинное от вымышленного, правду от домысла. В свою очередь, установление всякого рода азбук, грамот, руководств и т. д. прольет дополнительный свет на историю создания классической грамматики алтайского языка и заодно поможет окончательно расстаться с некоторыми мифами.

Первое, весьма неопределенное указание на возможный прообраз или, лучше сказать, зародыш будущей Грамматики алтайского языка мы встречаем в письме основателя Алтайской духовной миссии архимандрита Макария Глухарёва (1792—1847) митрополиту Филарету (Дроздову) (1783—1867) от 29 декабря 1841 г.: представляя митрополиту свое «Начальное чтение», архимандрит сообщал, что «миссия приготовляет уже для представления церковному начальству сообразную сей славянской азбуке азбуку на телеутском наречии» [2]. Но в обширном эпистолярном наследии Макария Глухарёва мы не находим никаких указаний относительно того, «была ли это азбука телеутского наречия. . .·[и] . . .была ли она закончена. Впоследствии при составлении алтайской грамматики об этом труде не упоминалось» [3]. Вероятнее всего «азбука телеутского наречия» не вышла из области благих наме-

---

[1] См.: Ф. Д. Ашнин. Первая печатная научная грамматика алтайского языка. Проблема авторства. — ТС-1975. М., 1978, с. 34—61.

[2] См.: Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской миссии. С биографическим очерком. Под ред. К. В. Харламповича. Казань, 1905, с. 151.

[3] К. В. Харлампович. Архимандрит Макарий Глухарев. По поводу 75-летия Алтайской миссии. СПб., 1905, с. 127—128.

рений, так как вскоре после упомянутого письма архимандрит подал в синод прошение об увольнении со службы на Алтае и спустя некоторое время оставил миссию.

Более или менее прямое указание на работы, которые велись в интересах грамматического описания языка основного населения Алтая, мы встречаем в помещенной в апрельской книжке «Душеполезного чтения» за 1864 г. статье второго начальника Алтайской миссии протоиерея С. В. Ландышева (1817—1883). В этой статье и в вышедшей тогда же одноименной брошюре С. В. Ландышев в целях пропаганды достижений миссии и привлечения пожертвований на ее «богоугодное дело» как бы между прочим обмолвился, что у них в миссии составляется грамматика алтайских татарско-калмыцких наречий[4].

Но протоиерей не указал при этом, кем именно составлялась грамматика, какое грамматическое сочинение взято за образец, на какие пособия составитель или составители опирались и на какой стадии составления находилась эта грамматика в 1864 г. Судя по тому, что название составляемой грамматики упоминалось рядом с «сравнительным лексиконом алтайских татарско-калмыцких наречий с языком тобольских татар, по словарю Гиганова», можно думать, что одним из основных пособий и, возможно, образцом служила составителю или составителям «Грамматика татарского языка» того же Иосифа Гиганова (ум. 1800).

Документально засвидетельствованным рабочим вариантом названия грамматики является, однако, совсем иное, куда более скромное и вполне определенное: «Руководство къ изученію Алтайскаго языка».

Вокруг этого руководства развернулась специальная многосторонняя переписка, нашедшая известное отражение в биографических описаниях причастных к нему лиц и отложившаяся отчасти в Центральном государственном архиве Татарской АССР в Казани в виде отдельного дела в фонде Н. И. Ильминского (1822—1892)[5]. Заключенные в ЦГА ТАССР архивные данные — при всей их неполноте и случайности — имеют особое значение, так как наиболее интересный для нас архив Алтайской духовной миссии полностью уничтожен в Бийске во время большого пожара 1886 г., а заключенные в биографических очерках миссионеров сведения

[4] См.: С. В. Ландышев. Алтайская духовная миссия. М., 1864, с. 7, подстр. примеч.

[5] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 12, л. 1—8. Дело № 12 приобщено к фонду Н. И. Ильминского, надо думать, позже, так как папка с этим делом озаглавлена: «Дело Казанской учительской семинарии. Бумаги Хозяйственного управления при св. Синоде о печатании Алтайской грамматики, составлен[ной] членами Алтайской миссии».

носят отрывочный и противоречивый характер и нуждаются в тщательной взаимной проверке.

Приведем первый и самый полный официальный документ — отношение Хозяйственного управления св. синода профессору Казанского университета коллежскому советнику Н. И. Ильминскому от 23 июня 1867 г.:

«Святейший Синод, определением 10 сего июня [1867 г.] разрешил напечатать в типографии императорского Казанского университета, составленное протоиереем Ландышевым и миссионером Вербицким „Руководство к изучению Алтайского языка", употребляемого среди иноверцев, дополненное и исправленное по замечаниям Вашим, профессора С.-Петербургского университета Казембека и миссионера иеромонаха Макария, в числе тысячи двухсот экз., с поручением Вам, вследствие изъявленного Вами начальнику Алтайской миссии согласия, цензурования и корректуры сего сочинения.

Вследствие сего, препровождая означенную рукопись и отзыв священника Вербицкого на замечания г. Казембека, Хозяйственное управление при святейшем Синоде имеет честь покорнейше просить Вас принять на себя труд по изданию означенной рукописи в типографии Университета, о чем вместе с сим оной сообщено» [6].

Имеющиеся в том же деле четыре других отношения Хозяйственного управления при св. синоде от 14.I.1868, от 17.III.1868, от 3.IV.1869 и от 9.VII.1869 гг. на имя проф. Н. И. Ильминского носят сугубо делопроизводственный характер и почти не содержат интересных для нас сведений, а потому ограничимся констатацией того факта, что синод взвалил на плечи Н. И. Ильминского, не спросив предварительно на то его согласия, «цензурование и корректуру» «Руководства к изучению алтайского языка» [7].

Роль С. В. Ландышева в создании «Руководства» неясна, как неясно отношение этого руководства к обещанной им грамматике алтайских татарско-калмыцких наречий. С другой стороны, известно, что В. И. Вербицкий (1827—1890) «с 1857 по 1868 год тру-

---

[6] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 12, л. 1.

[7] К этому «Руководству к изучению алтайского языка» не имеет отношения составленное Макарием Невским и М. В. Чевалковым так называемое «Руководство к изучению грамоты» (см.: «Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора святейшего Синода графа Д. Толстого по ведомству православного исповедания за 1868 г.». СПб., 1869, с. 108), именуемое еще как Букварь или Азбука для обучения грамоте [«Томские епархиальные ведомости» (далее — ТЕВ), 1895, № 5, с. 10 и «Православный собеседник» (далее — ПС), 1905, май, с. 53], или как «Алтайско-русский букварь с книгой для чтения». СПб., 1868 (ПС, 1898, июнь, с. 652) и переработанное для второго издания «заботами г. директора Казанской учительской семинарии Н. И. Ильминского» (ТЕВ. 1883, № 15, с. 443) в виде: «Алтайский букварь. Алтай кiжiлер балдарын бiчiке ӱредерге. Азбука». Казань, 1882, 48 с. Этот переработанный «Алтайский букварь» имеется в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

дился над составлением грамматики Алтайского языка, отпечатанной в 1869 году» [8], и в переписке с А. К. Казембеком и Н. И. Ильминским выступал до 1866 г. как единоличный составитель «Руководства» («моя грамматика», «я опирался», «я воспользовался» и т. д.).

Никаких следов первоначального текста этого «Руководства» в фонде Н. И. Ильминского (ЦГА ТАССР, ф. 968) нет. Нет их и в типографии Казанского университета: если «Руководство» не было уничтожено по завершении всех работ, оно вполне могло сгореть во время многочисленных пожаров в старой типографии Университета. Впрочем, интерес этот к судьбе рукописи «Руководства» чисто исторический: по данным других источников нам хорошо известно, что оно создавалось по указаниям Н. И. Ильминского и коренным образом переделывалось под его непосредственным руководством и при некоторой помощи Макария Невского (1835—1926). Обратимся к этим источникам.

К. В. Харлампович (1870—1932) свидетельствует [9], что проф. Н. И. Ильминский, прослышав от кого-то, что священник В. И. Вербицкий трудится над пособием по языку алтайцев, в 1863 г. посылает ему свой «Букварь для крещеных татар» (Казань, 1862), а вслед за тем — почтой или с оказией и с явной целью поднять научный уровень пособия — свой рукописный «Очерк татарского языка», «Грамматику монгольско-калмыцкого языка» А. А. Бобровникова, свои «Материалы к изучению киргизского наречия», «Материалы для джагатайского спряжения» и др. Нередко Н. И. Ильминский давал В. И. Вербицкому советы, каким образом тот мог бы воспользоваться его доброхотной помощью. Так, пересылая ему через нового, третьего по счету начальника миссии архим. Владимира Петрова (1828—1897) ряд материалов, в частности брошюру с джагатайским спряжением, Н. И. Ильминский писал в письме от 24 февраля 1866 г.: «Здесь есть формы, встречающиеся в алтайском наречии и которые о. Вербицким, по-видимому, не точно определены» [10]. Эта бескорыстная товарищеская и реальная помощь знаменитого востоковеда рядовому священнику была весьма кстати, так как у В. И. Вербицкого к началу 1865 г. заходила явно в тупик его переписка с синодальным цензором изданий вероучительных книг на алтайском языке профессором С.-Петербургского университета А. К. Казембеком (1802—1870) по вопросу об издании «Руководства к изучению алтайского языка»: с каждым новым представлением рукописи число замечаний цен-

---

[8] См.: Протоиерей Василий Иоаннович Вербицкий (некролог). — «Нижегородские епархиальные ведомости». 1890, № 21, с. 915.

[9] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и Алтайская миссия. Казань, 1905.

[10] Там же, с. 6—7.

зора не уменьшалось, а терпение священника иссякало [11]. Последние такие замечания, явно неконструктивного характера, и ответы В. И. Вербицкого, написанные, по-видимому, зимой 1864/1865 г., несут на себе печать взаимной неприязни [12]. Стена взаимного непонимания росла.

Выход из положения, однако, был найден. Его нашел архим. Владимир. В самом начале 1866 г. по дороге из Петербурга на Алтай он остановился в Казани и нанес визит Н. И. Ильминскому в надежде найти в его лице руководителя и наставника в деле усовершенствования «Руководства» В. И. Вербицкого [13]. Н. И. Ильминский изъявил готовность помочь, архимандрит же истолковал эту готовность как предложение помощи. Как бы то ни было, «Руководство» В. И. Вербицкого от этого только выигрывало. «Предложение Н. И. Ильминского, как благородное и чистосердечное, — читаем мы в письме В. И. Вербицкого к архим. Владимиру от 1 июня 1866 г., — приемлю с искреннею благодарностью. Если есть ошибки в грамматике, то они происходят не от упорства, каприза, желания устоять, хоть на плохом, да на своем, а от ошибочности взгляда, недостаточности понимания. Он желает, чтобы работа моя была совершеннее. Надобно полагать, что и я не враг этого желания» [14].

Есть и более обстоятельные свидетельства оказания Н. И. Ильминским помощи В. И. Вербицкому в деле «исправления» «Руководства»: «Получив от Вас в 1863 г. „Букварь для крещеных из татар на их разговорном языке“,— читаем мы в письме В. И. Вербицкого к Н. И. Ильминскому от 1 июля 1866 г. — . . .я хотел отплатить Вам тем же — присылкою моей грамматики Алтайского

---

[11] Ср. свидетельство Н. И. Ильминского, оставленное им в виде (неотправленного?) письма от 8 сентября 1870 г. на имя какого-то видного сановника Ивана Александровича: «Позволю себе указать и на то, что Алтайская грамматика много раз присылалась с Алтая в Петербург и оттуда вспять с замечаниями для переделки; а наконец, в Казани она была переделана и напечатана. Положим, это дело исполнял алтайский миссионер иеромонах Макарий, но не лишними были и мои указания» (ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 8, л. 25).

[12] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 12, л. 2—3.

[13] Позже, в письме от 14 августа 1869 г., архим. Владимир писал Н. И. Ильминскому по поводу его трудов «по исправлению Руководства к изучению алтайского языка»: «Озабочиваясь изведением на свет грамматики алтайской в 1866 г. и не списавшись предварительно с Вами, я решился просить графа Д. А. Толстого возложить на Вас это бремя: в проезд свой через Казань я видел Ваше пламенное сочувствие проектам нашим и, приехав на Алтай, предположил, что от оного бремени Вы не откажетесь. Надежда не посрамила меня, — Вы благодушно приняли на себя сообщенное Вам Его Сиятельством поручение» (П. В. Знаменский. Несколько материалов для истории Алтайской миссии и участия в ее делах Н. И. Ильминского. Казань, 1901, с. 18).

[14] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и Алтайская миссия, с. 9.

языка. Но вот от Вас получены еще „Материалы для Джагатайского спряжения“, а грамматика моя плохо движется, поэтому считаю обязанностью благодарить Вас как за книжицы, так и за искреннее Ваше мнение о моем посильном труде. Вы желаете, чтобы работа моя была совершеннее. Но, помилуйте, неужели я желаю противного? Кто же себе злорадец? Прошу покорнейше вникнуть в мое горестное положение: я не знаю н и о д н о г о восточного языка; следовательно, добираюсь до всего впотьмах, ощупью. Материалами никакими пользоваться не могу, не умею читать их, если они не написаны Всероссийскими письменами. — Драгоценнейшим источником для меня служит теперь Ваш „Очерк татарского языка“ — рукопись, данная Вами отцу архимандриту Владимиру, — нашему начальнику. Вот если бы поболее было таких материалов, тогда мы Вам доказали бы наше усердие пользоваться ими. Ведь если что излагается неверно, то излагается не по упрямству нашему, а по незнанию, по ошибочному пониманию. — На переводы я мало опирался, не доверяя им. Вы изволили, вероятно, заметить, что в синтаксисе почти все примеры заимствованы из пословиц и песен Алтайских. — Правилами Бобровникова, подходящими к нашему языку, я тоже воспользовался. Не умея читать по-монгольски, я по чутью какому-то понял, что Бобровникова грамматика — прекрасный для нас образец. Ах, как бы она была написана русскими буквами!» [15].

Далее след работы по усовершенствованию «Руководства» В. И. Вербицкого мы находим в его письме к Н. И. Ильминскому от 15 ноября 1867 г., в котором он выразил радость, что синод поручил печатание «Руководства» именно Ильминскому, и оставил на его усмотрение все дальнейшие исправления и дополнения без согласования с ним, Вербицким, так как он добросовестно, ничего не пропустив, воспользовался уже его указаниями, следуя им с полным сознанием их справедливости; при этом все вышло «ладно, парно и стройно» [16].

С момента обращения синода к Н. И. Ильминскому от 23 июня 1867 г. и возложения на него «цензурования и корректур» «Руководства» В. И. Вербицкого начался важнейший этап в работе над рукописью. Судя по отношению Хозяйственного управления к Н. И. Ильминскому от 14 января 1868 г., которое содержит ссылку на сообщение начальнику типографии Казанского университета «о недоставлении в типографию рукописи „Руководства“» и просьбу к справщику «о скорейшем исправлении и возвращении оной» [17],

---

[15] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 95, л. 16—17. Слова «ни одного» подчеркнуты В. И. Вербицким.

[16] См.: К. В. Х а р л а м п о в и ч. Н. И. Ильминский и Алтайская миссия, с. 10.

[17] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 12, л. 4.

Н. И. Ильминский в течение полугода работал над рукописью в одиночку, пока не пришел к выводу, что без информанта все же не обойтись, и в конце 1867 г. попросил архим. Владимира прислать к нему в Казань иером. Макария Невского. Архимандрит письмом от 5 января 1868 г. ответил полным согласием на командирование Макария в распоряжение Н. И. Ильминского. Макарий же в письме к Н. И. Ильминскому от 6 января 1868 г. выразил свою готовность выехать в Казань (напомнив при этом о своей причастности к труду В. М. Вербицкого: «что сказано о. Василием, то думал и я»)[18], но выехал все же только в середине мая, а при письме от 29 апреля 1868 г. «вместо себя послал свои замечания об алтайских глаголах, как бы уполномочивая его тем на самостоятельную работу над грамматикой и обещая принять все замечания с полною верою и искреннею благодарностью»[19]. Сам же явился в Казань только в июле 1868 г. Присутствие иером. Макария в качестве помощника при Н. И. Ильминском было необходимо: прилежно исполняя секретарские обязанности, он вместе с тем был для редактора своеобразным справочником и дополнительным источником, из которых извлекались недостающие данные. Что это так, видно из письма В. И. Вербицкого к Н. И. Ильминскому и иером. Макарию от 27 апреля 1869 г.: «Буквы *п* и *б* у Вас смешаны (это грех, внушенный в о. Макария исключительным произношением телеутов) напрасно. . . *б* в начале слова не изменяется в *п*. . . если не считать одного человека — Михаила Чевалкова за целое племя, ибо только он один говорит *паш* вм. *баш*, *пар* вм. *бар*. . .»[20].

Совершенно очевидно, что Н. И. Ильминский тщательно проверял изложенный В. И. Вербицким фактический материал на находящемся рядом информанте и иногда давал его по Макарию. Последующие исследователи убедились и подтвердили: правка Н. И. Ильминского имела под собой основания. И если верно, что в 1863—1866 гг. Н. И. Ильминский своими советами и литературой существенно помог составителю улучшить «Руководство», то верно и другое: Н. И. Ильминский со своим помощником за период с июля 1867 г. по май 1869 г. поднял «Руководство» до уровня первоклассной грамматики.

Заключительный этап работы по превращению «Руководства по изучению алтайского языка» в «Грамматику алтайского языка» ознаменовался двумя недоразумениями, одно из которых разъяснилось быстро, а другое до сих пор не вполне разъяснилось.

---

[18] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и Алтайская миссия, с. 10—11 (разрядка наша).

[19] Там же, с. 11.

[20] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 95, л. 18.

В. И. Вербицкий был явно раздосадован радикальной переработкой рукописи. «Разве так исправляют? Вы ведь ничего не оставили из моей работы, — писал он справщикам в письме от 27 апреля 1869 г. — Но как ваша работа вышла лучше моей, стройнее, общеобозрительнее, хотя и не яснее, то бог вас простит. . . — и добавил: — Предисловие напрасно вы похерили, от этого у вас и вышло, что Грамматика упала с неба в виде манны» [21]. Но о. Василий утешился сознанием, что в итоге коренной переработки его рукописи получилась «Грамматика», которой можно было гордиться; хуже обстояло дело с его авторством, так как авторство это нигде в «Грамматике» обозначено не было. Проблема авторства смыкается, таким образом, с другой проблемой: случайно или не случайно «Грамматика» оказалась анонимной или почти анонимной («составлена членами Алтайской миссии»). Нет, не случайно.

В сущности, в прямом указании на авторство был заинтересован только В. И. Вербицкий. Н. И. Ильминский проявлял в этом отношении лукавую беззаботность: сделав капитальный классический труд, он вспоминал о своей причастности к нему только в сердцах, когда почему-либо ставились под сомнение или попросту игнорировались его лингвистические заслуги [22]. В официальном отчете Хозяйственному управлению синода он скромно упомянул о своей роли в создании «Грамматики» [23], а в ответ на запрос обер-прокурора синода графа Д. А. Толстого написал 10 сентября 1869 г. письмо, в котором постарался спрятаться в тень: «Издание Алтайской грамматики давно покончено, и я дал отчет по редакционной части в Хозяйственное управление при св. Синоде. Смею заверить Ваше сиятельство, что иеромонах Макарий постоянно принимал в этом деле самое деятельное душевное и весьма полезное участие; без его помощи дело это не могло бы осуществиться. . .» [24] Это означает, что об авторском праве на «Грамматику алтайского языка» Макарию Невскому не надо было пещись: о нем позаботился Н. И. Ильминский. Макария это вполне устраивало.

Таким образом, трудами В. И. Вербицкого, Макария и проф. Н. И. Ильминского была создана Грамматика алтайского языка с приложением Русско-алтайского и Алтайско-русского словарей, изданная в Казани в 1869 г. под редакцией Н. И. Ильминского объемом почти 600 страниц и тиражом 1200 экз.; Грамматика, на титульном листе и на обложке которой напечатано: «Составлена членами Алтайской миссии»; Грамматика,

[21] Там же. Слова «хотя и не яснее» подчеркнуты В. И. Вербицким.

[22] См. выше примеч. 11.

[23] См.: П. В. Знаменский. Несколько материалов для истории Алтайской миссии, с. 6—7.

[24] ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 8, л. 69.

которую проф. П. М. Мелиоранский назвал «прекрасной» [25], акад. К. Г. Залеман — «образцовой» [26], Н. К. Дмитриев — «классической» [27], Е. Д. Поливанов — «на редкость превосходной» [28], А. М. Сухотин — «заключающей в себе бездну премудрости» [29], акад. А. Н. Кононов — «составившей эпоху в грамматической разработке тюркских языков», содержащей «тончайшие лингвистические наблюдения», «вошедшей в золотой фонд мировой тюркологии» [30] и т. д.

Все сказанное дает нам право утверждать, что вместо «составлено членами Алтайской миссии» на титульном листе можно с достаточной уверенностью указать имена авторов: «В. И. Вербицкий, Макарий Невский, Н. И. Ильминский. Под редакцией проф. Н. И. Ильминского».

Наконец, отметим еще, что в обиходе «Грамматика алтайского языка» именуется нередко как «Алтайская грамматика» [31].

В этой неопределенности с обозначением авторов на титульном листе, т. е. в формуле «составлена членами Алтайской миссии», заключена возможность не только неоднозначного определения авторства, но и вероятность отлучения соавторов, т. е. присвоения произведения в целом путем выдвижения версии о наличии как бы параллельного издания «Грамматики». Что это не домысел, показывает история возникновения одного мифа с краткой грамматикой алтайского языка.

Началось с того, что некто «М. М.» в статье «Природа и население Алтая» вначале сообщил, что членами миссии составлены «два важных труда по филологии алтайского языка; а именно: а) Грамматика алтайского языка со словарем и б) Алтайско-аладагский и русский словарь» [32]; тем временем некто «И. И.» в качестве составителя некролога В. И. Вербицкого уточнил, что покойному протоиерею принадлежат «первые труды по составлению

---

[25] П. М. Мелиоранский. Краткая казак-киргизская грамматика. Ч. 2. Синтаксис. СПб., 1897, с. VI.

[26] ЗВОРАО. Т. 1. СПб., 1887, с. 37.

[27] Н. К. Дмитриев. Труды русских ученых в области тюркологии. — «Уч. зап. МГУ», 1946. Вып. 107. Т. 3. Кн. 2, с. 65.

[28] Е. Д. Поливанов. За марксистское языкознание (Сборник популярных лингвистических статей). М., 1931, с. 22.

[29] См.: ТС-1975. М., 1978, с. 39, примеч. 10.

[30] А. Н. Кононов. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1972, с. 199; он же. В. В. Радлов и отечественная тюркология. — ТС-1971. М., 1972, с. 8.

[31] См., например, у Н. И. Ильминского: «Издание Алтайской грамматики давно покончено. . .» (ЦГА ТАССР, ф. 968, оп. 1, д. 8, л. 69); у А. К. Боровкова: «Из общеизвестных у нас описательных грамматик можно сослаться на Алтайскую грамматику (Грам. Алт. яз., Казань, 1869)» («Революция и письменность», М., 1936, с. 90, примеч. 1).

[32] ТЕВ. 1891, № 3, с. 4.

краткой грамматики алтайского языка, напечатанной в 1869 г. в Казани под редакцией высокочтимого Н. И. Ильминского» [33]. Спустя четыре года некто М. Михайловский в юбилейной статье, посвященной Макарию Невскому, внес дальнейшие уточнения: «Первая мысль о составлении грамматики алтайского языка принадлежит одному из старейших деятелей миссии, бывшему помощнику начальника миссии, покойному о. протоиерею В. И. Вербицкому. В 60-х годах им была задумана и составлена краткая грамматика алтайского языка. . .» [34].

Возможно, ошибка малокомпетентных в лингвистике священнослужителей так бы и осталась достоянием анналов духовного ведомства, если бы ее не подхватил, не усугубил и не закрепил рядом своих публикаций известный светский писатель — географ и антрополог А. А. Ивановский (1866—1934) [35]. Будучи уроженцем Малого Алтая (м. Мыюта) и высоко ценя вклад В. И. Вербицкого в изучение алтайцев, А. А. Ивановский на основании упомянутого выше некролога и некоторых других материалов [36] составил и опубликовал в собственной редакции некролог В. И. Вербицкого, в котором говорится: «С самого начала своего поступления в миссию о. Вербицкий. . . горячо принялся за изучение алтайского языка. Результатом этого изучения явилась сначала его „Краткая грамматика алтайского языка“, а потом. . . „Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка“», причем снабдил некролог списком печатных трудов, в котором на первом месте стоит «Краткая грамматика алтайского языка» [37]. Через год сведения о «Краткой грамматике» были повторены — со ссылкой на «Этнографическое обозрение» — в широко известном Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (ЭСБЕ) [38] в статье «Вербицкий Василий Иванович»; еще через год тот же А. А. Ивановский в предисловии к книге «Алтайские инородцы» [39] повторил свою версию насчет «Краткой грамматики» и включил ее в список трудов Вербицкого. Проф. К. В. Харлампович, много занимавшийся миссионерами, тоже способствовал упрочению мифа о существовании

[33] Алтайский миссионер, прот. Василий Иванович Вербицкий. — ТЕВ. 1891, № 1, с. 12.

[34] М. Михайловский. По поводу сорокалетней годовщины. . . — ТЕВ. 1895, № 5, с. 10. Возможно, что это тот же «М. М.».

[35] О нем см.: Л. П. Николаев. А. А. Ивановский (Некролог). — «Антропологический журнал», 1934, № 1—2, с. 150—152.

[36] См.: Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований. . . В. И. Вербицкого. . . Под ред. А. А. Ивановского. М., 1893, с. V—VI.

[37] А. А. Ивановский. Алтайский миссионер прот. В. И. Вербицкий. — Этнографическое обозрение. М., 1891, кн. 8, № 1, с. 178.

[38] А. А. Ивановский. Вербицкий Василий Иванович. — ЭСБЕ. Полутом 11. 1892, с. 8.

[39] В. И. Вербицкий. Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований. . . М., 1893, с. VII—XIV.

«Краткой грамматики алтайского языка» В. И. Вербицкого, представив этого деятеля как «автора многих исследований по этнографии Алтая, краткой грамматики алтайской, словаря алтайского и аладагского наречий тюркского языка, истории алтайской миссии и других трудов» [40]. Позже ошибка перекочевала в широко известный «Обзор» Д. Д. Языкова [41], Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (НЭСБЕ) [42] и последующие энциклопедии, включая Сибирскую советскую энциклопедию (ССЭ) [43] и первое издание Большой Советской Энциклопедии (БСЭ), где интересующее нас сочинение представлено в следующем виде: «Краткая грамматика алтайского яз. (без указания автора), изданная в Казани в 1869 трудами Алтайской миссии (основное пособие при изучении языка)» [44].

Вот так, нежданно-негаданно, почти на пустом месте, исподволь возникло недоразумение, а по существу был создан миф о «Краткой грамматике алтайского языка», составленной В. И. Вербицким, которая на первых порах (у «И. И.» — в начале 1891 г.) даже квалифицировалась якобы вышедшей в свет в 1869 г. «под редакцией высокочтимого Н. И. Ильминского», а затем (у М. Михайловского — в 1895 г., когда уже не было в живых ни В. И. Вербицкого, ни Н. И. Ильминского) «выяснилось», что «посланная на рассмотрение в св. Синод, эта грамматика найдена была неудовлетворительной и к изданию не была допущена. Составление алтайской грамматики было сначала поручено известному Казембеку, а потом, за отказом его, покойному директору Инородческой учительской семинарии в Казани — Н. И. Ильминскому. Но так как Н. И. Ильминский, хорошо знакомый с татарским языком, не знал языка алтайских инородцев, то им вызван был в Казань алтайский иеромонах-миссионер, ныне преосвященный Макарий, который в 1869—1870 гг. долгое время жил в Казани и которому принадлежит главный труд в составлении алтайской грамматики. Определение и уяснение правил и законов о звуках, их сочетании и изменении, о производстве и грамматических формах слов, о составлении из отдельных слов простых и сложных предложений, систематическое распределение грамматического материала, подбор примеров на грамматические правила, русско-алтайский и алтайско-русский словари, приложенные к грамматике, составляют исключительный труд преосвященного Макария.

[40] К. В. Харлампович. Н. И. Ильминский и Алтайская миссия, с. 5, примеч. 4.

[41] Д. Д. Языков. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей и писательниц. Вып. 10. М., 1907, с. 16.

[42] А. А. Ивановский. Вербицкий Василий Иванович. — НЭСБЕ. Т. 10, [б. г.], стб. 183.

[43] ССЭ. Т. 1. Новосибирск, 1929, стб. 456.

[44] Н. К. Дмитриев. Алтайские языки. — БСЭ. Изд. 1-е. Т. 1, 1926, с. 276.

2 Заказ № 1873

Для разъяснения внутреннего значения форм единственным пособием ему служила грамматика монгольско-калмыцкого языка, составленная проф. Бобровниковым. Н. И. Ильминскому принадлежала окончательная редакция русского текста грамматики. Алтайская грамматика была издана в 1869 г., в Казани, в университетской типографии. Она представляет объемистый том большого формата, заключающий в себе VIII страниц предисловия, 285 страниц текста грамматики, 289 страниц словарей. Это — капитальный и ценный вклад в науку общего языкознания» [45].

Если к этому добавить, что разговоры о злоключениях с «Краткой грамматикой алтайского языка» В. И. Вербицкого М. Михайловский завел в связи с «Грамматикой алтайского языка», выступающей под одиннадцатым номером в списке «особенно замечательных переведенных и самостоятельных литературных трудов преосвященного Макария на алтайском языке»; если мы примем во внимание, что в повторявшихся из года в год «Каталогах книгам, продающимся в синодальных книжных лавках в Санкт-Петербурге и Москве» «Грамматика алтайского языка» неизменно значилась в рубрике «Литература на алтайском языке»; если мы вспомним, что написанное Вербицким в рукописи предисловие с описанием истории ее создания было справщиками похерено как несущественное («и вышло, что Грамматика упала с неба в виде манны»), и учтем еще, что идея насчет «Краткой грамматики» Вербицкого культивировалась «И. И.» и М. Михайловским в подведомственной преосвященному Макарию миссионерской печати накануне и после смерти Н. И. Ильминского, станет понятно, что история с «Краткой грамматикой» Вербицкого не что иное, как наивная, но самая настоящая мистификация, имевшая своей целью как бы невзначай направить исследователя на ложный след и, заставив поверить в существование «Краткой грамматики алтайского языка» Вербицкого под редакцией Ильминского, подвести его к мысли, что настоящая, составленная членами Алтайской миссии «Грамматика алтайского языка» — «исключительный труд преосвященного Макария».

Жертвой мистификации с «Краткой грамматикой алтайского языка» В. И. Вербицкого стал недавно скончавшийся финляндский ученый проф. Мартти Рясянен (1893—1976), систематически пользовавшийся в своих сравнительно-исторических работах общеизвестной «Грамматикой алтайского языка» Вербицкого — Мака-

---

[45] М. Михайловский. По поводу сорокалетней годовщины. . . — ТЕВ. 1895, № 5, с. 10—11. Ср.: *И. А.* Высокопреосвященный Макарий. . . — «Голос церкви». М., 1913, янв., с. 12: «. . . в 1869 г. им, по преимуществу, составлена и издана Грамматика алтайского языка»; ср. еще: К. В. Харлампович. Преосвященный Макарий. . . — ПС. 1905, май, с. 53; ср. еще: И. И. Ястребов. Миссионер высокопреосвященнейший Владимир. . . — ПС. 1898, июнь, с. 652.

рия — Ильминского и полагавший, что пользуется «Краткой грамматикой алтайского языка» Вербицкого.

История дореволюционного книгопечатания в России знает немало примеров, когда в один и тот же год выходили книги-близнецы в разной «упаковке», т. е. с разными титульными листами, с разными выпускными данными, с указанием и без указания автора, с приложениями и без них и т. д. И можно вполне допустить также, что юный Рясянен во время своего двухлетнего обучения в Казанском университете накануне Октября приобрел дефектный экземпляр «Алтайской грамматики» 1869 г., которой после реставрации было дано — со слов «сведущих библиофилов» или авторитетного энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона — название «Краткая грамматика алтайского языка», а в качестве автора назван, естественно, В. И. Вербицкий. Как бы то ни было, проф. М. Рясянен уверенно ссылается на такую «Краткую грамматику».

Посмотрим, однако, поближе рясяненовские «Materialien» и имеющиеся здесь списки литературы: V. I. Verbitskij. Краткая грамматика алтайского языка. Kasan, 1869 (Verb.) [46] — и попытаемся идентифицировать их с данными «Грамматики алтайского языка», приняв хронологический порядок следования от фонетической части к морфологической.

Хотя ссылок с пометами (Verb.) довольно много, приблизительно до середины фонетической части мы не находим прямых указаний на страницу, а следование сугубо алтайского материала вперемежку с казахским со ссылками на того же Verb. действует на первых порах как-то обескураживающе. Но вот в подстрочном примечании на с. 139 немецкого оригинала попадается первое прямое указание на страницу или параграф так называемой «Краткой грамматики алтайского языка» В. И. Вербицкого: «ähnlich kzk (Verb. 7) menden > mennen > menen usw». Затем следуют другие такие же ссылки на страницы. Как они соотносятся со страницами или параграфами «Грамматики алтайского языка»? После двух-трех не совсем четких цитаций обнаруживаем совершенно бесспорный случай, который не оставляет места для сомнений, — материал извлекался из «Грамматики алтайского языка»! Вот эти страницы по немецкому и, в скобках, русскому изданиям: 139 n (122 подстрочное примечание,) 180 (156), 217 (187); 219 (189), 230 (198), 231 (198), 233 (200). После этого идентифицировать аналогичным образом ссылочный материал морфологической части не составило уже труда: здесь все алтайские примеры (около 60!) пас-

[46] См., например: M. R ä s ä n e n. Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen. Helsinki, 1949 (StO XV), с. 249; русск. пер.: М. Р я с я н е н. Материалы по исторической фонетике тюркских языков, М., 1955, с. 207; M. R ä s ä n e n. Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. Helsinki, 1957 (StO XXI), с. 256.

портизированы должным образом и полностью подтверждают нашу догадку.

Приведем для убедительности по одному — может быть, не самому характерному, но достаточно показательному — примеру последовательно из фонетики и морфологии: «oir. (Verb. III, 86); Ungefähr dasselbe (*m* > *b* nach stimmhaften, *m* > *p* nach stimmlosen in der Neg. und Fragepart.): *tölöbö* 'bezahle nicht'; *kelbe* 'komme nicht'; *satpa* 'verkaufe nicht'» (с. 219; в русск. пер. см. с. 189), что вполне соответствует «Грамматике алтайского языка», на с. III которой говорится о сходстве звуковой системы и этимологических форм наречий Алтая с другими тюркскими языками и, в частности, об «изменении нормального тюркского» *м* «в вопросной частице и отрицательном глаголе — в *б*», а на с. 86 приводится парадигма всех упомянутых глаголов; «oir. (Verb. 99) *čyn* 'wahr', adv. *čyn-yn* 'wahrlich, wirklich', *akyr* 'langsam', adv. *akyr-yn*» (с. 244), что полностью согласуется с текстом § 119 на с. 99 «Грамматики алтайского языка»: «Есть много имен, которые, принявши окончание *ын* (*ін*), имеют значение и употребление как собственно наречия: *чын* 'истинный', *чынын* 'поистине', 'серьезно'; *арай* 'тихий', *арайын* 'потихоньку, чуть-чуть', *аҕыр* 'медленный', *аҕырын* 'медленно', 'потихоньку'. . .» и т. д.

Хотя совершенно ясно, что М. Рясянен пользовался дефектным, невыправленным экземпляром «Грамматики», мы обязаны воздать должное его лингвистической интуиции: извлекая из текста «Грамматики алтайского языка» примеры на изменение «нормального тюркского» *н* в *д* в окончаниях родительного и винительного падежей у шорцев, кондомцев и туба, он заметил несоответствие, фактически разъясняемое списком опечаток, помещенным на с. 288 (после основного текста грамматики), где *јалнын* и *јалны* исправляются на *јалдын* и *јалды*, — несоответствие между постулатом на с. 9 и конкретными примерами на с. 39, и с сомнением написал: «Nach Verbitskij (S. 9, 39) haben šor. knd. tuba das *-n* (überall?) erhalten:. . .» (см. с. 217, которой соответствует с. 187 русск. пер.). Бесспорно, сомнение М. Рясянена — «überall?» — было навеяно вкравшейся опечаткой, не выправленной в его экземпляре «Грамматики алтайского языка».

Стало быть, никакой «Краткой грамматики алтайского языка» В. И. Вербицкого в природе нет, и все, что было написано о ней, не что иное, как миф. Есть только «Грамматика алтайского языка», составленная В. И. Вербицким, Макарием Невским и Н. И. Ильминским и изданная в Казани в 1869 г. под редакцией Н. И. Ильминского.

Н. А. Баскаков

ОБ УНИФИКАЦИИ НАЗВАНИЙ ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПИСЬМЕННЫХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Исследования, связанные с историей письменных, а позже и литературных тюркских языков, до настоящего времени не имеют общей терминологии в отношении их названий. В особенности это касается среднеазиатского литературного языка тюркú во всем многообразии его локальных вариантов. Вопрос этот неоднократно ставился тюркологами. Одной из последних работ, посвященных этому вопросу, была статья Э. Н. Наджиба [1], отметившего существующий разнобой в номенклатуре названий некоторых вариантов среднеазиатского литературного письменного языка.

Наличие различных названий одного и того же локального варианта тюркú объясняется тем, что некоторые исследователи используют для названия того или иного письменного тюркского языка его отношение к соответствующему государственному объединению; ср., например, названия «караханидский», «золотоордынский», «мамлюкский» и пр., другие же — его отношение к тому или иному родо-племенному объединению, например, «карлукский», «кыпчакский», «огузский» и пр., и, наконец, некоторые письменные языки получают свое название по местонахождению того или иного памятника, ср., например, «орхонский» или «енисейско-орхонский» и пр.

Таким образом, в современных исследованиях, посвященных истории тюркских литературных письменных языков, для каждого языка существует два или несколько названий, из которых каждое является, по существу, правомерным и терминологически возможным, но вместе с тем такая терминологическая неустойчивость и разнобой иногда мешают исследователю идентифици-

---

[1] Э. Н. Наджиб. О некоторых недостатках в изучении истории тюркских языков. — СТ. 1970, № 6, с. 48—55.

ровать данный конкретный письменный язык с его названием. Следовательно, для единообразия использования номенклатуры названий всех существующих литературных письменных тюркских языков необходима унифицированная система их названий.

Обращаясь к существующей схеме периодизации письменных литературных тюркских языков и их локальных вариантов [2], можно было бы наметить и соответствующую номенклатуру их названий, начиная с древнейшей эпохи. Если учесть все зафиксированные в существующих сводных исследованиях по тюркским языкам названия письменных тюркских языков [3], то мы увидим, что для большинства из них приняты названия главным образом по их отношению к родо-племенной принадлежности с соответствующей диалектной основой, хотя одновременно для многих языков сохраняются параллельно и названия по их отношению к соответствующему государственному объединению. Например, для кыпчакского литературного языка, которым пользовались в Золотой Орде, часто оставалось также и название «золотоордынский литературный язык», для карлукского или карлукско-уйгурского литературного языка XI в. — название «караханидский язык» по названию Караханидского государства и т. д.

При установлении единой системы названий представляется наиболее целесообразным, таким образом, в качестве основного названия языка использовать название по родо-племенному отношению или по народности, но вместе с тем оставлять также и название по отношению его к тому или иному государственному объединению, где данный литературный язык был господствующим. Следует отметить, что второе название может служить также дифференцирующим определением для одного и того же литературного языка с одинаковой диалектной основой, который представлен, однако, несколькими локальными вариантами, используемыми не в одном, а в нескольких государствах. Ср., например, тот же карлукско-уйгурский литературный язык, который был представлен в нескольких вариантах: в государстве Караханидов XI—XII вв. и в более позднее время в улусе Чагатая (так называемый чагатайский язык), а до этого в Восточном Туркестане в феодальных послекараханидских владениях; или литературный язык с кыпчакской диалектной основой, который был распространен как в Золотой Орде — и потому имел название «золото-

---

[2] Н. А. Баскаков. О периодизации истории литературного языка тюрки. — Лингвогеография, диалектология и история языка. Кишинев, 1973, с. 136—146; он же. Роль уйгуро-карлукского литературного языка Караханидского государства в развитии литературных тюркских языков средневековья. — СТ. 1970. № 4, с. 13—19.

[3] Ср., например, такие обобщающие исследования, как «Philologiae Turcicae Fundamenta». Т. 1. Wiesbaden, 1959, 814 с.; Т. 2. Wiesbaden, 1964—1965, 963 с.

ордынский литературный язык», — так и в Египте в государстве мамлюков — и отсюда название «мамлюкский литературный язык».

Двойное наименование письменного литературного языка должно быть оставлено также в тех случаях, когда эти названия дифференцируют языки одного и того же происхождения, но относятся к различным подразделениям данного родо-племенного объединения, например, кыпчакско-половецкий и кыпчакско-булгарский или огузо-сельджукский и огузо-печенежский и пр. [4].

В тех же случаях, когда название письменного литературного языка совпадает с названием народности или нации, сохраняется единое наименование. Это касается главным образом более поздних литературных языков народностей и наций.

Наконец, в тех случаях, когда один и тот же письменный литературный язык в процессе развития меняет свою диалектную основу или сближается с устным, разговорным языком, меняя при этом свои фонетические, грамматические и лексические нормы, но сохраняя свое отношение к одной и той же народности, литературный письменный язык предшествующего периода приобретает сложное название, состоящее из препозиционного элемента *старо-* и общего названия, например: староузбекский, староазербайджанский, старотурецкий или староосманский и пр. [5]. Следует различать термины этого типа и близкие по своей структуре, но иные по содержанию термины, имеющие в препозиции элемент *древне-*, т. е. названия типа древнеогузский, древнеуйгурский и пр.

Итак, исходя из существующей периодизации тюркских письменных литературных языков, можно установить следующие унифицированные их названия.

I. Хуннская эпоха (до V в. н. э.). Как свидетельствуют некоторые источники и исследования [6], в эту эпоху среди разнородных племен и народов — славян, германцев, иранцев, финно-угров и пр., — объединенных хуннской империей, были также и тюркские родо-племенные объединения, занимавшие в хуннской империи, по мнению некоторых исследователей, господствующее положение. Предполагается, что некоторые из рунических надписей в Восточной Европе, Причерноморье и на Кавказе, относящихся к этой эпохе, свидетельствуют о наличии письменности и письменного тюркского языка хуннов, который

[4] Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, с. 242—298.

[5] А. Н. Кононов. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Гази хана хивинского. М.—Л., 1958, с. 117; А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962.

[6] K. Dąbrowski. Hunowie europejscy. — K. Dąbrowski, T. Nagrodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski. Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pjeczyngowie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1975, с. 117—120, 133—146; O. J. Maenchen. The Language of the Huns.—Труды XXV Конгресса востоковедов. Т. 4. М., 1963, с. 286.

после распада хуннской империи в I в. н. э. на Восточное (Южное) и Западное (Северное) хуннское государства [7] был представлен также и двумя основными письменными языками: восточнохуннским и западнохуннским. Западнохуннский язык в последующую древнетюркскую эпоху участвовал в формировании языков и письменности булгар, хазар и аваров, а также древневенгерского языка и письменности, а восточнохуннский — в формировании древнеогузского, древнеуйгурского и древнекиргизского языков и письменности.

Таким образом, для хуннской эпохи из числа названий письменных тюркских языков могут быть установлены два названия: 1) западнохуннский (сохранились главным образом собственные имена и титулы) [8]; 2) восточнохуннский (сохранился, кроме того, и небольшой текст в китайской транскрипции) [9].

II. Древнетюркская эпоха (VI—IX вв. н. э.) характеризуется наличием двух основных групп письменных тюркских языков:

1. Восточные: 1) древнеогузский язык тюркского каганата VII—VIII вв. с руническими памятниками орхонских надписей [10]; 2) древнеуйгурский язык уйгурского каганата IX в. и последующих феодальных объединений с руническими, а затем более поздними памятниками согдийского, манихейского, брахми и арабского письма [11]; 3) древнекиргизский язык — язык киргизского каганата IX—X вв. с енисейскими памятниками рунического письма [12].

2. Западные: 1) булгарский язык — язык булгарского царства IV—XII вв. с памятниками рунического и арабского письма [13]; 2) хазарский язык с памятниками рунического и древнееврейского письма [14]; 3) аварский язык, памятники которого не сохранились.

---

[7] K. Dąbrowski. Hunowie europejscy, c. 35.

[8] O. J. Maenchen. The Language of the Huns, c. 286.

[9] K. Dąbrowski. Hunowie europejscy, c. 118—119.

[10] С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951, с. 11—92; С. Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964.

[11] С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности, с. 95—218; A. v. Gabain. Das Leben im uigurischen Königreich von Qočo (850—1250). Wiesbaden, 1973.

[12] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, с. 11—100; он же. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, с. 57—75; И. А. Батманов, З. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин. Современная и древняя енисеика. Фрунзе, 1962.

[13] E. Tryjarski. Protobułgarzy. — K. Dąbrowski etc. Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pjeczyngowie, c. 232—239.

[14] T. Nagrodzka-Majchrzyk. Chazarowie. — K. Dąbrowski etc. Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pjeczyngowie, c. 468—472.

Таким образом, для письменных тюркских языков древнетюркской эпохи могут быть приняты следующие названия. Для восточных: 1) древнеогузский; 2) древнеуйгурский и 3) древнекиргизский. (Часто эти языки объединяются тюркологами и имеют тогда единое название — древнетюркский язык или древнетюркские языки.) Для западных: 1) древнебулгарский или булгарский (некоторые исследователи используют также название протобулгарский язык [15]); 2) древнехазарский или хазарский и 3) древнеаварский или аварский языки. Для последнего языка следует принять название древнеаварский язык, в отличие от современного аварского языка на Кавказе, не имеющего прямого отношения к древнеаварскому.

III. Среднетюркская эпоха (X—XIV вв.) характеризуется развитием тюркского литературного письменного языка тюрки́ в различных локальных его вариантах. Эта эпоха разделяется обычно исследователями на два основных периода: А. Домонгольский и Б. Послемонгольский.

А. Домонгольский период (X—XII вв.) представлен следующими письменными литературными тюркскими языками:

1. Восточные: 1) карлукско-караханидский письменный язык на согдийской и арабской письменности с диалектной карлукской основой — литературный язык Караханидского государства; 2) карлукско-уйгурский письменный язык на арабском алфавите — литературный язык феодальных владений послекараханидского периода в Восточном Туркестане; 3) огузо-кыпчакский хорезмийский язык на арабской письменности — литературный язык хорезмийско-тюркского государства Сельджукидов.

2. Западные: 1) кыпчакско-половецкий с письменностью на основе латинской транскрипции, использовавшейся миссионерами; 2) огузо-печенежский с письменностью на руническом алфавите; 3) булгарский с письменностью на руническом и арабском алфавитах.

Таким образом, для письменных тюркских языков домонгольского периода среднетюркской эпохи могут быть приняты следующие названия. Для восточных: 1) карлукско-караханидский; 2) карлукско-уйгурский послекараханидский; 3) огузо-кыпчакский хорезмийский. Для западных: 1) кыпчакско-половецкий; 2) огузо-печенежский; 3) булгарский.

Б. Послемонгольский период (XIII—XIV вв.) представлен следующими письменными литературными тюркскими языками, главным образом на арабской письменности:

1. Восточные: 1) огузо-сельджукский язык — язык родо-племенного объединения Сельджукидов с господствующими огуз-

---

[15] Ср., например: O. Pritsak. Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. — Ural-Altaische Bibliothek. 1. Wiesbaden, 1955.

скими чертами, позже разделившийся на а) староосманский и б) староазербайджанский; 2) карлукско-чагатайский с господствующими карлукскими чертами, разделившийся позже на а) староузбекский и б) староуйгурский.

2. Западные: 1) кыпчакско-джучидский, разделившийся позже на а) старотатарский и б) старокрымскотатарский; 2) кыпчакско-мамлюкский — язык кыпчаков Египта.

Таким образом, для послемонгольского периода среднетюркской эпохи могут быть приняты следующие названия письменных тюркских литературных языков. Для восточных: 1) огузо-сельджукский; 2) карлукско-чагатайский. Для западных: 1) кыпчакско-джучидский; 2) кыпчакско-мамлюкский.

IV. Новотюркская эпоха (XV—XIX вв.) характеризуется формированием всех современных тюркских народностей и соответственно следующих письменных литературных языков:

1. Восточные: 1) старотуркменский; 2) староосманский и 3) староазербайджанский — на огузской основе и 4) староузбекский и 5) староуйгурский — на карлукской диалектной основе.

2. Западные: 1) старотатарский (который лежал также в основе старобашкирского, староказахского и старокиргизского письменных языков); 2) старокрымскотатарский; 3) старокараимский (на древнееврейской, латинской и русской графике); 4) армяно-кыпчакский (на армянской графике) — все на кыпчакской диалектной основе. Все эти названия языков соответствуют старописьменным языкам, отражающим прежние, старые нормы языков феодальной эпохи, значительно расходившиеся с нормами соответствующих живых разговорных языков.

V. Новейшая эпоха (конец XIX—XX в.) характеризуется возникновением новых младописьменных, а также развитием всех современных старописьменных литературных языков:

1. На огузской диалектной основе: турецкий, азербайджанский, туркменский, гагаузский литературные языки.

2. На карлукской диалектной основе: узбекский, уйгурский.

3. На кыпчакской диалектной основе: татарский, башкирский, крымскотатарский, кумыкский, карачаево-балкарский, караимский, казахский, каракалпакский, ногайский, киргизский, алтайский.

4. На булгарской диалектной основе: чувашский.

5. На уйгуро-огузской основе: тувинский, шорский, хакасский и якутский литературные письменные тюркские языки.

Памяти моей матери
Антонины Семеновны
Данько-Самойловой

Г. Ф. Благова

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКСКИХ ТЕКСТОВ

(О методике изучения. О соотношении истории письменно-литературного языка и исторической грамматики. О периодизации истории старописьменного языка)

Изучение истории тюркских языков, по крайней мере в республиканских тюркологических центрах, долго сосредоточивалось, помимо эдиционной работы, главным образом на инвентаризации языковых явлений разных уровней в отдельных средневековых тюркских текстах, с одной стороны, а с другой — на периодизации истории различных тюркских языков (прежде всего старописьменных), построения которой опираются преимущественно на экстралингвистические факторы. В настоящее время в числе важнейших задач тюркского языкознания выдвигаются сравнительно-исторические исследования, создание исторических грамматик отдельных тюркских языков, а также построение истории литературных языков [1], поэтому признано малоперспективным непосредственное сопоставление отдельных языковых особенностей средневековых текстов с материалами того или иного из живых тюркских языков и диалектов.

Между тем в современной отечественной тюркологии, в которой отчетливо проявляется стремление изучать памятники в связи с историей конкретного языка, все еще распространено сопоставление «по языковым особенностям» без соблюдения правил системности. Сопоставление ведется без учета того, что в таком слу-

---

[1] См.: А. Н. Кононов. Современное тюркское языкознание в СССР. Итоги и проблемы. — ВЯ. 1977, № 3; Тюркское языкознание в СССР за шестьдесят лет. — СТ. 1977, № 6. Ср.: Н. З. Гаджиева. О приемах лингвистического анализа при создании сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. — Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР. Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной тюркологической конференции. А.-А., 1976, с. 22.

чае тюркологу приходится оперировать показаниями, относящимися к разным формам существования языков [2], генетическая преемственность которых к тому же остается под вопросом. Сейчас уже становится очевидным, что далеко не все языковые факты, извлекаемые из средневековых тюркских текстов, обладают одинаковой доказательной силой при изучении тюркской грамматической системы в разные периоды ее истории, не все могут быть в равной мере использованы при построении исторической грамматики и периодизации истории того или иного общенародного тюркского языка, поскольку часть таких фактов обусловлена принадлежностью к другой форме существования языка, а именно к письменно-литературному языку.

Ясно, что в этих сложных условиях, прежде чем использовать языковые показания конкретных средневековых тюркских текстов для исторической грамматики общенародного языка, целесообразно подвергнуть их предварительной дифференцированной обработке. В этой связи на первый план должна быть выдвинута методика лингвистического изучения средневековых тюркских текстов и сопоставления их языковых показаний между собой. Особые методические приемы должны быть выработаны для сопоставления этих показаний с соответствующими данными живых тюркских языков и диалектов (основа для такого сопоставления подготавливается путем предварительного специализированного препарирования литературно-языковых данных). Важность и актуальность подобных разработок тем очевиднее, что до последнего времени именно методика исследования остается камнем преткновения для исторических грамматик отдельных тюркских языков [3].

Историческое изучение тюркских языков в последние годы ознаменовалось поисками новых путей, а вместе с тем — многими удачами и находками, обеспеченными, прежде всего, системным подходом к анализу материала (здесь должны быть упомянуты работы С. Н. Иванова, Э. А. Груниной, Д. М. Насилова, В. Г. Гузева, И. В. Кормушина, Х. Г. Нигматова, Ш. Ш. Шукурова и др.).

В настоящее время можно с полным правом говорить также о становлении в этой отрасли тюркологии нового направления,

---

[2] Юсуф Баласагунский, например, прямо указывает, что этико-дидактическая поэма «Кутадгу билиг» написана им buγra ḫan tilinče türk lûγatinče «богpахaнским языком тюркскими речениями» [R. R. A r a t. Kutadgu bilig. I. Metin. İstanbul, 1947 (далее — КВ I), 2A2, 13 — A3 B14]. Ср. türkī ḫaqanī у Махмуда Кашгарского (М а ҳ м у д Қ о ш ғ а р и й. Девону луғотит турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Т. 1. Тошкент, 1960, с. 66). Самой этой терминологией указывается на разъединенность письменно-литературного языка (по крайней мере — его высокого, поэтического стиля) и народно-обиходного языка раннего средневековья.

[3] А. Н. К о н о н о в. Современное тюркское языкознание в СССР, с. 17.

опирающегося на функционально-стилистический подход к языку средневековых текстов (плодотворность такого подхода с ясностью определилась в широко проводимых изысканиях на материале славянских, романских и германских языков). Э. Р. Тенишев, подняв большой материал стилистически окрашенной лексики, различных типов готовых формул, обнаружил наддиалектный характер языка памятников древнетюркской руники и предложил функционально-стилистическую характеристику древнеуйгурского литературного языка; этими работами положено начало исследованию типологии древних и средневековых литературных тюркских языков [4]. Д. М. Насилов стремится учитывать функционально-языковые и социолингвистические факторы при рассмотрении памятников древнеуйгурского языка как объекта исторической грамматики тюркских языков; по его мысли, именно учет названных факторов должен способствовать более четкому разграничению проблем истории литературных языков и собственно исторической грамматики отдельных тюркских языков [5].

Новое направление лингвоисторических разработок в тюркологии исходит из признания на деле особности истории литературных языков, с одной стороны, исторической грамматики отдельных тюркских языков — с другой. О том, что без подобного разграничения не может быть достигнут решающий прогресс в соответствующих отраслях тюркского языкознания, говорилось уже не раз. Без такого разграничения не может быть поставлен и решен вопрос: какая роль должна быть отведена языковым свидетельствам памятников древней и средневековой тюркской письменности при создании исторической грамматики отдельных тюркских языков, а также при сравнительно-исторических исследованиях грамматики тюркских языков? Своеобразие тюркского средневекового литературно-языкового наследия, дошедшего до наших дней, не снимает проблемы исторических соотношений письменно-литературного языка и языка художественной литературы (вопрос о соотношении языка конкретного текста, или «языка писа-

---

[4] Э. Р. Тенишев. О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников. — Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976; он же. Функционально-стилистическая характеристика древнеуйгурского литературного языка. — Социальная и функциональная дифференциация литературных языков. М., 1977; он же. Исследование типологии древнетюркских литературных языков. — Тезисы докладов I Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему «Теоретические проблемы восточного языкознания» [ИВАН СССР]. М., 1977; он же. Языки древне- и среднетюркских памятников в функциональном аспекте. — ВЯ. 1979, № 2.

[5] Д. М. Насилов. Памятники древнеуйгурского языка как объект исторической грамматики тюркских языков. — Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР, с. 188.

теля», и языка литературы изучаемого периода [6] вовсе еще не ставился на тюркском материале).

Литературный язык, по словам Л. В. Щербы, «хотя и находится с „общим“ в определенных функциональных отношениях, имеет, однако, свою собственную сложную структуру» [7]. Целесообразно поэтому разграничивать как методические приемы, так в известной мере и объекты изучения для исторической грамматики отдельных тюркских языков и для истории литературного языка. Вместе с тем самостоятельный интерес представляет вопрос о стилеобразующих потенциях тюркской морфологии; соответственно речь может идти о вычленении предмета изучения исторической грамматической стилистики.

Морфология средневековых тюркских текстов изучалась комплексно: мы стремились сочетать при этом системный и жанрово-стилистический подходы [8]. В соответствии с системным подходом в каждом из обследуемых текстов изучались не отдельные его языковые особенности, но совокупности системообразующих взаимосвязанных форм, которыми передается в нем та или иная грамматическая категория, в данном случае — склонение. На основе внутрисистемных соотношений этих форм, при учете места каждой из них в системе склонения, а также их облигаторности—необлигаторности, регулярности—нерегулярности, определялся тип склонения, представленного в тексте. В этой связи вводится понятие «базисная система склонения» изучаемого текста: это структурно выдержанная совокупность гомогенных падежных форм, как правило, наиболее употребительных в изучаемом тексте; они оказываются связанными между собой регулярными соотношениями. За пределами этих соотношений остаются гетерогенные по отношению к данной системе и необлигаторные (структурно излишние, не обязательные) инодиалектные падежные формы; обычно по своей употребительности они сильно уступают формам базисной системы.

В свою очередь жанрово-стилистический подход к анализу морфологии конкретных текстов нацеливает, прежде всего, на учет их жанровой специфики, как она преломляется в языке, и подразумевает необходимость дифференцированного обследования морфологии разножанровых текстов средневековья. В связи с жанрово-дифференцированным изучением грамматической си-

---

[6] См.: В. В. Виноградов. О языке художественной литературы. М., 1959.

[7] Л. В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 31.

[8] См.: Г. Ф. Благова. О соотношениях прозаического и поэтического вариантов среднеазиатско-тюркского литературно-письменного языка XV—начала XVI в. — Turcologica; она же. О методике изучения морфологии средневековых тюркских поэтических текстов. — ВЯ. 1977, № 3.

стемы по памятникам вводятся понятия «текстовое распределение» изучаемой формы, «текстовое ограничение» в употреблении любой такой формы. Характер текстового распределения изучаемых форм, отсутствие или наличие текстовых ограничений составляют один из тех критериев, совокупное применение которых помогает установить, следует ли относить ту или иную форму к базисной системе языка, или же ее надо считать инодиалектной формой.

Сопоставление показаний различных текстов ведется также жанрово-дифференцированно.

На материалах различных литературных языков, в том числе и тюркских, давно уже продемонстрирована специфичность поэтического языка с его богатой вариантностью форм. В нашем случае это важно иметь в виду, потому что целые периоды (особенно ранние) тюркской средневековой литературы представлены по преимуществу поэтическими жанрами. В силу такого большого веса средневековых тюркских поэтических текстов возникла необходимость в специальном методическом приеме для обработки их языка. Такой прием, реализующий в себе сочетание системного и жанрово-стилистического подходов, предлагается называть приемом расслоения средневековых поэтических текстов. В качестве предварительной необходимой ступени исследования прием расслоения включает в себя филологическую интерпретацию употребления круга изучаемых грамматических форм в любом средневековом тюркском тексте.

Цель применения приема расслоения поэтических текстов двоякая. Во-первых и прежде всего, вычленить стилистически нейтральный языковой слой — тот самый, формы которого, по словам Л. В. Щербы, составляют значительнейшую часть языковой ткани любого литературного произведения [9]. Как правило, эта стилистически нейтральная и количественно преобладающая часть материала составляет «базисную грамматическую систему»; ее формы в памятниках, принадлежащих к одному историческому периоду, одному региону — юго-восточному, обычно не испытывают текстовых ограничений и могут считаться нормой для письменно-литературного языка этого периода.

Вместе с тем прием расслоения помогает выделить литературно обусловленное варьирование грамматических форм и, прежде всего, определить инодиалектный слой форм, гетерогенных по отношению к базисной микросистеме. Наряду с литературной обусловленностью (чаще всего — требованиями ритмико-метрической организации стихового текста) такие инодиалектные формы характеризуются как ограничениями в их количественном распределении (внутри одного памятника), так и текстовыми ограничениями.

---

[9] Л. В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность, с. 269.

Применительно к группе текстов прием расслоения дополняется жанрово-дифференцированным сопоставлением их языковых показаний. Признается целесообразным вначале сопоставлять в языковом отношении тексты, происходящие из одного региона и принадлежащие одному историческому периоду, строго придерживаясь жанрового признака. Такому сопоставлению подлежат цельные грамматические микросистемы, предварительно изученные в языке каждого из сопоставляемых текстов с помощью приема расслоения. Естественно, при этом в каждом тексте учитываются специфические соотношения между формами, составляющими эти микросистемы.

В том случае, когда от данного исторического периода сохранились тексты разных жанров, вовлечение их в изучение станет эффективным при условии, если жанрово-дифференцированное сопоставление будет многоступенчатым, а сопоставление одножанровых текстов будет включено в него как одна из начальных ступеней обследования [10].

При опоре на совокупность названных приемов может быть осуществлена комплексная обработка языка средневековых тюркских текстов. Суть ее состоит в том, что лингвистическое изучение текстов при учете их жанровой дифференциации ведется сразу по нескольким направлениям, а именно: историческая грамматика отдельных тюркских языков, история письменно-литературного языка, историческая грамматическая стилистика; материалы, добытые таким путем при обследовании одного текста (или группы текстов), непосредственно распределяются по этим трем смежным дисциплинам.

Вопрос о том, соответствует ли действительности такое распределение по названным дисциплинам тех данных, которые извлечены из одного текста, остается актуальным даже в случае, когда изучаемый памятник обладает степенью репрезентативности, достаточной, казалось бы, для адекватной оценки языковых показаний [11]. Решению этого вопроса как раз и помогает системное жанрово-дифференцированное сопоставление. Проиллюстрируем сказанное конкретным анализом.

Для XI в., например, к жанрово-дифференцированному сопоставлению привлекалось склонение, как оно представлено в этико-дидактической поэме Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг»

---

[10] Ср. перекрестный анализ языка средневековых литературных произведений (Р. И. Аванесов. К вопросам периодизации истории русского языка. — Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 18).

[11] См.: М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк. О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории. — ИАН СССР. Серия литературы и языка. 1977, 5, с. 444.

и в поэтических фрагментах «Дивану луғат ит-турк» (Словаря) Махмуда Кашгарского [12].

Материалы Словаря весьма разнообразны, и об их происхождении высказывались противоречивые мнения. С. Е. Малов, например, называл поэтические фрагменты Словаря «кашгарскими песнями» и относил их к «уйгурско-кашгарскому фольклору» [13]. И. В. Стеблева, опираясь на мнение В. В. Бартольда о том, что среди стихов Словаря есть несомненные образцы придворной поэзии, доказала, что эти стихи написаны «разнообразными метрами аруза с большей или меньшей погрешностью в них» [14].

В своем сопоставлении мы исходим из того, что как в поэтических фрагментах Словаря, так и в пословицах с поговорками и прозаических примерах, используемых Махмудом Кашгарским в качестве иллюстративного материала, представлены формы обработанного языка — будь они письменно-литературными или же устно-литературными. Высокая степень обработанности, наддиалектный характер языка фольклора со всей очевидностью были показаны в специальных исследованиях [15]. Эти же лингвистические качества тюркоязычных устных произведений любых жанров, начиная с древности, по крайней мере с XI в., возвышающие их язык над резкими местными диалектными особенностями (первичными диалектными признаками, по В. М. Жирмунскому [16]), подтверждаются сопоставительным анализом разных групп иллюстративного материала Словаря Махмуда Кашгарского. Именно в силу высокой степени лингвистической обработанности фольклорных произведений любых жанров, вплоть до пословиц и поговорок, между их языком и письменно-литературным языком изучаемого периода нельзя провести резкой грани. Эти соображения о характере обработанности языка устного народного творчества

---

[12] М а ҳ м у д Қ о ш ғ а р и й. Девону луғотит турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Тошкент, 1960—1967 : 1—1960, 2 — 1961, 3 — 1963, [4]. Индекс-луғат — 1967 (далее: МК I—IV). См. описания языка названных памятников: Э. Т е н и ш е в. Указатель грамматических форм к «Дивану тюркских языков» Махмуда Кашгарского. — «Труды Института языка и литературы АН КазССР». Т. 3, 1963; Т. А. Б о р о в к о в а. Грамматический очерк языка «Дӣвāну луғāт-ит-турк». АКД. Л., 1966; К. К а р и м о в. Категория падежа в языке «Кутадгу билиг». АКД. Таш., 1962.

[13] С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951, с. 306, 313.

[14] И. В. С т е б л е в а. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М., 1971, с. 7, см. с. 22.

[15] См., например: А. В. Д е с н и ц к а я. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970.

[16] О первичных и вторичных диалектных признаках см.: В. М. Ж и р м у н с к и й. Проблемы колониальной диалектологии. — «Язык и литература». 3. Л., 1929, с. 18 и сл.; см. также: Г. В. С т е п а н о в. Учение В. М. Жирмунского о первичных и вторичных диалектных признаках в приложении к новой Романии. — Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977, с. 71 и сл.

могут быть, в частности, аргументированы тем, что в тюркоязычной письменной литературе различных жанров (сначала поэтических, а впоследствии также и прозаических), начиная по крайней мере с XI в., средневековыми авторами, например Юсуфом Баласагунским, Ахмадом Югнаки, Алишером Навои, Захир ад-Дином Мухаммедом Бабуром, охотно использовались народные пословицы и поговорки.

При аргументации положения о том, что между языком фольклорных произведений и языком письменной литературы XI в. нельзя проводить резкой грани, следует также обратить внимание еще на одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что образцы фольклора в Словаре предстают не только в письменной фиксации, но также, скорее всего, и в письменной обработке составителя этого уникального труда, известного в свое время знатока современных ему тюркских языков и диалектов, в том числе и литературного языка (türkī ḫaqanī) [17]. Если применить к фольклорным записям Махмуда Кашгарского критерии соавторства, выработанные Д. С. Лихачевым на материале древнерусских рукописей [18], то окажется, что составителя этого уникального раннесредневекового Словаря можно с полным правом рассматривать как соавтора сосредоточенных в нем иллюстративных материалов.

---

[17] Подтверждением того, что письменная обработка фольклорных примеров могла производиться Махмудом Кашгарским совершенно непреднамеренно, служит самый факт варьирования пословиц и поговорок, которые приводятся в Словаре в качестве иллюстративных примеров. Так, дважды в Словаре приведена поговорка sögüt sülin͡ga qaδyn qasyn͡ga (МК I 33_{4-5}) «Ива [известна] своей свежестью, береза — своей корой», причем во второй раз (МК III 165_{6}) дана только вторая ее половина. Трижды встретилась другая пословица, в которой всякий раз дается разное дополнение к глагольной форме tutmas: alyn arslan tutar küčin üjiq (kösgük/syčqan) tutmas (МК I 110_{9}; см. также: II 334_{23}, III 419) «Хитростью ловят льва, силой не взять и пугала (чучела/мыши)». Нижеследующие пословицы связаны одна с другой полным или почти полным тождеством одной части своего двучленного построения: taγuγ uqruqyn egmäs/teŋizni qajγuqyn bökmäs (МК I 126_{12-13}) «Гору арканом не пригнуть к земле/море лодкой не запрудить»; qurmyš kiriš tügülmäs/uqruqyn taγ egilmäs (МК III 234_{7-8}) «Натянутая тетива не завязывается, /гора арканом к земле не пригибается»; quruγ jyγač egilmäs/qurmyš kiriš tügülmäs (I 198_{8}) «Сухое дерево не гнется,/натянутая тетива не завязывается». Особенно показательны полный и краткий варианты нижеследующей пословицы: atasy anasy ačyγ almyla jesä oγly qyzy tyšy qamar (МК III 28_{8-9}) «Родители кислые яблоки едят — у детей на зубах оскомина набивается» и atasy ačyγ almyla jesä oγlynyŋ tyšy qamar (МК II 360_{11}) «Отец кислые яблоки ест — у сына на зубах оскомина набивается». Наличие одного и того же вторичного (по В. М. Жирмунскому) диалектного признака (almy-la «яблоки») в обоих вариантах пословицы может свидетельствовать о том, что здесь мы имеем дело не с «областным» варьированием ее состава, но с результатом цитирования пословицы составителем Словаря по памяти.

[18] Д. С. Лихачев. Текстология на материале русской литературы X—XVII вв. М.—Л., 1962, с. 57 и сл.

Путем сопоставления наборов падежных форм в «Кутадгу билиг» и в поэтических фрагментах Словаря производится спецификация соответствующей грамматической категории в поэтическом языке XI в. Во-первых, определяется базисная система склонения, формы которой по регулярности употребления принадлежат к стилистически нейтральному слою.

Для поэтического языка XI в. базисной системой склонения являлась структурно выдержанная совокупность следующих регулярных черт: 1) падежные формативы с консонантическим началом — род. пад. -niŋ, вин. пад. -ni, дат. пад. -ka/-ga — как в именной, так и в посессивно-именной парадигмах и независимо от того, на гласный или согласный оканчивается склоняемое имя; 2) наличие инфикса -n- в дат., местн. и исх. падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица.

Благодаря этому последнему признаку обеспечивается противопоставление посессивно-именной парадигмы 3-го лица именной парадигме. Такое соотношение парадигм при общем выравнивании по признаку облигаторности консонантических формативов род., вин., дат. падежей (для дат. падежа 3-го лица регулярным является морфемосочетание -n͡ga) характерно для уйгурско-кыпчакского типа склонения. Из других черт к базисной системе склонения XI в. могут быть отнесены: 3) инстр. пад. на -^{o}n; 4) исх. пад. на -din; 5) сильно развитая полифункциональность местн. пад. на -da; 6) что касается именного аккузатива на -^{o}g, то отнесение его к числу таких признаков более проблематично, поскольку он занимает различное место в языке разных памятников XI в.[19].

Во-вторых, путем такого сопоставления обнаружилась традиционно-литературная обусловленность наборов инодиалектных падежных форм: вин. пад. -i, род. пад. -^{o}ŋ, дат. пад. -a. Все они необлигаторны и нерегулярны, причем каждая из них имеет индивидуализированные ограничения в своем парадигмном распределении не только по памятникам, но и в пределах одного памятника. По своим внутрипарадигмным и межпарадигмным соотношениям они в совокупности составляют инодиалектную систему склонения огузского типа (огузские падежные формы). Как в «Кутадгу билиг», так и в поэтических фрагментах Словаря (в этом

---

[19] Именно аккузатив на -^{o}g можно отнести к базисной системе склонения, скорее всего, только одного из этих памятников, а именно Словаря Махмуда Кашгарского. Здесь в именной парадигме -^{o}g и -ni используются примерно с равной частотностью, и не замечено, чтобы формы на -^{o}g встречались преимущественно в составе рифмы или же в устойчивых словосочетаниях. Между тем для «Кутадгу билиг» характерно литературно обусловленное употребление -^{o}g; те же случаи, когда -^{o}g выступает здесь за пределами рифмы или устойчивых словосочетаний, вызваны к жизни требованиями размера аруз. Вместе с тем в именной парадигме здесь явно доминирует вин. пад. на -ni.

последнем случае — с заметно меньшей частотностью) названные огузские формы варьируют соответствующие падежные формы базисной системы. Дело в том, что в каждой паре таких вариантов оказываются представлены разные типы ритмических окончаний; за счет такого варьирования обеспечивалось приспособление тюркского языкового материала к арабо-персидской метрике аруз. К тому же в результате взаимодействия регулярных форм базисной системы склонения и гораздо более редких варьирующих их огузских падежных форм создается своего рода поле стилистического напряжения. Огузские варианты, традиционно ассоциируемые в среднеазиатско-тюркских литературных языках с поэтическим, «высоким», стилем, превращаются в средство выражения поэтической приподнятости. Благодаря этому они, будучи вкраплениями на фоне регулярных форм базисной системы, могут обладать стилеобразующими потенциями. Поэтому наборы огузских падежных форм как в «Кутадгу билиг», так и в поэтических фрагментах Словаря вполне возможно относить к числу стилеобразующих морфологических признаков поэтического языка XI в.

Вместе с тем нельзя не отметить, что огузские формы, обусловленные как литературно-языковой традицией, так и требованиями метрики аруза, в письменно-литературном языке XI в. могли поддерживаться за счет контактов почти двухсотлетней давности между караханидскими уйгурами и огузским диалектным окружением [20].

В-третьих, благодаря тому, что при сопоставлении внимание было сосредоточено на разных текстах поэтических жанров, были получены некоторые неодинаковые по памятникам результаты, касающиеся самого характера употребления отдельных форм — именного аккузатива на -°g, направит. падежа на -γar, наличия или отсутствия своеобразных ограничений в функционировании каждого из них по текстам. Удалось заметить, что обе названные формы могут обладать известными стилеобразующими потенциями, которые по памятникам проявляются далеко не одинаково. В самом деле, только в «Кутадгу билиг» наблюдается преимущественное употребление словоформ именного аккузатива на -°g в составе рифмы и в устойчивых сочетаниях. Только в «Кутадгу билиг» отмечена возможность для местоименной словоформы напр. падежа mun͡gar «этому» выступать в готовых формулах типа mun͡gar meŋzetü ajdy šaʿir bu söz (КВ I 104 В 73_{867}) «Уподобляя

---

[20] Именно политической, экспансионистской активизацией огузских племен под предводительством вождей из рода кынык и семьи Сельджука в середине XI в. С. Г. Кляшторный объясняет тот замеченный им факт, что в Словаре Махмуда Кашгарского вся «сколько-нибудь существенная информация, имевшая тогда политическое значение, касается только огузов» (С. Г. К л я ш т о р н ы й. Эпоха Махмуда Кашгарского. — СТ. 1972, № 1, с. 22).

этому, поэт сказал таково слово» [21]. Только в «Кутадгу билиг» нам удалось наблюдать чрезвычайно специфичные и редкие случаи, когда именной аккузатив на -°g выступает в местоименной парадигме (olar-yγ, bular-yγ, öz-üg/öz-ig «самого себя», kim-ig «кого», negü-g «каким образом») [22].

Такое специфичное функционирование названных падежных форм именно в этой поэме может быть объяснено за счет индивидуально-творческой манеры Юсуфа Баласагунского, поскольку в поэтических фрагментах (равно как, впрочем, и в других группах материала) Словаря подобных особенностей использования их не встретилось.

Таким образом, жанрово-дифференцированное сопоставление, сочетающееся с приемом расслоения поэтических текстов, не только позволяет осуществить объективную проверку данных, полученных при анализе одного текста, но и обобщить их до уровня принадлежащих поэтическому языку XI в. Уже на этой первой ступени сопоставления становится возможным наряду с двумя слоями, вычлененными ранее посредством приема расслоения (стилистически нейтральная базисная система склонения и литературно обусловленный набор огузских падежных форм), выделить третий слой. Это индивидуально-творческий слой, как можно его назвать вслед за В. В. Виноградовым. Для этого слоя в XI в. использовались чаще всего формы, видимо, не вполне обычные для обиходного языка создателя того или другого текста (можно предположить, что, например, именной аккузатив -°g не был свойствен идиолекту Юсуфа Баласагунского, а напр. падеж -gar воспринимался им как устаревающая форма).

Самая возможность творчески индивидуализированного использования таких форм демонстрирует достаточно высокие стилеобразующие потенции тюркской морфологии в разные исторические периоды; формы названного слоя найдены нами не только среди именных и местоименных падежных форм, но также и среди глагольных форм (см. ниже). Таким образом, историческая грамматическая стилистика и история письменно-литературного языка соответствующего периода оказываются оснащены вполне конкретным материалом, полученным благодаря использованию приема расслоения поэтических текстов и путем жанрово-дифференцированного сопоставления.

---

[21] Подробнее об этом см. нашу статью «О методике изучения морфологии средневековых тюркских поэтических текстов», с. 94—98.

[22] Подобный единичный пример зафиксирован еще лишь в одном древнеуйгурском тексте из Турфана: män-ig «меня» (A. v. G a b a i n, Alttürkische Grammatik. Lpz., 1950, с. 90). Этот единичный пример может рассматриваться как свидетельство тому, что индивидуально-творческое использование -°g Юсуфом Баласагунским в местоименной парадигме поддерживалось известными языковыми потенциями.

Следующая, вторая ступень жанрово-дифференцированного сопоставления подразумевает выход за пределы одного жанра, хотя анализ по-прежнему ограничивается рамками того же исторического периода и того же, юго-восточного, региона. Перейти к этой второй ступени для XI в. стало возможным, привлекая к сопоставлению, после предварительного раздельного их обследования по жанровому признаку, такие группы разнородного иллюстративного материала Словаря Махмуда Кашгарского, как пословицы с поговорками, прозаические примеры, в которых запечатлены разные варианты обработанного языка. Наддиалектный характер фольклорного языка пословиц и поговорок усугублен письменной фиксацией и вполне вероятной письменной обработкой их в Словаре (см. об этом примеч. 17 к с. 34). Относительно прозаических фразовых примеров в Словаре высказывались достаточно аргументированные мнения, что они сконструированы самим Махмудом Кашгарским для иллюстрирования заглавного слова (или словоформы) некоторых словарных статей [23]; следовательно, и они принадлежат обработанному, скорее всего — письменно-литературному языку, знатоком которого являлся их автор. Лингвистический анализ позволил прийти к заключению, что языковые пометы в Словаре Махмуда Кашгарского касаются в основном языковой или диалектной принадлежности слова (или словоформы), которому посвящена словарная статья, но не иллюстративного материала.

Сопоставление заранее специально препарированных показаний текстов, принадлежащих к различным жанровым группам, призвано, прежде всего, верифицировать полученные выше результаты. Таким образом, проблема исторического соотношения литературного языка и языка художественной литературы, выдвинутая В. В. Виноградовым, преломляется здесь в плане объективной проверки результатов, получаемых при анализе тюркского склонения в конкретных текстах. На второй ступени жанрово-дифференцированного сопоставления для XI в. стало очевидно, что стилистически нейтральная базисная система склонения в ее классификационных признаках является общей не только для поэтической разновидности, но и для письменно-литературного языка в целом (более широко — для обработанного языка, включая его устно-фольклорную разновидность в письменной передаче) этого периода.

В том случае, когда стилистически нейтральная базисная система склонения с присущими ей внутрипарадигмными и межпарадигмными соотношениями вполне регулярно совпадает

---

[23] Введение. — Древнетюркский словарь. Л., 1969, с. VII; см. также: Х. Г. Нигматов. Некоторые особенности тюркских авторских примеров в «Диване» Махмуда Кашгари. — СТ. 1972, № 1.

в разножанровых текстах, являясь общей для всех вариантов литературного языка изучаемого периода, возможно предположить, что в этой базисной системе нашла отражение диалектная основа письменно-литературного языка [24]. Естественно поэтому сопоставить данную базисную систему склонения с соответствующей микросистемой одного из живых тюркских языков (диалектов) юго-восточного региона в том случае, если факты гражданской истории носителей этого языка не препятствуют такому сопоставлению. В случае принципиального совпадения обеих сопоставляемых систем и при благоприятствовании исторических и социолингвистических ситуаций данные этих памятников могут быть использованы при построении исторической грамматики живого языка. Так, базисная система склонения XI в. поддается сопоставлению с живым сарыг-югурским склонением, составляющим полную аналогию ей по всем классификационным признакам (особенно это очевидно для склонения в «Кутадгу билиг»). Сарыг-югуров Э. Р. Тенишев считает ответвлением древних уйгуров; их язык, по его мнению, в древности был такого же типа, как и древнеуйгурский литературный d-язык, естественно, с некоторыми диалектными отличиями [25]. Учет вышеизложенного позволяет думать, что базисная система склонения XI в. может стать непосредственным объектом изучения исторической грамматики сарыг-югурского и некоторых близкородственных тюркских языков юго-восточного региона.

Здесь надлежит, однако, соблюдать необходимое правило. В целях исторической грамматики к сопоставлению с данными живых тюркских языков (диалектов) следует привлечь показания средневековых тюркских текстов только при условии, если они предварительно препарированы с помощью многоступенчатой методики, на основе чего выявляются опорные признаки базисной морфологической системы письменно-литературного языка изучаемого периода и отделяются литературно обусловленные («примесные») формы.

Таким образом, уже в пределах одного исторического периода союз исторической грамматики с историей письменно-литературного языка и с исторической грамматической стилистикой, при условии применения специально разработанной методики и комп-

---

[24] В этой связи представляется важным подчеркнуть известную однотипность высказываний Бабура и Махмуда Кашгарского о диалектных основах современных им письменно-литературных языков. Бабур подчеркивал, что речь населения Андижана согласуется с письменным языком (The Bābar-nāma. Ed. by A. Beveridge. Leyden — London, 1905, л. 25); Махмуд Кашгарский обратил внимание на то, что живущие в городах тюрки говорят на «тюркӣ хаканӣ» (МК I, 66), перенося тем самым название литературного языка на тот, базисная система которого в нем запечатлена.

[25] Э. Р. Тенишев. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976, с. 166, см. 55—65.

лексной системы лингвистического описания средневековых текстов, оказывается весьма плодотворным: одна дисциплина помогает другой найти объект изучения и достаточно четко очертить его границы, а это, в свою очередь, позволяет осуществить строгую специализацию каждой из названных дисциплин.

Предлагаемое сочетание системного и жанрово-стилистического подходов, как и разработанная на этой основе методика, применимы для анализа конкретных разножанровых текстов любого исторического периода. Именно с этих позиций нами изучалось склонение в поэтических и прозаических текстах юго-восточного региона второй половины XV—начала XVI в.

Для этого периода, считающегося классическим в чагатайской литературе, характерно небывалое прежде развитие жанров светской литературы — как поэтических, так и прозаических. Довольно редкое для средневековой тюркской литературы совмещение самых разных жанров в творчестве двух выдающихся писателей этого времени — Алишера Навои и Захир ад-Дина Мухаммеда Бабура — позволяет реализовать еще одну линию жанрово-дифференцированного сопоставления, которая имеет дело с языком поэтических и прозаических сочинений поочередно каждого из этих писателей. Такое разножанровое сопоставление внутри творчества одного писателя призвано углубить результаты ведущегося исследования, сделать их максимально объективными. Дело в том, что благодаря жанрово-дифференцированному сопоставлению внутри творчества одного автора представляется уникальная возможность снять допускаемые индивидуально-творческие различия при противопоставлении языка поэзии и прозы. Таким образом, многоступенчатое системное жанрово-дифференцированное сопоставление в руках историка языка становится чрезвычайно гибким и эффективным инструментом анализа, открывающим богатые возможности для адекватной интерпретации получаемых показаний.

Применительно к избранным источникам рубежа XV—XVI вв. мы стремились сочетать с приемом расслоения поэтических текстов различные приемы многоступенчатого системного жанрово-дифференцированного сопоставления — как при соблюдении жанровой дифференциации внутри творческого наследия одного писателя, так и при раздельном подходе к анализу языка поэтических и прозаических жанров данного периода.

Таким путем была установлена, прежде всего, базисная система склонения, формы которой стилистически нейтральны, регулярны, не знают никаких текстовых ограничений. Для базисной системы склонения письменно-литературного языка рубежа XV—XVI вв. характерна совокупность следующих признаков, распространяющихся как на именную, так и на посес-

сивно-именную парадигмы: 1) падежные формативы с консонантическим началом — род. падеж -niŋ, вин. падеж -ni, дат. падеж -qa/-γa — присущи обеим парадигмам, а облигаторное их употребление не зависит от фонетических условий ауслаута склоняемого имени; 2) отсутствие инфикса -n- в локальных падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица. Ни по одному из названных признаков посессивно-именная и именная парадигмы не противопоставляются здесь друг другу. Подобное соотношение названных регулярно употребляющихся признаков принадлежит к карлукскому типу склонения, который представлен в живых новоуйгурском и узбекском языках. Из других признаков базисной системы склонения рубежа XV—XVI вв. назовем: 3) отсутствие именного аккузатива на -°g; 4) отсутствие инстр. падежа на -°n; 5) исх. падеж на -din; 6) частичная полифункциональность местн. падежа на -da.

Формы базисной системы склонения, выделенные из текстов рубежа XV—XVI вв. путем разработанной методики, могут рассматриваться в рамках исторической грамматики узбекского и новоуйгурского языков. Этому не противоречат факты гражданской истории, равно как и данные исторической этнографии: отдельные этнографические группы носителей названных языков рассматриваются ею как исторические потомки тех племен, которые жили в Мавераннахре и сопредельных с ним территориях задолго до узбеков Шейбани-хана.

Наряду с этим вычленен литературно обусловленный и стилистически окрашенный слой инодиалектных форм, употребление которых в названный период падало главным образом на сочинения поэтических жанров. Эти падежные формы, свойственные поэтическому варианту письменно-литературного языка рубежа XV—XVI вв. (А. Н. Самойлович называл их «огузско-туркменскими» [26]), мы считаем конвергентными, огузско-кыпчакскими. Набор таких форм приходился, в основном, на посессивно-именную парадигму 1-го и 2-го лица ед. числа и 3-го лица, т. е. на ту часть, которой карлукский тип склонения особенно заметно отличается как от огузского, так и от кыпчакского типов. Отражение кыпчакских черт в чагатайском языке приобрело актуальность начиная с 20-х годов XV в., когда кочевые узбеки-кыпчаки стали грозной политической силой для тимуридского Мавераннахра. Происшедшая конвергенция форм склонения кыпчакского и огузского типов способствовала усугублению эффекта наддиалектности литературного языка.

Как и в XI в., инодиалектные формативы представляли здесь иные ритмические типы окончаний, нежели их соответствия в ба-

---

[26] А. Н. Самойлович. Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атай.— ЗКВ. Т. 2. Вып. 2, 1927, с. 262.

зисной системе склонения; эти различия использовались главным образом в целях метрической организации стиха.

Набор инодиалектных падежных форм для поэтического языка рубежа XV—XVI вв. принципиально отличается от такого набора, вычлененного нами для поэтического языка XI в. Прежде всего, на рубеже XV—XVI вв. такой набор был весьма ущербен и охватывал в основном локальные падежи посессивно-именной парадигмы (во всяком случае, вовсе не встретился вокалический форматив вин. падежа -i, а форматив род. падежа -^{o}ŋ употреблялся весьма избирательно: только с местоимениями 1-го и 2-го лица мн. числа). Это, во-первых, вокалический форматив дат. падежа -a в посессивно-именной парадигме 1—3-го лица ед. числа; очень редко он попадался здесь и в именной парадигме. Во-вторых, это наличие инфикса -n- в локальных падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица: в дат. падеже представлено морфемосочетание -n-a, частотность которого невысока; в местн. падеже — сочетание -n-da, частотность которого намного выше, чем у -n-a; в исх. падеже — сочетание -n-din, которое встречается в единичных случаях, гораздо реже, чем -n-a или -n-da. В частности, А. Рустамов полагает, что у Навои -n- в названных формах появляется «только по требованию размера» [27]. Инфикс -n- в названных условиях в языке XI в. занимал принципиально иное положение: он был одним из характернейших признаков базисной системы склонения, причем здесь налицо морфемосочетание -n͡-ga для дат. падежа вместо огузско-кыпчакского -n-a.

Другое важное различие названных наборов XI в. и рубежа XV—XVI вв. состоит в том, что в поэзии как Навои, так и Бабура употребление инодиалектных форм было гораздо более строго дозировано, чем в «Кутадгу билиг», в поэтических фрагментах Словаря Махмуда Кашгарского или даже в поэзии старших современников Навои.

Вместе с тем некоторые из инодиалектных падежных форм изредка использовались Алишером Навои в прозаических сочинениях высокого стиля — как одно из средств, образующих этот стиль. Как показало лингвистическое сопоставление прозаических сочинений Навои и Бабура, инодиалектные формы не были специфичны в целом для прозаического варианта письменно-литературного языка рубежа XV—XVI вв.; в частности, они совсем не встречаются в «Бабур-наме», принадлежащем среднему стилю. Будучи обусловлены в прозе Навои индивидуально-творческой манерой писателя, эти формы составляют индивидуально-творческий слой прозаического варианта письменно-литературного языка рубежа XV—XVI вв.

---

27 А. Рустамов. Некоторые падежные особенности языка Навои. — Лингвистический сборник. Таш., 1971, с. 46.

К этому же слою могут быть также отнесены формы, которые принадлежат к базисной морфологической системе, но в использовании которых проявляется специфическая индивидуальная манера того или иного средневекового автора (применительно к прозаическим или поэтическим жанрам). Среди глагольных форм, например, пассив выказывает стилеобразующие потенции в одном из редких для восточного средневековья произведений прозаического среднего (или нейтрального) стиля — в «Бабур-наме». Глаголы в форме пассива, способные здесь иметь при себе вин. падеж объекта, употребляются в депрециативной функции — в стилистических целях умолчания об истинном производителе действия при повествовании от первого лица [28]. Как правило, таким путем Бабур в своем «Бабур-наме» избегает «яканья» [29], не принимая тех самоуничижительных формул, которыми пользуется в прозаическом повествовании от 1-го лица Алишер Навои (bändä «раб», ḫaksar «смешанный с землей; презренный»).

Естественно, что формы как инодиалектного, так индивидуально-творческого слоев составляют, прежде всего, объект истории письменно-литературного языка, с одной стороны, и исторической грамматической стилистики — с другой, хотя, разумеется, они могут использоваться и при реконструкции эволюции соответствующей грамматической категории. Для целей исторической грамматики, призванной реконструировать исторические состояния того или иного общенародного языка, инодиалектные формы не подходят как обусловленные прежде всего литературными факторами. К ве́дению истории письменно-литературного языка и исторической стилистики должны быть отнесены также способы сочетания таких форм со стилистически нейтральными формами базисной морфологической системы языка в каждый изучаемый исторический период. Необходимо всякий раз иссле-

---

[28] В языках других систем, в частности русском, где лично-числовой показатель агглютинируется не во всех временных формах глагола, нейтрализация авторского «я», например в формах прошедшего времени, может достигаться путем опущения подлежащего — личного местоимения 1-го лица ед. числа. Так, например, в прозаическом фрагменте И. А. Бунина «В стране пращуров» (Литературное наследство. Иван Бунин. Кн. 1. М., 1973, с. 76—78) на протяжении трех страниц при глагольных сказуемых прошедшего времени ни разу не употреблено подлежащее — личное местоимение, и только из контекста можно понять, что здесь налицо эллипсис местоимения 1-го лица ед. числа.

В силу специфики грамматического строя тюркских языков эллипсис подлежащего män «я» не дал бы требуемого эффекта, поскольку соответствующий лично-числовой показатель с необходимостью присутствует в глагольной форме. В этих условиях нейтрализация 1-го лица ед. числа в тексте «Бабур-наме» производится за счет показателя пассива.

[29] Подробнее см.: Г. Ф. Благова. Формы пассива, представленные в «Бабур-наме», и особенности их синтактико-стилевого использования. — «Asian and African Studies», 1 — 1965. Bratislava, 1965.

довать пути, которые ведут к складыванию конкретных полей стилистического напряжения, за счет чего и возникает необходимый стилистический эффект.

При этом необходимо иметь в виду, что стилеобразующие потенции далеко не одинаково проявляются у различных грамматических форм. В ряду словоизменительных категорий, помимо падежных форм, такими потенциями обладают личные формы (в основном 1-го лица ед. числа) отдельных глагольных времен — прошедшего на -miš, настояще-будущего на -ar. Стилеобразующие потенции могут обнаруживать отдельные причастия (-duk, -miš) и деепричастия (-iban), а также довольно многочисленные послелоги (jaŋlyɣ «подобно», kibi «как», ilä «с», tegrü/degrü, degin «до, вплоть до» и др.) [30]. Вместе с тем такие потенции не замечены, например, у имен действия.

В свою очередь, базисная грамматическая система письменно-литературного языка изучаемого периода в силу того, что именно в ней мог отражаться в большей или меньшей степени тот обиходный народный язык (или: диалект), на который был ориентирован письменно-литературный язык в данный исторический период и на данной территории, оказывается пригодной для исторической грамматики того или иного тюркского языка.

Итак, при комплексном (системном и жанрово-стилистическом) подходе для каждого из разнородных языковых элементов оказывается возможным найти наиболее целесообразный аспект анализа. В результате ни один из лингвоисторических фактов, драгоценных для историка языка, не исключается из такого специализированного рассмотрения, и достигается это более четким разделением сфер изучения.

Последовательное системное расслоение языковой ткани как поэтических, так и прозаических текстов средневековья (вычленение, с одной стороны, стилеобразующих морфологических признаков и прочих литературных напластований, а с другой — признаков базисной системы языка) позволяет произвести соответствующее разграничение также при построении периодизации истории того или иного старописьменного языка. А это представляется важным потому, что тем самым подобные периодизации получат собственно языковой материал, и притом не разрозненный, но системно обобщенный. В последние годы опытов периодизации появляется все больше и больше, особенно для узбекского языка. При этом каждый из таких опытов отличается от другого не объемом собственно языкового материала и не характером подхода к нему, но варьированием, в первую очередь, хронологи-

[30] См.: Г. Ф. Благова. О характере так называемого «чагатайского» языка конца XV в. — Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика. М., 1960, с. 36—38.

ческих границ древнетюркского и старотюркского периодов, а соответственно и хронологизации начала формирования староузбекского языка.

Не во всех этих опытах периодизации указано, является ли объектом рассмотрения письменно-литературный язык или же язык общенародный. В любом таком случае тюркологи никоим образом не имеют в виду ту «общую „объемную“ периодизацию», которая, по мысли Р. И. Аванесова, «должна строиться на синтезе периодизации истории народного диалектного языка и истории книжно-письменного (позднее литературного) языка» [31] (разрядка наша. — *Г. Б.*). С учетом этого представляется необходимым и принципиально важным в каждом подобном опыте четко различать, строится ли периодизация истории общенародного обиходно-разговорного языка, или же это периодизация развития литературного языка [32]: хотя та и другая свой материал для раннего и средневековых периодов черпают из сохранившихся текстов, принципы отбора должны быть разными в каждом из этих случаев.

О необходимости такого самоочевидного разграничения приходится говорить уже потому, что если, например, Г. А. Абдурахманов и Ш. Ш. Шукуров сосредоточивают свое внимание на истории узбекского литературного языка [33], то для Ф. А. Абдуллаева объектом исследования явился узбекский язык, без вычленения литературного и обиходно-народного [34]. Соответственно в этом последнем случае без какого-либо отбора используются все языковые факты, встречающиеся в средневековых тюркских текстах юго-восточного региона, независимо от их жанровой принадлежности. В частности, для третьего периода исторического развития узбекского языка (XV—середина XIX в.) в целом, вопреки специальным указаниям А. Н. Самойловича [35], считается характерным сосуществование

---

[31] Р. И. Аванесов. К вопросам периодизации истории русского языка, с. 22.

[32] Периодизация среднеазиатско-тюркского литературного языка, которой придерживаются (с различными уточнениями и дополнениями) многие советские и зарубежные тюркологи, была предложена А. Н. Самойловичем: А. Н. Самойлович. К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка. — Мир-Али-Шир. Л., 1928, с. 19—23.

[33] См.: Ғ. Абдураҳмонов, Ш. Шукуров. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Морфология ва синтаксис. Тошкент, 1973, с. 19—25; Ш. Шукуров. О создании исторической морфологии узбекского языка. — Советская тюркология и развитие тюркских языков в СССР, с. 197—198.

[34] Ф. Абдуллаев. Ўзбек тили тарихини даврлаштириш масаласига доир. — «Ўзбек тили ва адабиёти». 1977, № 4, с. 28.

[35] А. Н. Самойлович еще в 1927 г. считал целесообразным говорить о «специально стихотворном чагатайском языке в отличие от прозаического», исходя как раз из «диалектальной смешанности» стихотворного языка, из

многих морфологических форм как карлукских, так и инодиалектных, огузских и кыпчакских; сделанная оговорка «(особенно в литературном языке)» [36] еще более подчеркивает, что эта характеристика распространена автором не только на литературный, но и на общенародный узбекский язык названного периода. В числе других форм (из падежных к ним отнесен род. падеж на *-инг* — «в основном в поэтическом языке») важной особенностью этого третьего периода названы «„западные“ формы, часто употребляющиеся в поэтических трудах таких поэтов, как Алишер Навои и Лютфи: а) форма направит. падежа с аффиксом *-а/-ä*, в 3-м лице (посессивная форма) имени с аффиксом принадлежности часто встречается форма на *-на/-нä*, используемая и ныне в языках огузской группы (а также в хорезмских огузских говорах), ср. *атасына*, *елинä* и карлукскую форму *атасыға*, *елигä*. . .» [37]. К. Махмудов, говоря о староузбекском языке, видимо, также имеет в виду не общенародный разговорный язык эпохи Навои, но письменно-литературный язык. Это видно хотя бы из того, как он утверждает, смыкаясь в этом с заключением Я. Эккмана [38], что формы локальных падежей посессивно-именной парадигмы 3-го лица с «вставочным *-н-*» в основном характерны для староузбекского языка [39].

Между тем в свое время А. К. Боровков, К. Брокельман, А. М. Щербак заметили, что в среднеазиатско-тюркском письменно-литературном языке как раз второй половины XV в., начиная с Навои (у А. М. Щербака — с Лютфи), явно доминирующая часть словоформ локальных падежей посессивно-именной парадигмы 3-го лица не имеет инфикса *-н-* [40], хотя в поэтическом языке Навои формы с *-н-* и без *-н-* могут перемежаться [41]. В свою очередь, исследователь поэтического языка Навои А. Рустамов

наличия именно в нем «значительных элементов „огузско-туркменских“» (А. Н. Самойлович. Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атаи, с. 262).

[36] Ф. Абдуллаев. Ўзбек тили. . ., с. 28.

[37] Там же, с. 29.

[38] J. Eckmann. Chagatay Manual. Bloomington, [1966], с. 92, 94—95.

[39] К. Махмудов, К. Шаниязов. Об одной языковедческой работе. — «Общественные науки в Узбекистане». 1976, № 12, с. 52.

[40] А. К. Боровков. Очерки по истории узбекского языка. I. Определение языка хикматов Ахмада Ясеви. — СВ. Т. 5. М.—Л., 1948, с. 247; он же. Очерки истории узбекского языка. II. Опыт грамматической характеристики языка среднеазиатского «тефсира» XIV—XV вв. — СВ. Т. 6. 1949; с. 29; C. Brockelmann. Osttürkische Grammatik der islamischen Litteratursprachen Mittelasiens. Leiden, 1954, с. 76; А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 93. Э. Р. Тенишев также называет чагатайский язык среди тех немногих языков, которые не имеют *-н-* в заданных условиях (Э. Р. Тенишев. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976, с. 59).

[41] C. Brockelmann. Osttürkische Grammatik, с. 76.

уточнил литературную обусловленность такой вариантности, подчеркнув, что *-н-* здесь «появляется только по требованию размера»[42] (разрядка наша. — *Г. Б.*); более того, помимо жанрово-текстовых ограничений, А. Рустамов склонен усматривать также лексемные ограничения в распределении именно морфемосочетания дат. падежа посессивно-именной парадигмы 3-го лица *-н-а*: «Вариант *-на* встречается только в составе слова *устина* „на, над". . .»[43] (заметим, что столь жесткое лексемное ограничение не подтвердилось нашими наблюдениями).

Ясно, таким образом, что признаки, используемые в названной периодизации, относились не к общенародному староузбекскому языку, но к языку письменно-литературному, причем преимущественно к его поэтическому варианту. На этом примере становится очевидной необходимость в периодизации истории письменно-литературного языка учитывать дифференциацию его на типы или стили хотя бы в общем виде — на прозаический и поэтический. Такая общая дифференциация стилей целесообразна по следующим соображениям. В культуре средневековья, как известно, определяющую роль играло религиозно-дидактическое направление, и Ф. Энгельс подчеркивал «верховное господство богословия во всех областях умственной деятельности»[44]. Засилье богословия препятствовало формированию стиля научной литературы как самостоятельного. Научным трактатам этого времени, в частности по философии и филологии, были свойственны велеречивость и метафоричность, затемнявшие логику рассуждения, причем здесь использовались те же системы образов и словесных формул, связанные с мусульманской образованностью, что и в литературе художественных жанров.

При разработке периодизации не следует пренебрегать свидетельствами средневековых авторов о современной им языковой ситуации (см., например, у Махмуда Кашгарского, Навои, Бабура). Благодаря использованию таких сведений, как и применению комплексной обработки средневековых текстов, появится возможность при периодизации исследовать также «меняющийся

---

[42] А. Рустамов. Некоторые падежные особенности языка Навои, с. 46.

[43] Там же, с. 45.

[44] Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 7, с. 360. См. там же: «. . .монополия на интеллектуальное образование досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер. В руках попов политика и юриспруденция, как и все остальные науки, оставались простыми отраслями богословия и к ним были применены те же принципы, которые господствовали в нем».

характер его связей с общенародной разговорной речью и ее диалектами»[45].

При учете сказанного ясно, что вопрос об инодиалектных формах в письменно-литературном языке (языках) различных периодов требует всестороннего рассмотрения с целью выяснить в каждом конкретном случае, являются ли эти формы только данью книжно-письменной традиции, будучи обусловленными жанровой принадлежностью текста? Или же, например, традиционные огузские элементы в письменно-литературном языке поддерживались и стимулировались к тому же сильным влиянием контактировавшей огузской и кыпчакской диалектной среды?

А. К. Боровков, заметно продвинувший своими исследованиями среднеазиатско-тюркскую историческую диалектологию как самостоятельную дисциплину, не был склонен отвечать однозначно на этот вопрос и сводить все разнодиалектные формы в тексте к одному источнику[46]. В работе 1949 г. он утверждал, что «источники всех диалектальных элементов находятся в самой Средней Азии . . . В дальнейшем эти диалектальные источники сыграли свою роль в образовании специально поэтического языка, достигшего такого блеска в творчестве Алишера Навои. . .»[47]. Позднее ученый все более акцентировал внимание историков языка на «несомненном факте взаимных книжных влияний литературных тюркских языков различного диалектального происхождения»[48], а также на хронологической неоднородности юго-западных элементов в языке конкретного текста[49].

При системном и дифференцирующем подходе к изучению языка средневековых тюркских текстов и соответственно к вопросам периодизации истории письменно-литературного языка обнаруживается неодинаковость его связей с общенародной разговорной речью и ее диалектами уже в пределах одного XV в., который в некоторых из существующих периодизаций безоговорочно отнесен к третьему периоду истории узбекского языка. Между тем

---

[45] В. В. Виноградов. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958 (IV Международный съезд славистов. Доклады), с. 135.

[46] См.: А. К. Боровков. Очерки по истории узбекского языка. I, с. 249; он же. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. М., 1963, с. 19 и сл.

[47] А. К. Боровков. Очерки истории узбекского языка. II, с. 51; он же. Очерки истории узбекского языка. III. — УЗИВАН. Т. 16. М.—Л., 1958, с. 209.

[48] А. К. Боровков. Очерки истории узбекского языка. III, с. 214. В связи с этим см. там же, с. 218: «В эпоху XI—XVI вв. в Средней Азии уже со всей определенностью наметилась диалектальная среда литературных тюркских языков: караханидско-тюркского, огузско-туркменского и узбекского».

[49] Там же, с. 198.

давно замечено, что у поэтов первой половины XV в. — старших современников Навои: Атай, Лютфи и других — весьма значителен вес инодиалектных падежных форм (дат. падеж на -а, инфикс -n- в локальных падежах посессивно-именной парадигмы 3-го лица), в то время как в языке Навои употребление этих форм заметно ограничено. Не зря Я. Эккман на протяжении XV в. выделял для письменно-литературного языка два периода — «1. Доклассический период (с начала XV в. до составления Навои его первого дивана в 1465 г.). . . 2. Классический период (1465—1600) . . .» [50].

С учетом этого рельефнее становится видна роль Навои как реформатора письменно-литературного языка. Трудами Навои были выработаны, а усилиями его литературных соратников — прежде всего Бабура — были закреплены почти регламентированные пропорции использования инодиалектных грамматических форм (в первую очередь — падежных) в поэтическом языке (между тем как лексико-фразеологический состав как поэтического, так и прозаического языка Навои продолжал оставаться возвышенно-литературным, более чем наполовину состоящим из арабизмов и фарсизмов). Скорее всего, именно это новое соотношение письменно-литературного языка с обиходно-народной речью в трудах своего великого старшего современника имел в виду Бабур, когда говорил о том, что язык сочинений Навои согласуется с языком населения Андижана.

Высокая престижность регламентированных пропорций в использовании падежных форм карлукского типа склонения и инодиалектных форм для рубежа XV—XVI вв. может быть показана на примере «Шейбани-наме» Мухаммеда Салиха. Прошедший школу среди поэтов круга Навои, Мухаммед Салих, став впоследствии придворным поэтом Шейбани-хана и оказавшись в иной (хотя и близкородственной) диалектной среде, не подлаживался в языковом отношении к вкусам восхваляемого им узбеко-кыпчакского государя. Об этом свидетельствуют принципиально разные пропорции использования инодиалектных падежных форм в его «Шейбани-наме» и в сохранившихся стихотворных фрагментах, принадлежащих перу самого Шейбани.

Для периодизации развития не только общенародного языка, но письменно-литературного языка явно недостаточен круг избираемых грамматических и лексических явлений (названные выше падежные формы; преобладание деепричастий на *-а*, *-й* взамен *-у*/*-йу*; деепричастие на *-бäн*/*-бан* в поэтическом языке; редкое употребление причастия на *-дуķ*/*-дук*; отсутствие причастий на *-ғлы*/*-гли*, *-ғу*/*-гӳ*, *-дачи*/*-тäчи* [51]).

[50] J. Eckmann. Chagatay Manual, c. 9—10.

[51] См.: Ф. Абдуллаев. Ўзбек тили. . ., с. 28—29.

4 Заказ № 1873

В 1958 г. В. В. Виноградов предложил весьма плодотворный и целесообразный подход к изучению вопроса о периодизации истории литературного языка, который с успехом может быть применен и к периодизации развития общенародного языка. В. В. Виноградов полагал, что подобная периодизация должна «исходить сначала из периодизации развития отдельных частей литературного языка — его произносительных норм, его морфологического строя, его синтаксиса, его лексико-фразеологического состава» [52]. Материалы для частных периодизаций морфологического развития, например, узбекского, азербайджанского глагола уже собраны [53]. Последовательное осуществление подобных частных периодизаций при строго дифференцирующем подходе к материалам, извлекаемым из текстов, обеспечит лингвистическими данными построение периодизации истории как письменно-литературного языка, так и общенародного языка. В свою очередь, это позволит несколько уравновесить абсолютное преобладание экстралингвистических факторов в ныне действующих периодизациях.

---

[52] В. В. Виноградов. Основные проблемы, с. 135.

[53] См., например: Ш. Шукуров. История развития глагольных форм узбекского языка (настоящее и будущее времена). Таш., 1966; он же. Феъл тарихидан. Қадимги туркий ёдгорликлар тилида майл ва замон формалари. Тошкент, 1970; он же. Наклонения и времена глагола в письменных памятниках узбекского языка в сравнительном освещении. АДД. Таш., 1974; М. Рәһимов. Азәрбајҹан дилиндә фе'л шәкилләринин формалашмасы тарихи. Бакы, 1965.

Д. Д. Васильев

ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ЭПИГРАФИКА ЮЖНОЙ СИБИРИ. II.

В «Тюркологическом сборнике-1975» начата публикация новых находок и малоизвестных неопубликованных памятников тюркской рунической письменности бассейна Енисея и других южносибирских зон их распространения. Публикация енисейских материалов продолжается здесь: ниже предлагаются неопубликованные надписи, тексты которых были исследованы нами de visu или по факсимильным копиям в 1977—1978 гг. Индексация памятников дана в соответствии со сводными указателями памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала [1].

Е 119. НАДПИСЬ НА ОДНОМ ИЗ КАМНЕЙ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОГРАДКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. САГЛЫ (рис. 1—3)

В августе 1975 г. в южной части Тувинской АССР были проделаны разведывательные археологические маршруты, в которых принимали участие Ю. Л. Аранчын, А. Д. Грач, Т. Ч. Норбу и автор настоящей статьи. При осмотре могильника, что в 15 км к СЗ от пос. Саглы Овюрского района Тувинской АССР, на камне оградки одного из погребений была обнаружена руническая надпись. Камень ромбовидной формы с необработанными поверхностями, размером 42×23×34 см имеет на двух плоскостях более десяти знаков, высеченных глубокими бороздками. Некоторые знаки подверглись значительному разрушению.

В 1975 г. памятник был доставлен в Тувинский НИИЯЛИ, в город Кызыл, где хранится и сейчас. Копия надписи снималась нами несколько раз в 1975 и 1977 гг. Ранее памятник не издавался.

---

[1] Д. Д. Васильев. Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала. — СТ. 1976, № 1, с. 72—75; он же. Памятники тюркской рунической письменности азиатского ареала (II). — СТ. 1978, № 5, с. 92—95.

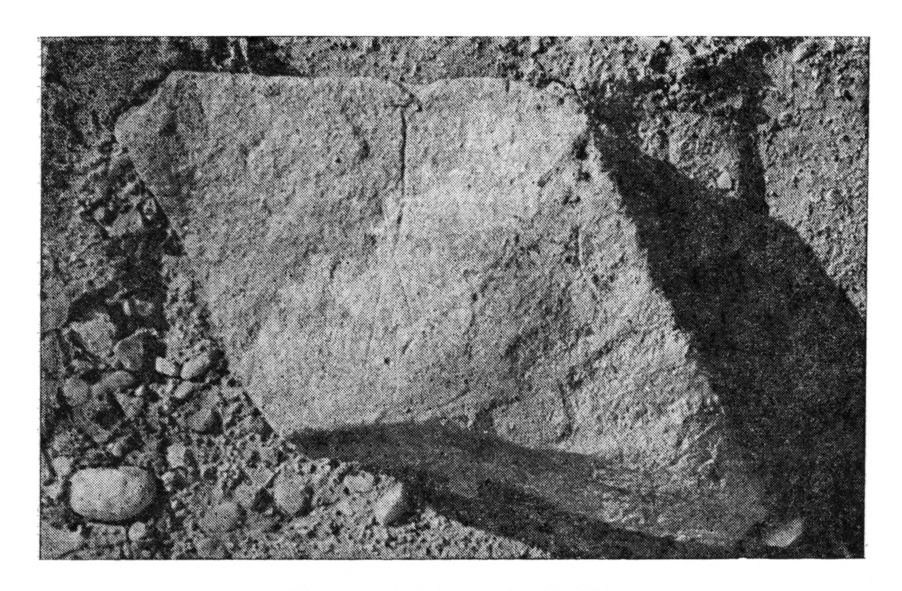


Рис. 1. Фото надписи Е 119



Рис. 2. Фото надписи Е 119 (обратная сторона)

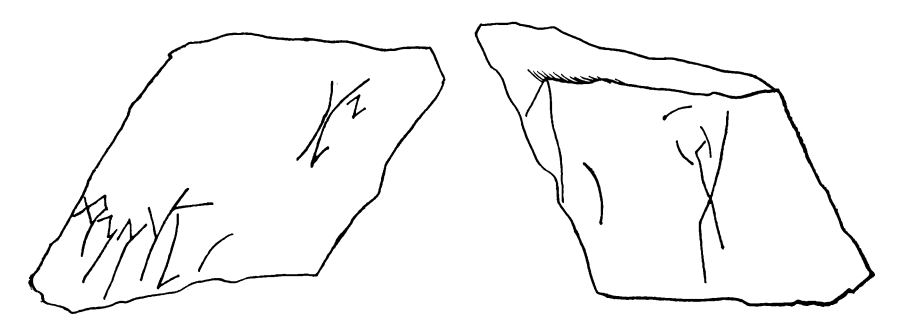


Рис. 3. Прорисовка надписи Е 119

Транслитерация:
(Плоскость А) al^1n^1
. . . $l^1ŋr^2t^2m$
(Плоскость Б). . . z . . .
Транскрипция:
(Плоскость А) alïn. . . alaŋu ärtim

Композиция надписи позволяет предположить, что строки плоскости А не связаны между собой текстуально. Вместе с тем внешний вид надписи, единая техника выполнения свидетельстствуют в пользу предположения о ее единовременности.

Для слова «alïn» в данном контексте можно предложить перевод «бугор, возвышенность», что соответствует топографическим реалиям — стела с оградкой сооружена на склоне небольшого холма, у вершины. Вторая строка плоскости представляет собой, по-видимому, составной глагол с деепричастной формой: alaŋu ärtim «я обессилел, истощил силы».

Интерпретация текста, ввиду его краткости, не может быть безусловной, и трудно сказать, является ли надпись эпитафийной или посетительской.

Е 120. ТУГУТЮПСКАЯ ПЛИТА [2]
(рис. 4—8)

Плоская плита из коричневого песчаника была найдена в 1904 г. Б. Н. Туровым, краеведом-любителем из Ачинска, оказывавшим помощь Минусинскому музею в поисках древностей.

Памятник был обнаружен в местности Тугутюп, в нескольких километрах от деревни Яновой, вблизи от дороги. Расколотая на две части плита тогда же была доставлена автором находки в Красноярский музей. Сейчас в музее сохранился только нижний

[2] Ранее памятник упоминался нами под условным наименованием «Памятник Красноярского музея I».



Рис. 4. Фото надписи Е 120 (плоскость А)



Рис. 5. Фото надписи Е 120 (плоскость А)



Рис. 6. Фото надписи Е 120 (плоскость Б)



Рис. 7. Фото надписи Е 120 (фрагмент надписи на плоскости Б)

Рис. 8. Прорисовка надписи Е 120

фрагмент плиты, который установлен в зале «Древнейшее прошлое края».

Плита представляет в сечении вытянутый прямоугольник, имеет две гладко обработанные (узкие) поверхности и две грубо обтесанные (более широкие). Размеры памятника в момент находки — 309×76—46×15—11 см, размеры сохранившегося фрагмента — 11×52×15—11 см.

Надпись состоит из двух строк, расположенных вертикально на обеих узких плоскостях. Первоначально надпись состояла из 59 знаков на одной стороне и 66 — на другой. На сохранившемся фрагменте — 31 и 46 (включая пунктуационные разделители-двоеточия).

Памятник ранее не публиковался.

Транслитерация:

(Плоскость А). . . t^{1}mγr^{2}r^{2}mä : s^{1}ʊn^1 : ms^1:
b^{2}ükmd^{2}m : s^{2}zä. .
(Плоскость Б) . . . ql^{1}ïn^{1}q d^{1}s^{1}mqa : b^{2}ükmd^{2}m : äs^{2}izä : ʊγl^{1}mqa

Транскрипция:

(А) . . . tamγa är ärimä ašunmïs bökmädim sizä. . .
(Б) . . . qalïn qadašïmqa bökmädim äsizä ʊγlïmqa

Перевод:

«(А) . . . знак (печать?) перешел к моим воинам-мужам. *Я* не насладился вами! (Б) *Я* не насладился [обществом] моих многочисленных друзей. . . О горе моим сыновьям!»

Слово «tamγa» встречалось только в рунических надписях из Монголии: на памятниках в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана. В енисейских текстах по словарному указателю С. Е. Малова оно отмечено в памятнике Е51 [3], но, как показала сверка издания с оригиналом, в последнем устанавливается не [illegible], а [illegible].

Определение qalïn в значении «многочисленный» нередко в енисейских текстах. Введение в перевод слова «обществом» вызвано исключительно стилистическими обстоятельствами.

Если текст строки (Б) является фрагментом достаточно ординарного эпитафийного восклицания, то текст, высеченный на другой плоскости, представляет интерес как фрагмент некоего социально-политического завета. Здесь впервые в рунике упоминается факт передачи сородичам родового знака, который, как известно, фиксировал принадлежность территории и имущества.

---

[3] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, с. 100, 110.

Поэтому памятник является, по-видимому, не только компонентом погребальной обрядности, но и юридическим документом, подтверждающим права наследования.

Е 135. УСТЬ-КУЛОГ (КРАСНОЯРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ)
(рис. 9—10)

Наскальная надпись на обрывистом утесе, над уступом, на гладкой скальной поверхности, покрытой пустынным загаром, была, по-видимому, замечена еще в начале века И. Т. Савенковым. Утес находился у впадения в Енисей правобережного его притока — ручья Кулог, в местности, названной И. Т. Савенковым «щель Тесь», близ впадения в Енисей р. Тесь (напротив и несколько севернее пос. Новоселово) [4].

Надпись была заново обнаружена и впервые упомянута в литературе в 1966 г. Я. А. Шером, скопирована им и отснята на пленку [5].

Надпись состоит из трех строк, расположенных вертикально; знаки нанесены довольно глубокими царапинами, текст восстанавливается полностью. Памятник ранее не публиковался.

Транслитерация:

(1) qb^{1}pa : özr^{2}kn^{2}ä
(2) . . .ŋ$^{\text{ɔ}}$qj^{1}as^{2}ib^{2}t^{2}d^{2}in^{2}t^{2}gb^{2}t^2. . .
(3) . . .ŋ$^{\text{ɔ}}$t^{2}il^{2}kb^{2}t^{2}d^{2}n^{2}b^{2}t^{2}i(g)

Транскрипция:

(1) qab apa : öz irkenä
(2) [bä]ŋu qaja eši bitidin teg biti. . .
(3) [bä]ŋu tilek bitidin bitig

Перевод:

«(1) Каб апа Öз Эркину! (или: Кровному родственнику Öз Эркину!).

(3) Надпись: „Лишь вечную просьбу ты написал.

(2) Ты написал — о друг вечной скалы!“»

Текст памятника представляет собой поэтизированную посетительскую запись на привлекающей внимание прибрежной скале. Две строки расположены в непосредственной близости друг от друга и связаны между собой по контексту. Несколько поодаль

---

[4] И. Т. Савенков. О древнейших памятниках изобразительного искусства Енисея. М., 1910, с. 101 (см. также: Н. И. Попов. — ИСОРГО. 1874, т. 5, № 3—4, рис. к с. 104).

[5] Я. А. Шер и др. Находки на правобережье Енисея. — «Археологические открытия — 1966». М., 1967, с. 147.



Рис. 9. Фото надписи Е 135

Рис. 10. Прорисовка надписи Е 135

и выше расположена еще одна строка, содержащая посвящение или адресующая всю надпись. Это предположение возникает из-за неправильного падежа, в форме которого стоит единственное в тексте имя собственное, а также обращение во втором лице единственного числа в других его строках.

Многие исследователи отмечали сложность точного чтения имен собственных в кратких памятниках енисейской эпиграфики. Здесь также трудно установить составные части и абсолютно точно идентифицировать их с титулом, наименованием родства или собственно именем.

В обеих нижних строках (2 и 3), в начале, стерто по одному знаку, которые в обоих случаях мы предлагаем реконструировать как b^2. Получившееся в результате реконструкции распространенное в енисейской эпиграфике слово bäŋu 'вечный' приобретает несколько необычный орфографический вариант в окончании, нарушающий рядность гласных. Но такой же вариант окончания в этом слове уже был зафиксирован в других енисейских памятниках, например в памятнике Е 36, также прибрежной наскальной надписи с р. Тубы [6].

В этих же строках заметна графическая и фонетическая аллитерация, что и позволяет предположить некоторую поэтизацию посетительского экспромта. С подобной поэтизацией связана, как нам кажется, и инверсия (предложения не заканчиваются глаголом по обычной синтаксической схеме), отраженная нами в переводе. Заключительные слова каждой из этих друх строк — bitig 'надпись' — являются, видимо, тем инверсионным пояснением, которое можно в переводе отнести к целому тексту обеих строк.

Е 137. НАДПИСЬ С ОЗ. ФЫРКАЛЫ
(рис. 11)

Наскальная надпись была известна А. Н. Липскому в 1959 г. Затем, в середине 60-х годов, она была зафиксирована Л. Р. Кызласовым, скопирована им и передана для расшифровки А. М. Щербаку, которому принадлежит первое упоминание памятника в печати [7].

Текст высечен на скале Крес-Хая в Ширинском районе Хакасской АО, в 2,5 км к ЮЗ от с. Фыркалы у оз. Фыркалы. Эта местность привлекала внимание еще П. С. Палласа и

---

[6] Inscriptions de l'Iénisséi recueillies par la Société finlandaise d'Archéologie. Helsingfors, 1889, tabl. XXIX.

[7] А. М. Щ е р б а к. Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изучения. — ТС-70. 1970, с. 117.

Г. И. Спасского, в трудах которых есть ее пейзажные зарисовки [8].

Текст расположен горизонтально, в одну строку. Средняя высота знаков 2—3 см. Слева, в конце надписи, несколько ниже строки, рельефно высечена тамга. Памятник ранее не издавался.

Транслитерация:

b^{1}r^{1}mŋ r^{1}n͜t

Транскрипция:

barïmïŋ oruŋu

Перевод:

«Место [для] скота».

Надпись является документом, подтверждающим право собственности на зимнюю стоянку и пастбище. Текст состоит как бы

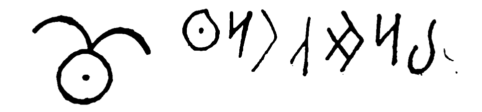


Рис. 11. Прорисовка надписи Е 137

из двух компонентов: родового знака владельца «места» и хозяйственно-функционального определения вида использования территории.

В первом слове надписи формант родительного падежа обозначен графемой ɿ, графической особенностью которой является угол соединения ее элементов. В слове ⊙Ч⟩ несколько необычно употребление знака ⊙ в ауслауте. Это, вероятно, можно объяснить орфографической особенностью передачи аффикса принадлежности в данной изафетной конструкции. Интересно отметить, что личные аффиксы, обычно регулярные в изафете, отсутствуют. По-видимому, ведущая роль в тексте принадлежит все же тамге, а сама надпись здесь является уже конкретным утилитарным дополнением.

Е 138. НАДПИСЬ КАРА-ЮС II
(рис. 12)

Надпись на скальном выходе холма Озерская-гора была найдена в 1975 г. Н. В. Леонтьевым. Факсимильная копия надписи

---

[8] Собрание исторических, статистических и других сведений о Сибири и странах, сопредельных оной. Изд. Г. И. Спасским. СПб., 1818, ч. 1, илл. «Вид Листвяжного хребта близ деревни Фыркалки в Сибири».

передана им в 1977 г. автору этих строк, который также посетил и осмотрел памятник. Местонахождение Озерской-горы наглядно показано на иллюстрации в альбоме Я. Аппельгрена-Кивало (в соседстве с известной Писаной-горой, на которой находится Сулекская писаница с надписью Кара-Юс I) [9].

Текст занимает площадь 80×35 см и расположен горизонтально под небольшим карнизом на северном пологом склоне горы. Надпись нанесена тонкими царапинами, состоит из двух

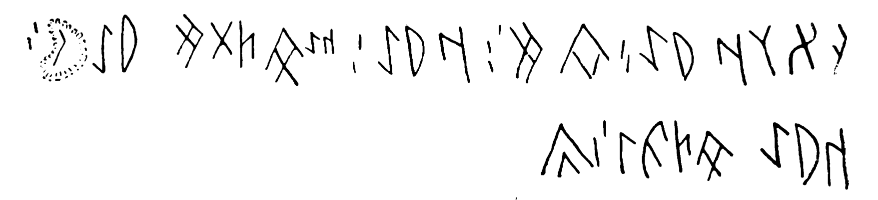


Рис. 12. Прорисовка надписи Е 138

строк, по технике выполнения близка к надписи Кара-Юс I. Памятник ранее не издавался.

Транслитерация:

kzl^{2}qj^{1}a : b^{2}m : qj^{1}a : qa : b^{2}t^{2}d^{2}m : j^{1}l^{1}mqj^{1}a : b^{2}t^{2}gi : t^1. . .

Транскрипция:

gizli qaja äbim qajaqa bitidim jalïm qaja bitigi t . . .

Перевод:

«Сокровенная скала — мой дом. На скале я написал. Надпись крутой скалы. . .»

В тексте надписи примечательно необычное употребление направительного падежа в предложении «qajaqa bitidim». Тем не менее это не столько ставит под сомнение перевод, сколько делает возможным иной стилистический вариант, например: «я нанес надпись на скалу». Следует отметить также пунктуационные особенности надписи: двоеточием отделяется падежный формант — это явление характерно лишь для некоторых текстов Енисея и Монголии.

Памятник в целом можно охарактеризовать как эмоциональный текст, автором которого был посетитель священного места.

---

[9] H. Appelgren-Kivalo. Alt-altaischen Kunstdenkmäler. Briefe und Bildmaterial von J. R. Aspelins Reisen in Sibirien und der Mongolei. 1887—1889. Helsingfors, 1931, Abb. 65.

Таким культовым объектом, несомненно, считались три причудливых холма над долиной р. Кара-Юс, где сохранился один из известнейших образцов древней наскальной живописи.

Е 139. «ЧАПТЫКОВСКИЙ КАМЕНЬ» (рис. 13)

Массивная стела из бурого песчаника была обнаружена в 1906 г. в окрестностях Чаптыкова улуса М. И. Райковым, хакасским учителем из с. Усть-Абаканское, участвовавшим в краеведческих исследованиях Минусинского музея. В архиве музея (д. 22), в переписке И. Т. Савенкова, имеется упоминание об этой находке.

Памятник был обнаружен на территории чаа-таса на правом берегу р. Абакан, в 2 км от устья ее правобережного притока — р. Беи, у дороги, почти у самой правобережной протоки р. Абакан.

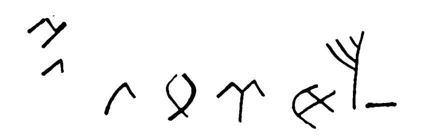


Рис. 13. Прорисовка надписи Е 139

В 1973 г. чаа-тас посетили Н. В. Леонтьев и автор этих строк. Камень был повален и по краям заплыл дерном. В 1977 г. надпись на доступной для осмотра поверхности была скопирована мною.

Памятник ранее не публиковался, упоминание о нем в печати принадлежит А. М. Щербаку [10].

Размеры памятника 312×75—60×25 см. Надпись высечена в одну строку, которая расположена вертикально на широкой плоскости. Знаки нанесены широкими бороздками. Верхняя часть строки изгибается, повторяя контур стелы. Поверхность песчаниковой стелы сильно разрушена выветриванием, и полная реконструкция надписи невозможна. Это обстоятельство не позволило предложить и вариант чтения.

Из палеографических особенностей памятника следует отметить зеркальный вариант аллографы ⟨знак⟩—m. Порядок знаков и их пространственная ориентация позволяют предположить направление чтения надписи слева направо, подобный пример встречается только в двух енисейских памятниках и в нескольких монгольских. Ниже надписи в той же технике высечено тамговое изображение, которое, впрочем, можно интерпретировать и как руническую графему.

---

[10] А. М. Щербак. Енисейские рунические надписи, с. 117.

Д. Д. Васильев, З. Б. Чадамба

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ДОЛИНЫ р. УЮК

В августе 1974 г. в Туве, в урочище Оорзак, близ р. Уюк, были найдены три крупных памятника тюркской рунической письменности. Находки были вскоре доставлены в Тувинский краеведческий музей, где хранятся и сейчас. Тексты надписей оказались интересными историко-культурными источниками. Была осуществлена предварительная публикация памятников, где сообщались также сведения о месте и обстоятельствах находки и подробности доставки памятников в музей [1]. В 1977 г. памятники были тщательно визуально исследованы авторами статьи, была осуществлена фотосъемка надписей, выполнены их факсимильные копии. На основании этих материалов оказалось возможным в значительной степени уточнить и частично реконструировать тексты, приведенные в предварительных публикациях. Ниже предлагаются фото, графические реконструкции надписей и их текстовая интерпретация.

Е 108. («УЮК-ООРЗАК I»)
(рис. 1—3, 6)

Памятник представляет собой оленный камень в виде четырехугольного в сечении столба с закругленной вершиной, размеры памятника — 364×22—31×23—31 см. Поверхность камня обработана, но значительно повреждена выветриванием. Надпись состоит из четырех строк, расположенных вертикально (снизу вверх) на одной из плоскостей почти по всей ее длине. Ниже надписи слабо различимы следы тамги.

---

[1] З. Б. Чадамба. Древнетюркские надписи из урочища Оорзак. — УЗТНИИЯЛИ. Вып. 17. 1975, с. 254—259; она же. О древнетюркской рунической надписи Оорзак-I из Тувы. — Этнические и культурные связи тюркских народов СССР. (Тезисы докладов и сообщений). А.-А., 1976, с. 107—108. З. Б. Чадамба, Д. Д. Васильев. Тюркские рунические надписи из урочища Уюк-Оорзак. — Новейшие исследования по археологии Тувы и этногенезу тувинцев. Кызыл, 1980, с. 131—143.

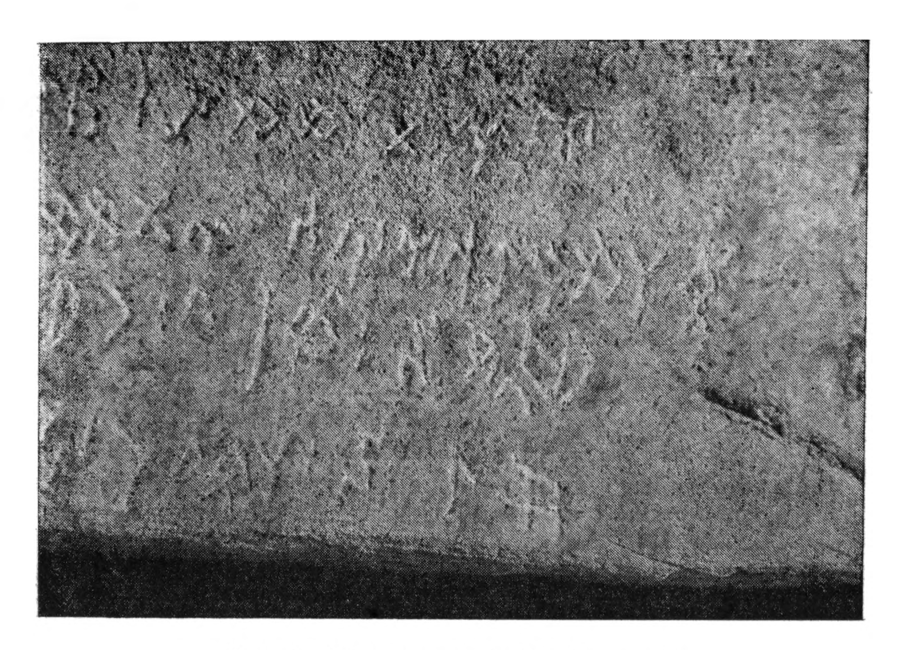


Рис. 1. Фото надписи Е 108 (фрагмент)



Рис. 2. Фото надписи Е 108 (фрагмент)

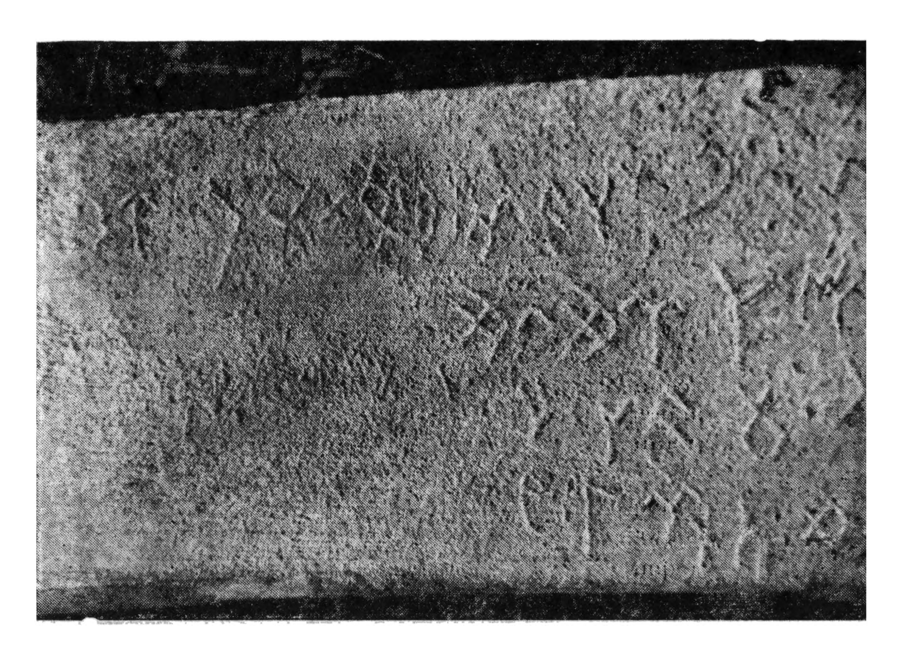


Рис. 3. Фото надписи Е 108 (фрагмент)



Рис. 4. Фото надписи Е 109 (фрагмент)



Рис. 5. Фото надписи Е 109 (фрагмент)

Рис. 6. Прорисовка надписи Е 108

Транслитерация*:

(1) r^{2}r^{2}d^{2}mm:üs^{2}ükij^1 oqär^{2}d^{2}ntim:... l^2 gr^2...:j^{1}oq:äd^{2}m.oqnč.: j^{1}š^{1}mš^1
(2) äl^{2}mkä: qzǧq.: r^{2}d^{2}mm: b^{2}äš^{2}j^{2}gr^{2}mr^2: öl^{2}r^{2}mš^{2}m
(3) j^{1}š^{1}mn^2:b^{2}gmš^2:oj^{1}uqän^2:l^{2}gn^2:u.:ägükj^{1}uq:än^2.guj^1.r^{2}ün^2 äč:...
(4) män^2: al^{1}t^{1}j^{1}oǧl^{1}ï: b^{2}ögü: t^{1}ïm: t^{2}ŋr^{2}i: g...b^{2}ŋkü: g...l^{2}m[in^2]: mn^2

Предлагаемый вариант чтения:

(1) är ärdämim:...joq ärdänim:... älig är...joq ädim: oqu anča jašamïš
(2) älimkä: qazǧaqïm: ärdämim: beš jigirmi är: ölürmišim
(3) jašïmin: begimiš: ojuq än: äligin:...ägük ojuq än...
(4) män: altaj oǧlï: bögü: atïm: täŋri:..bäŋkü...

Перевод построчный:

(1) я сделал несуществующими (погубил) мою воинскую доблесть. . . я погубил свои сокровища, пятьдесят воинов. Вот так он жил!

(2) Моему народу [завещаю] мою воинскую доблесть, мою военную добычу. Я убил пятнадцать воинов.

(3) При моей жизни бегом был, правителем Ойук-ен (низины Ойук), Егюк-Ойук-ен (низины Егюк-Ойук). . .

(4) Мое имя Бёгю, сын Алтая, и я, — о Небо! — . . .вечный памятник.

Перевод литературный:

«О Небо! Мое имя Бёгю, сын Алтая, и я [приказал соорудить] вечный памятник. При жизни я был бегом, правителем низины Ойук, низины Егюк-Ойук. . . Вот так он жил!

Я погубил свою воинскую доблесть. . . я погубил свои сокровища и пятьдесят своих воинов. Мою военную добычу, воинскую доблесть и пятнадцать убитых врагов [завещаю] моему народу!»

Е 109. («УЮК-ООРЗАК II»)
(рис. 4—5, 8)

Памятник представляет собой плоскую широкую стелу из красноватого песчаника, расколотую на две части; размеры обломков — 190×41—43×15 см и 95×60—40×8 см. Надпись состоит из четырех строк, расположенных вертикально на одной из широких плоскостей стелы, и одной строки на узкой боковой пло-

* Многоточие обозначает лакуну, соответствующую нескольким знакам, а одна точка — одному знаку надписи.



Рис. 7. Фото надписи Е 110 (фрагмент)



Рис. 8. Прорисовка надписи Е 109

скости. Поверхность камня в значительной степени покрыта минеральными наслоениями, часть текста разрушена и не восстанавливается. Ниже надписи на широкой плоскости имеется тамга и петроглифические изображения.

Транслитерация:

(1) miŋj^1: ök. . . on^{2}nčj^{1}ğr^1.um
(2) d^{1}ql^{1}d^{1}ï: ol^{1}r^{1}mm
(3) är^{2}t^{1}mb^{2}n^2: . . . s^{1}ŋun^{1}q ud^{1}j^{1}l^{1}q s^{2}ökt^2. . . s^{2}izm
(4) r^{2}n^{2}d^{2}m. . . un^{1}mz: oğl^{1}md^{1}mn^1: il^{2}gt^{2}ŋr^{2}id^{2}ä. . .md^{2}m: är^{2}ǰ
(5) . . . s^{2}mäzm. . . n^{2}ät^{1}m. . .

Предлагаемый вариант чтения:

(1) miŋ aj:. . . jağï urunum
(2) adïqladï: olurmam
(3) är atïm bän:. . . saŋunqa ud jïlqa sökt[üm]: äsizim
(4) ärändim [alt]unumuz: oğlïm adïmïn: ilig täŋridä b[ök]mädim: ärij
(5) . . .

Перевод построчный:

(1) тысяча лун. . .враги мое знамя
(2) прославили, [но] я не воссяду.
(3) Я храбрый стрелок. . . В год коровы [я] разбил сангуна.
(4) Я был воином, я не насладился. . . наше золото, мои внуки. . . Всемогущее Небо (или на Всемогущем Небе). . .
(5) . . .

Литературный перевод текста затруднителен из-за многочисленных лакун, которые усложняют определение синтаксических связей.

Е 110. («УЮК-ООРЗАК III»)
(рис. 7,9)

Памятник представляет собой оленный камень в виде четырехугольного в сечении столба из бурого песчаника, размерами 236×35×13—24 см. Поверхность камня слегка обработана в верхней части памятника, грани четко обозначены. Надпись состоит из четырех строк, расположенных вертикально на двух соседних плоскостях в центральной и верхней частях памятника; на одной из сторон несколько знаков процарапаны между строк. Надпись в значительной степени сглажена выветриванием и восстанавливается с трудом.

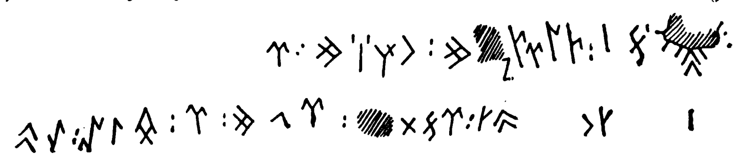
Транслитерация:

(1) t^{1}uz: t^{2}ör^{2}t^2. . . š^{1}m: oš^{1}ğm: r^2
(2) . . . ŋu. . . t^{1}ŋ: r^{2}zd^2. . .r^{2}š^{2}m: r^2: b^{2}in^2: at^1

(3) r^{2}r^{2}d^{2}mim: oqm: oǧs^{1}n^{1}m: äl^{2}m s^{2}zmä
(4) s^{2}z: umj^{1}t^{1}j^{1}š^1: j^1... m: b^2... äčm s^{2}zmä

Предлагаемый вариант чтения:

(1) otuz: tört [ja]sïmï: ošu aǧïm:är
(2) ...atïŋa ärizdä... äršim: är:bin:at
(3) ärärdämim: oqum: oǧušunïm:älim sizimä
(4) siz: umaj tajši:... äčim sizimä



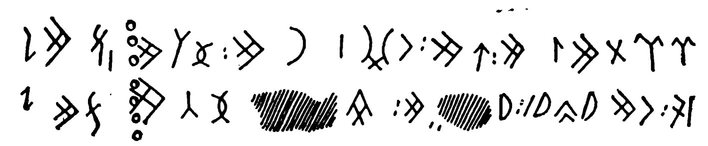


Рис. 9. Прорисовка надписи Е 110

Перевод построчный:

(1) . . . мои двадцать четыре года. . . Вот ловушка, воин!

(2) . . . на своего коня в блаженстве (или: в спокойствии), о святой воин! — садись! Стреляй!

(4) О Умай-тайши! О мои годы! С вами. . .мои родственники. . . [я расстался].

(3) С вами — моя геройская доблесть, мои стрелы, мой род, мой эль [я расстался].

Литературный перевод:

«. . . О святой воин! В блаженстве (спокойствии) садись на своего коня! Стреляй! Но вот ловушка, воин! И в мои двадцать четыре года я расстался с моим элем, сородичами, моим оружием и геройской доблестью.

О наставница Умай! О прожитые мной годы!

Я покинул вас, мои родственники. . .»

КОММЕНТАРИЙ

Е 108. В 1-й строке для нас остался непонятным фрагмент ГBIN. Следует заметить, что первый вариант этого фрагмента не совсем отчетлив в оригинале и может быть интерпретирован иначе.

В рунических текстах впервые встретилось слово 𐰀𐰼𐰓𐰤𐰃𐰢 erdeni (с личным аффиксом), зафиксированное в других тюркских письменных памятниках лишь в XII—XIII вв. [2]. В строке присутствует однородный полуповтор: «. . . joq, . . .joq ädim». Вся эта предикативная группа является, по-видимому, законченной синтаксической единицей, а сохранившийся в окончании строки фрагмент текста может быть интерпретирован по-разному. Предлагаем для этого фрагмента oqu anča jašamïš. В строке имеются лакуны, окончание ее разрушено, и четыре-пять знаков трудноразличимы.

Во 2-й строке любопытно отметить слово. . . 𐰴𐰔𐰍𐰴, имеющее орфографический аналог в памятнике Уюк-Туран (Е 3) [3]. В этом памятнике Х. Н. Оркун, С. Е. Малов, И. А. Батманов повторяли чтение В. В. Радлова — qïzğaqïmoğlïm 'мои дочери' [4]. Однако В. В. Радлов высказал в Глоссарии и свои сомнения по поводу подобной интерпретации: «*казҕак* 𐰴𐰔𐰍𐰴𐰢 встречается только один раз (Uj Tu, $b2_3$). *Я* хотел связать его с *казҕан* (v) и осмыслить *казҕак оҕлым* как 'приобретенные, приемные сыновья', в соответствии с *ёз оҕлым* 'собственные сыновья', и тем самым обосновать это образование. Однако я, вместо того чтобы читать здесь *ёз оҕлым*, с упомянутым *ёз*, читаю *уры оҕлым* и должен также вместо *казҕак оҕлым* читать здесь *кызҕак оҕлым*. А *кызҕак оҕлым* будет означать 'мои дочери'» [5]. Эту мысль развил затем Х. Н. Оркун: «Я перевожу слово öuz в сочетании qïzğaqïm oğlïm ve öz oğlïm как „неродной“. Следовательно, слово qïzğaq или qïzağaq также необходимо перевести как „падчерица“» [6].

Таким образом, в данном памятнике во второй раз в рунике встречается слово «qzğq(m)», но в ином контексте. Здесь нет соблазна ассоциировать qzğq(m) с соседним oğlïm, как в тексте Е 3. Наоборот, контекст, как нам кажется, подтверждает правильность первоначального предположения В. В. Радлова, и перевод: «Я убил пятнадцать воинов! Моему народу — мои приобретения (или завоевания) и воинскую доблесть!» — получает здесь внутреннее логическое обоснование.

В 3-й строке особенно плохо сохранилась вторая половина, где имеются лакуны и возможны неточности реконструкции. Поэтому чтение и перевод окончания строки авторами статьи не

---

[2] Например, в ташкентской рукописи «Кутадгу билиг» (ДТС, с. 176).

[3] Атлас древностей Монголии. СПб., 1892—1899, табл. LXXV, 1—2 (эстампаж Д. А. Клеменца).

[4] H. N. Orkun. Eski türk yazıtları. Cilt 3. İstanbul, 1940, с. 40—41; С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1952, с. 19—20; И. А. Батманов. Язык енисейских памятников. Фрунзе, 1959, с. 142—143.

[5] W. Radloff. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. 3. Lief. St.-Pbg., 1895, с. 362.

[6] H. N. Orkun. Eski türk yazıtları. Cilt 3, с. 41.

предлагаются. Из орфографических особенностей здесь можно отметить употребление ᚻ/n² в форманте родительного падежа, что не соответствует фонетическому ряду слова [runic] j¹as¹ïm.

Текст строки содержит топонимы [runic] и [runic]. В тексте памятника Е 3 упоминается топоним *егюк катун*, который в тюркологической литературе подробно комментируется, — особенно в своей второй части [7], — и отождествляется с современной р. Уюк. Повтор топонима в новом памятнике из долины р. Уюк и появление новых компонентов этого топонима дают дополнительный материал в ходе ведущейся дискуссии [8].

Вторая половина 4-й строки сохранилась хуже всего остального текста и в настоящее время почти неразличима. В начале строки следует отметить новое в рунических письменных источниках имя с генеалогическим указанием: «Бёгю, сын Алтая».

Из палеографических особенностей в тексте следует отметить регулярность употребления аллографы Λ в палатальной и ⅄ в велярной позициях; переднерядный гласный в анлауте регулярно передается аллографой [runic]. В тексте памятника обращает на себя внимание широкое, сравнительно с другими енисейскими надписями, употребление писцом графем, передающих, по выражению П. М. Мелиоранского, «звуковые комплексы» [9]. Здесь это — B, ↑, [runic], [runic].

В целом по ряду характеристик можно отметить близость памятников Е 108 и Е 3. Обе надписи высечены на однотипных оленных камнях примерно одинакового размера; они имеют сходную композицию (надписи нанесены на боковых сторонах стел, где нет изображений животных, тексты начинаются приблизительно в метре от вкопанной части); близкое сходство имеют тамги памятников — см. с. 75. Надписи высечены одинаковой техникой, размеры знаков почти совпадают. Текстовые особенности также подтверждают принадлежность обоих памятников к одной культурно-письменной школе. В текстах упоминается, по-видимому, один и тот же топоним. Обращает на себя внимание также совпадение редких лексических элементов эпитафийной формулы.

Е 109. Восстановить текст в достаточно полном объеме оказалось невозможным из-за разрушения поверхности камня от выветривания и из-за минеральных образований. Все же после чистки

---

[7] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, с. 19—20.

[8] Топоним Егюк-катун, встречающийся в памятнике Уюк-Туран (Е 3), и его фонетические варианты по-новому интерпретирует И. Г. Добродомов в статье «Не река, а женщина» в сборнике «Ономастика Востока», находящемся в печати.

[9] П. М. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-тегина. СПб., 1899, с. 43.

поверхности камня удалось сделать определенные уточнения и дополнения к первым публикациям памятника.

Трещина, по которой памятник раскололся на две части, вызывала дополнительные сколы на участках поверхности в середине 1-й и 3-й строк (здесь лакуны наиболее значительны). Наиболее полные восстановленные тексты дают 3-я и 4-я строки. Восстановить надпись на узкой боковой стороне, по-видимому, уже не удастся.

Чтение и перевод окончания 1-й строки предлагаем здесь лишь в качестве варианта. Возможна иная интерпретация, например: orunum 'мой трон; мои (родные) места' и др. По мнению авторов статьи, urunum 'мое знамя' здесь наиболее вероятно, во-первых, из-за точного соответствия уцелевших штрихов лакуны контурам соответствующего знака; во-вторых, это слово встречается в енисейских рунических надписях, в отличие от других возможных слов; в-третьих, слово логично в контексте: «враги прославили мое знамя».

Композиция и текстовые особенности 2-й строки позволяют предположить, что ее текст является продолжением 1-й. Глагол adaqladï 'прославил' впервые встречается в рунике. Для раннего средневековья он зафиксирован в среднеазиатском литературном тюркú и в письменных памятниках Восточного Туркестана [10].

В начале 3-й строки: для [illegible] мы предлагаем перевод «я герой-стрелок», а не традиционное «мое геройское имя», так как в этом случае стали бы менее четкими синтаксические связи. Временная глагольная форма olurmam несколько неожиданна для времени функционирования языка орхоно-енисейских памятников, она возникает значительно позже в огузских языках. Тем не менее чтение этого слова почти безусловно.

В тексте памятника упоминается дата по двенадцатилетнему животному циклу. Подобные даты неоднократно встречаются в древнетюркских эпиграфических текстах, но, насколько нам известно, «год коровы» фигурирует впервые.

Е 110. 1-я строка восстановлена почти полностью, за исключением маленькой лакуны в средней части, где могли бы уместиться приблизительно два знака. Здесь по контексту мы предлагаем jašïm, вполне уместное после указания возраста.

Начальная часть 2-й строки почти полностью разрушена. Начиная с середины строки можно восстановить atïŋa ärizdä äršim är bin at 'святой воин! В блаженстве (спокойствии) садись на своего коня! Стреляй!'. О том, что тюрки Южной Сибири были знакомы с элементами буддийской культуры, известно по памятникам ру-

---

[10] В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1893, стб. 453, 478.

нической эпиграфики [11], а по иноязычным источникам известен факт перевода на древнетюркский язык буддийских сутр по приказанию одного из каганов. На этот факт можно опереться в предположении, что автор надписи знал буддийскую религиозную терминологию [12]. В несколько более позднее время этот же буддийский термин (arši 'святой') зафиксирован в тюркской рукописи «Золотой блеск» [13]. Расшифровку ärizdä для сохранившегося на строке фрагмента мы предлагаем, руководствуясь при чтении прежде всего контекстом. Некоторое расхождение с фонетической транскрипцией аналога из Словаря Махмуда Кашгарского может быть объяснено особенностями передачи иноязычного слова средствами рунического алфавита [14].

3-я строка восстановлена полностью. Здесь среди однородной цепочки следует прокомментировать oqum 'стрела моя'. По-видимому, воин был искусным стрелком из лука. Это обстоятельство отмечено и в предыдущей строке призывом «стреляй!». Здесь же «его стрелы» упомянуты наряду с общеродовыми нравственно ценными категориями, и эта деталь в значительной степени индивидуализирует эпитафийную формулу.

Выделенную пунктуационным двоеточием группу [illegible] авторы статьи интерпретируют как «Умай-тайши» (или «Наставница Умай») — обращение к божеству, хранительнице дома и семьи, а не к какому-либо конкретному лицу, носящему имя «Умай», как это имеет место в одном из енисейских памятников. В пользу именно такого толкования, нам кажется, может свидетельствовать и эмоциональное äsiz, возвышающее и ориентирующее стиль обращения.

Строки этой плоскости, расположенные одна под другой, имеют оригинальную композицию. Они явно подогнаны к единой длине, у них совпадают начальные и конечные точки строк, соблюдается вертикальное равнение знаков. Окончания строк аллитерируются не только фонетически, но и в графике: фрагменты являются как бы зеркальными вариантами, и при наложении одного на другой по горизонтальной оси знаки почти совпадают [illegible] / [illegible]. Палеографические и композиционные детали позволяют предположить, что строки этого «рунического бейта» сочетают в определенной степени элементы симметрии и ритма.

---

[11] Ф. Х. Арсланова, С. Г. Кляшторный. Руническая надпись на зеркале из Верхнего Прииртышья. — ТС-1972. 1973, с. 312—315.

[12] См.: Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken. Wiesbaden, 1958, Bd 1, с. 43.

[13] Suvarṇaprabhāsa. (Сутра Золотого блеска). Текст уйгурской редакции. Изд. В. В. Радлов и С. Е. Малов. Вып. 1—8. СПб.—Пг., 1913—1917 (Bibliotheca Buddhica. 17). Вып. 3. Пг., 1914, 436_{12}, 577_{7}, 606_{7}.

[14] Divanu Lugat-it Türk. Faksimile. Ankara, 1941, с. 132.

Следует напомнить, что местность, где были обнаружены новые памятники, уже была известна и по другим таким же находкам еще в конце прошлого века. Помимо публикуемых памятников, известно шесть образцов рунической эпиграфики из бассейна р. Уюк. Это памятники: Уюк-Тарлак (Е 1), Уюк-Аржан (Е 2), Уюк-Туран (Е 3), из Малиновки (Е 56), два мелких предмета из кургана Аржан II [15]. Обращает на себя внимание единообразие оорзакских памятников с тремя первыми из известных ранее.

Массивные стелы из песчаника являются своего рода палимпсестами; надписи на них перекрывают более древние изображения оленных камней, петроглифы. Более древние оленные камни, с характерными для них изображениями животных, опоясками в центральной и верхней частях и другими деталями, были использованы резчиками рунических эпитафий как готовые формы с обработанной поверхностью, к тому же украшенные. В композиции надписей резчиками учитывались имеющиеся изображения и текст размещался на наиболее свободной поверхности. Дополнительным моментом, позволяющим объединить памятники Е 1— Е 3 с оорзакскими, могут явиться также, по-видимому, и тамговые параллели:

Е 1 Е 2 Е 3

Е 109 Е 108

---

[15] С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, с. 11—20 (в работе приводится также и библиография предшествующих изданий); С. Г. Кляшторный. Рунические надписи из кургана Аржан II. — Первобытная археология Сибири. Л., 1976, с. 184—185; И. Л. Кызласов, Средневековая эпитафия из Малиновки (Тува). — СТ. 1977, № 2, с. 74—78.

А. Н. Гаркавец

ДВЕ НОВОНАЙДЕННЫЕ АРМЯНО-КЫПЧАКСКИЕ РУКОПИСИ

1

В Центральном государственном историческом архиве УССР (ЦГИА УССР) в Киеве в фонде 39, содержащем актовые материалы Каменецкого магистрата, хранится 27 актовых книг армянского суда г. Каменца-Подольского, составленных на армяно-кыпчакском языке в период с 1572 по 1663 г. (ф. 39, оп. 1, № 8, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24—37, 40—42, 157, 158). Их общий объем 7719 листов. Сведения об этих книгах, ранее считавшихся утерянными, содержатся в специальной статье В. Р. Григоряна [1].

В феврале 1979 г. этот фонд пополнился еще одной армяно-кыпчакской рукописью — утерянной во время Великой Отечественной войны актовой книгой армянского суда г. Каменца-Подольского, содержащей акты с 13 марта 1047 г. (=23 марта 1598 г.) по 28 июля 1052 г. (=7 августа 1603 г.). Эта книга, непосредственно предшествовавшая книге под номером 20 (4406), хранилась в фонде Каменецкого магистрата ЦГИА УССР в Киеве под номером 4405, присвоенном ей в Центральном архиве древних актов в Киеве. Теперь ее номер 19а. Рукопись возвращена в ЦГИА УССР в Киеве Центральным государственным историческим архивом Латвийской ССР в Риге вместе с рядом других киевских материалов.

Описываемая актовая книга содержит 390 пронумерованных листов, из которых л. 78б, 79а и 390б чистые, и два ненумерованных чистых листа в начале книги. Бумага белая с водяным знаком «Змий в короне» высотой 12,5 см. Формат 41,5×28,5 см. Книга сшита и оправлена в кожаный переплет, на котором в отличие от

---

[1] В. Р. Григорян. Об актовых книгах армянского суда г. Каменец-Подольска (XVI—XVII вв.). — «Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы». Под ред. А. С. Тверитиновой. М., 1964, с. 276—296.

других актовых книг этого суда нет тиснения «Acta prawa Ormienskiego». Рукопись писана на армяно-кыпчакском языке армянским письмом почерком нотргир. В среднем 40 строк на странице, по 50—60 знаков в каждой строке. Отдельные акты составлены на польском языке тем же письмом. В ряде записей содержатся транслитерированные почерком нотргир копии польских и украинских документов — частных документов, выписок из актовых книг польских и украинских гражданских и духовных судов Каменца-Подольского, Львова, Хотина, Замостья, Кракова, Варшавы и других городов. На л. 154аб и 183аб приведены латинской скорописью копии декретов польского короля, составленных на латинском языке.

Между л. 294 и 295 вшит лист серой бумаги с оборванными краями размером 40×35 см без водяных знаков, использовавшийся для пробы пера. Среди латинских, польских, армянских пометок в собственной графике имеются две даты — 1681 и 1725 гг.

Между л. 339 и 340 вшита часть листа форматом 19×12 см, на обеих сторонах которого содержатся фрагменты текстов на польском и армяно-кыпчакском языках в собственной графике со счетными пометками.

Актовая книга велась при войте Якубе Бенешеве, а после его смерти, с апреля 1600 г. — при войте Ниголе, сыне священника Хануса, прежде присяжном; присяжных Михно и Сергие (после его смерти, с апреля 1600 г. — при Якубе, сыне Крикора Бенеша), ереспоханах; Зану, Вартане, Ованесе, Гагосе, Гурйыге, Ованесе, сыне Левона, Аго, Ханусе, Юрко, Вартересе (Лукаше) и писаре Бедросе, сыне Хачко.

В книге более 2500 судебных записей, многие из них содержат уникальные исторические сведения. Так, в записи 3 на л. 19а и записи 4 на л. 93а в связи с выделением средств и погашением расходов сообщается о поездке армянского католикоса и присяжного Нигола на сейм. В записи 2 на л. 99б и записи 3 на л. 203а речь идет о тяжбах против армянского сукновального цеха, являющегося, вероятно, одним из наиболее ранних цеховых объединений армяно-кыпчакских ремесленников Каменца наряду со скорняжным цехом, о тяжбе которого против частных предпринимателей речь идет в записи 2 на л. 127б. На л. 284б приведен протокол о внесении в актовую книгу армянского суда декларации о привилегиях портняжного цеха, однако сама декларация, которая содержалась в существовавшей тогда актовой книге этого цеха в переводе с латинского языка на польский в армянской графике, не приведена, хотя для нее оставлено место — почти целая страница. На л. 207б есть упоминание о наличии особой книги для записи духовных дел, которая велась духовным армянским судом Каменца и в которой сделана запись об обвинении армянских монахинь Горпины Шимановой и ее дочери Анны в убийстве новорожденного ребенка Анны.

В большом количестве записей говорится о финансовых и торговых сделках, отражающих экономические связи между разными странами Европы и Востока, осуществлявшиеся через Каменец-Подольский.

Лингвистическая ценность этой книги, как и ранее известных армяно-кыпчакских письменных памятников, состоит в том, что акты отражают живую кыпчакскую речь армяно-кыпчаков. Книга восполняет собой пробел в цепи памятников почти в пять лет, причем именно того периода, когда при ведении записей на латинском и польском языках в каменецких актовых книгах начинала использоваться латинская графика. Параллельное применение армянской и латинской систем письма в каменецких актовых книгах дает в руки исследователей ключ к более достоверному уяснению фонетики армяно-кыпчакского языка, к пониманию путей совершенствования армянской графики (появление специфических буквосочетаний) в ее применении к кыпчакскому фонетическому строю.

2

Известные до настоящего времени армяно-кыпчакские письменные памятники объединяются в пять групп: 1) исторические хроники, 2) правовые и актовые документы, 3) филологические труды, 4) светские художественные произведения и 5) культовая литература. Каждой из этих групп свойственны определенные жанрово-стилистические особенности. Перечень жанровых групп оказывается неполным, если иметь в виду, что в ЦГИА УССР в Коллекции рукописей по истории литературы и права хранится научный трактат «Таинства философского камня» (ф. 228, оп. 1, № 89). Рукопись составлена Андреем Торосовичем во Львове в апреле—мае 1626 г. на польском и армяно-кыпчакском языках польской скорописью и армянским почерком нотргир соответственно. Объем рукописи 177 листов. Бумага белая. Водяной знак — высокий прямой крест в круглом кресте на круге, в нижней части которого трехглавая округлая корона. Диаметр круга 4 см. Формат бумаги 30×20 см. Переплет новый, картонный.

В рукопись вложено два отдельных листа. Первый из них форматом 19,5×6,5 см содержит истолкование одного из химических опытов Раймунда Луллия, составленное на армяно-кыпчакском языке (почерк нотргир). Текст заканчивается на обороте листа. На втором листе форматом 20×16 см с обеих сторон имеются записи на армяно-кыпчакском языке почерком нотргир и отчасти на польском языке польской скорописью, представляющие собой описания опытов Андрея Торосовича по получению философского камня.

Польская (основная) часть книги представляет собой выписки из сочинений Сократа, Аристотеля, Авиценны, Демокрита, Пла-

тона и других философов, но главным образом — описания экспериментов, извлеченные из сочинений по алхимии, трактующих о способах получения золота из любых металлов при помощи чудодейственного порошка, именуемого философским камнем (л. 1а—161б). В качестве источников по алхимии послужили для автора рукописи труды Гермеса Трисмегиста (вымышленный автор основополагающих трудов по алхимии), Гебера (Абу Мусы-Джафара ас-Сафи, 780—840), Арнольдо де Вилланова (ум. в 1314), Раймунда Луллия (1235—1315) и целого ряда других ученых. Книга Андрея Торосовича написана в те времена, когда при дворе польского короля Сигизмунда III подвизался один из последних знаменитых алхимиков Польши Михаил Сендзивой (1566—1604), получивший якобы чудодейственный порошок в качестве приданого, женившись на вдове известного шотландского адепта Сетона. Вероятно, успех Михаила Сендзивоя при дворе польского короля не давал покоя Андрею Торосовичу, который и сам, не имея этого порошка и не зная секрета его приготовления, проводил многочисленные опыты. Об этом свидетельствуют армяно-кыпчакские комментарии к польским описаниям опытов и специальные записи о собственных экспериментах. Маргинальные комментарии имеются на л. 13б, 20б, 26б, 29б, 36б, 38б, 56б, 57а, 69б, 73б, 78б, 81б, 83б, 84б, 99б, 107б, 108б, 115б, 119б, 120аб, 125а—126а, 128а—129а, 130б—132а, 133а, 134б—136а, 143аб, 147аб, 153а, 156б, 157б—158б, 162а. Собственные опыты описаны им на армяно-кыпчакском языке на л. 146б, 152б, 176а.

На л. 162б—163а дана сопоставительная таблица армяно-григорианской и польской пасхалий с 1631 по 1700 г. с установлением частичных расхождений между армяно-григорианской и русской православной пасхалиями. Таблица имеет важное значение для сопоставительной хронологии. Составлена она на польском языке, а комментарии к ней — на армяно-кыпчакском.

На л. 163б приведен составленный на польском языке в собственной графике перечень относительных датировок 1630 г., являющегося 7138-м от сотворения мира по греческому и армянскому календарю, 6878-м — по римскому, 1079-м от начала королевства Польского, 665-м от принятия христианства, 976-м от основания Кракова, 300-м от основания Львова, 290-м от подчинения его Польше, 48-м от исправления календаря. Среди приведенных наиболее интересна датировка, связанная с принятием христианства. Дело в том, что армяне приняли христианство не за 665 лет до 1630 г. (в 965 г.), а многими столетиями раньше — в 301 г. христианство объявлено официальной религией феодальной Армении. Следовательно, речь идет о принятии христианства не армянами, а, видимо, той частью кыпчаков Крыма, которые и в XVI—XVII вв. именуют себя, согласно вероисповеданию, эрмени, в церковном отношении подчиняются армянскому католи-

косу в Эчмиадзине, в письменности используют армянскую графику и изучают армянский язык как неродной, составляя для этой цели армяно-кыпчакские переводные словари и грамматические пособия по армянскому языку на их родном кыпчакском языке. Данное заключение хорошо согласуется с мнением, в соответствии с которым этническую основу эрмени составили кыпчаки, принявшие армяно-григорианское христианство в Крыму в X и последующих веках [2].

На л. 165б дан рецепт мазевого компресса, применяемого при головной боли. Язык — армяно-кыпчакский.

На л. 166аб и 169б—170а молитвы, составленные самим Андреем Торосовичем на армяно-кыпчакском языке.

На л. 167а—168а Андрей Торосович на армяно-кыпчакском языке описывает шесть удачных опытов по скрещиванию шиповника и тальника, персика и урюка, по улучшению культуры яблони и груши, миндаля и грецкого ореха.

Лингвистическое значение трактата Андрея Торосовича велико уже потому, что это, возможно, единственный армяно-кыпчакский письменный памятник из области химии, медицины и садоводства, который содержит соответствующую терминологическую лексику. Особую ценность для доказательства наличия в армяно-кыпчакском языке переднеязычных губных ö, ü и палатализованного ’а/ä имеет употребление Андреем Торосовичем армянских буквосочетаний, аналогичных польским сочетаниям i с соответствующей буквой, обозначающей палатальный гласный, например, io= =ö, iu=ü и т. д. Функцию польской буквы i, имеющей вспомогательное значение в таких буквосочетаниях, выполняет армянская буква «ечь». Из морфологических особенностей памятника наиболее важной является, вероятно, фиксированное употребление формы на -ma в качестве инфинитива. Для синтаксиса памятника характерны приближенный к польскому (обратный тюркскому) порядок слов, использование неопределенно-личных и безличных предложений, эллипсис подлежащего в определенно-личных предложениях, широкое применение сложноподчиненных предложений с союзным подчинением придаточных вместо традиционно тюркских предложений, осложненных глагольно-именными оборотами.

Введение в научный обиход этих двух рукописей не просто открывает доступ к неизвестным источникам, но скорее обогащает тюркологию и индоевропеистику новым, важным культурно-историческим и лингвистическим фактическим материалом.

---

[2] G. Clauson. Armeno-Qïpčaq. — «Rocznik Orientalistyczny». T. 34.Z. 2. 1971, с. 7—14; А. Н. Гаркавец. В. В. Бартольд о вероисповедании у кыпчаков в X—XIII вв. и проблема этногенеза армяно-, греко-кыпчаков и караимов. — Бартольдовские чтения. Тезисы докладов и сообщений. М., 1974, с. 18—19.

А. П. Григорьев

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ЗОЛОТОЙ ОРДЫ XIII—XIV вв.

Улус Джучи, т. е. государственное образование, за которым в научной литературе закрепилось название Золотая Орда, в XIII—XIV вв. управлялся представителями рода Чингизидов, которые, как известно, были монголами. Попытки автора этих строк приступить к формулярному анализу золотоордынских актов XIII—XIV вв., сохранившихся только в старинных русских переводах [1], выявили практическую необходимость ответа на вопрос: на каком языке эти документы были написаны первоначально? Названный вопрос с неизбежностью влечет за собой проблему в целом — на каком языке составлялись все официальные документы Золотой Орды в XIII—XIV вв.?

В собственно Монголии названного периода времени господствующим языком общения и официальным языком был монгольский. При этом известны различного рода многолетние контакты монголов с древними тюрками, проживавшими на той же территории, а в XIII—XIV вв. — с тюркоязычными уйгурами. Европейский путешественник середины XIII в. Гильом Рубрук, зная, что в языке «югуров (уйгуров. — *А. Г.*) заключается источник и корень турецкого (тюркского. — *А. Г.*) и команского (половецкого. — *А. Г.*) наречия» [2], в то же время писал о том, что «моалы (монголы. — *А. Г.*) заимствовали их письмена, и югуры являются главными писцами среди них» [3]. «И Мангу-хан (монгольский великий хан Мункэ. — *А. Г.*) посылает вам (французскому королю Людовику IX. — *А. Г.*) грамоту на языке моалов, но письменами

---

[1] См., например, А. П. Григорьев. Эволюция формы адресанта в золотоордынских ярлыках XIII—XV вв. — «Востоковедение». 3. Л., 1977, с. 132—156; он же. К реконструкции текстов золотоордынских ярлыков XIII—XIV вв. — «Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки». Вып. 5. Л., 1980, с. 15—38; он же. Обращение в золотоордынских ярлыках XIII—XIV вв. — «Востоковедение». 7. Л., 1980, с. 155—180.

[2] Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. — Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, с. 131.

[3] Там же, с. 130.

6 Заказ № 1873

югуров»[4]. Посланец римского папы Иннокентия IV Джиованни дель Плано Карпини, еще в ноябре 1246 г. побывавший в ставке монгольского великого хана Гуюка, рассказывал о том, что монгольская грамота Иннокентию IV была написана по-монгольски. Тут же в ханской ставке она была растолкована при помощи толмачей самому Плано Карпини и его спутникам, которые переписали это толкование по-латыни. Затем монгольская канцелярия изготовила и заверила ханской печатью персидский текст грамоты — на тот случай, «чтобы можно было найти кого-нибудь в тех странах, кто прочитал бы ее, если пожелает господин папа»[5].

Вопрос о национальной принадлежности официального языка Золотой Орды XIII—XIV вв. представляется более сложным. Дело в том, что господствующая монгольская верхушка в золотоордынском обществе испытывала несравненно более сильное ассимилирующее влияние со стороны разноплеменной, по преимуществу тюркоязычной, численно намного превышающей монголов массы населения Золотой Орды. Арабский автор Шихаб ад-Дин Ахмад ибн Фадлаллах ал-Умари (1301—1348) в своем сочинении «Пути взоров по государствам разных стран» так описал процесс языковой ассимиляции золотоордынских монголов: «В древности это государство было страною кипчаков (половцев. — *А. Г.*), но когда им завладели татары (монголы. — *А. Г.*), то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (татар) и все они стали точно кипчаки, как будто они одного (с ними) рода, оттого, что монголы поселились на земле кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить в земле их (кипчаков). Таким образом долгое пребывание в какой-либо стране и земле заставляет натуру человеческую уподобляться ей и изменяет прирожденные черты согласно ее природе. . .»[6]

Если и не с исчерпывающей глубиной и полнотой, то, во всяком случае, очень ярко и образно ал-Умари описал процесс, который в конце концов привел к тому, что после 1380 г., т. е. после того, как власть в Золотой Орде перешла в руки Токтамыша, мы уже не имеем ни одного документального подтверждения монголоязычия золотоордынских ханов, т. е. Чингизиды становятся тюрками.

Монгольский язык в Золотой Орде был еще в ходу не только в XIII в., что вполне естественно, но и в XIV в. Например, началом XIV в. датируется золотоордынская рукопись на бересте,

[4] Там же, с. 129.

[5] Дж. дель Плано Карпини. История монгалов.— Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, с. 79.

[6] Цит. по: В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884, с. 235.

найденная в 1930 г. на левом берегу Волги близ с. Терновки (ныне Саратовская обл. РСФСР). Рукопись написана уйгурским алфавитом большей частью по-монгольски, меньшей — по-уйгурски. Монгольская часть рукописи представляет собой образчик лирической поэзии, древнемонгольской народной лирики [7]. Рукопись была извлечена из погребения, датируемого XIV в., но которое по археологическим признакам может быть отнесено и к XV в.[8] Приведенный пример свидетельствует о том, что и в XIV в. в Золотой Орде различные слои общества говорили и писали по-монгольски. Господствующий класс — представители рода Чингизидов в особенности — традиционно придерживался монгольского языка, бывшего для них, видимо, языком и домашним, и придворным. Сохранилось свидетельство персоязычного автора XIV в. Вассафа о том, что золотоордынский хан Узбек (1312—1342) говорил со своими приближенными по-монгольски [9].

Вернемся к вопросу об официальном языке Золотой Орды XIII—XIV вв. Поскольку на официальном языке составлялись, в частности, документы внешних сношений, за два указанных века мы можем отобрать из довольно скудного числа сохранившихся источников несколько разноязычных свидетельств, освещающих названную проблему. Рассмотрим их в хронологическом порядке.

Плано Карпини, побывавший в ставке Бату на Волге в апреле 1246 г., писал: «. . . мы поднесли грамоту (на латинском языке. — *А. Г.*) и просили дать нам толмачей, могущих перевести ее. Их дали нам. . . и мы вместе с ними тщательно переложили грамоту на письмена русские и саррацинские (персидские. — *А. Г.*) и на письмена татар (монголов. — *А. Г.*); этот перевод был представлен Бату, и он читал и внимательно отметил его» [10]. Вспомним также и о том, что монгольский источник XIII в. «Сокровенное сказание» («Нигуча Тобчиян») сохранил текст богословской преамбулы к донесению на монгольском языке, которое послал Бату великому хану Угэдэю в 1238 г.[11]

Итак, во времена первого золотоордынского хана Бату (1227—1255) золотоордынская канцелярия вела делопроизводство на монгольском языке. Грамоты, исходившие от европейских государей, переводились вначале на русский язык, ибо среди русских людей легче всего можно было найти человека, знавшего латынь —

---

[7] Н. Н. Поппе. Золотоордынская рукопись на бересте. — СВ. Т. 2. М.—Л., 1941, с. 81—134, табл. I—XXIV.

[8] Там же, с. 81.

[9] В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2. М.—Л., 1941, с. 89.

[10] Дж. дель Плано Карпини. История монгалов, с. 71.

[11] А. П. Григорьев. Эволюция формы адресанта, с. 137. Историографический анализ «Нигуча Тобчиян» см. в кн.: Ш. Бира. Монгольская историография (XIII—XVII вв.). М., 1978, с. 36—74.

тогдашний язык европейской учености и межгосударственных сношений. С русского языка грамота переводилась на первый восточный — «сарацинский» язык. Сарацинами в средневековой Европе называли вообще всех мусульман [12], так что сарацинское письмо — это, конечно, арабское письмо. Поскольку первыми мусульманами, заимевшими прочные экономические и культурные контакты с монголами, были персы, то в данном случае сарацинский язык грамоты — это персидский язык, переданный буквами арабского алфавита. Персидский экземпляр перевода перелагался на второй восточный язык — монгольский — буквами уйгурского алфавита.

Рубрук посетил ставку наследника золотоордынского престола Сартака в августе 1253 г. Он рассказывает, что подал на имя Сартака грамоту Людовика IX, написанную по-латыни, «с переводом по-арабски и сирийски. Ибо я приказал переложить ее . . . на оба языка и письмена; и при дворе Сартаха были армянские священники, которые знали по-турецки (видимо, по-половецки. — *А. Г.*) и по-арабски. . .» [13]. Иными словами, здесь мы встречаем ту же «промежуточную» сарацинскую грамоту, но уже на арабском языке.

Обратимся к дипломатическим сношениям Золотой Орды с мамлюкским Египтом. Перипетиям их взаимоотношений в XIII—XIV вв. посвящено монографическое исследование С. Закирова [14]. Средневековые арабские авторы сообщают ряд интересных для нас деталей этих взаимоотношений.

В 1263 г. послы золотоордынского хана Берке привезли в Египет его письмо, в котором сообщалось о принятии им ислама. Послание было датировано 1 раджаба 661/11 мая 1263 г. и написано в «ставке Итиль» (т. е. на Волге) [15]. Мы уже достаточно хорошо знаем способ датировки чингизидских документов того времени [16], а потому можем заключить, что письмо Берке было написано по-персидски или по-арабски. Значит, то был не первоначальный,

[12] Этноним сарацины происходит от имени жены библейского патриарха Авраама Сарры. Библейская традиция считает сына Авраама Измаила родоначальником арабов — первого народа, принявшего ислам. Потому арабов и вообще всех мусульман христиане называли измаильтянами. Авраам произвел Измаила от наложницы Агари. Другое название измаильтян — агаряне. Поскольку настоящей женой Авраама была Сарра, агарян именовали и сарацинами. Арабские знатоки родословий признавали происхождение северных арабов от сына Авраама (Ибрахима) Измаила (Исмаила), а южных арабов — от Иактана (Кахтана) (см.: Е. А. Беляев. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965, с. 67).

[13] Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны, с. 113.

[14] С. Закиров. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII—XIV вв.). М., 1966.

[15] В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов. Т. 1, с. 99.

[16] А. П. Григорьев. Монгольская дипломатика XIII—XV вв. (чингизидские жалованные грамоты). Л., 1978, с. 55—70.

монгольский, его текст, а лишь перевод. В переводчиках при дворе Берке недостатка не было. Известно, например, что его везир (сейчас мы бы сказали — министр иностранных дел) Шараф ад-Дин ал-Казвини разговаривал с египетскими послами без переводчика по-арабски и по-тюркски [17].

В 1272 г. в Египте были получены письма золотоордынского хана Мункэ-Тимура, написанные по-арабски и по-персидски [18]. Естественно, речь шла о «промежуточном» персидском переводе монгольского письма Мункэ-Тимура, с которого был выполнен еще и арабский перевод. Персидский текст, скорее всего, был заверен ханской печатью и выполнял роль оригинала, т. е. повторилась ситуация, которую благодаря Плано Карпини мы уже наблюдали в ставке монгольского великого хана Гуюка в 1246 г.

В 1283 г. золотоордынский хан Тодэ-Мункэ в письме уведомил мамлюкского султана о принятии им ислама. Арабоязычные источники сообщают, что письмо было написано по-монгольски [19] и для прочтения в Египте его потребовалось перевести на арабский язык [20]. Эти сообщения современников подтверждают наше допущение о том, что и все предыдущие послания золотоордынских ханов к мамлюкским султанам вначале писались по-монгольски, а затем уже переводились на персидский и арабский языки. Чем же объяснить такое странное, на первый взгляд, явление, что в 1263 и 1272 гг. золотоордынская канцелярия направляла в Египет переводы ханских писем, а в 1283 г. монгольский текст ханского послания потребовалось переводить в самом Египте?

Мы объясняем этот факт прогрессом во взаимоотношениях между двумя странами. Видимо, к 1283 г. при султанском дворе в Египте был создан специальный штат чиновников, занимавшихся переводом монгольских документов на арабский язык. Для XIV в. тому есть документальное подтверждение. Говоря о порядке переписки с золотоордынским ханом Джанибеком (1342—1357), ал-Умари сообщает о том, что иногда «пишется по-арабски. . . но большею частью пишется к нему по-монгольски», для чего при дворе имеются специальные чиновники [21]. Следовательно, не только для золотоордынской канцелярии отпала необходимость переводить оригиналы ханских грамот вначале на персидский, а затем на арабский языки, но и египетская канцелярия стала отправлять свои бумаги в Золотую Орду на языке, принятом в этой стране в качестве официального.

Переписка между золотоордынскими ханами и русскими великими князьями в XIII—XIV вв. на языке оригинала до нас не

---

[17] В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов. Т. 1, с. 192.
[18] Там же, с. 361.
[19] Там же, с. 68.
[20] Там же, с. 105.
[21] Там же, с. 251.

дошла. От этого времени сохранились шесть жалованных грамот, выданных золотоордынскими ханами и ханшей Тайдулой русскому духовенству. Этот интереснейший источник, важность которого для истории как Золотой Орды, так и Русского государства трудно переоценить, на протяжении длительного времени подвергался эпизодическому изучению со стороны русских и советских ученых [22]. Подытоживая результаты этого изучения и внося в него свою лепту, советский тюрколог А. К. Боровков заявил: «По всем данным, подлинные ярлыки русским митрополитам писались на книжном тюркском языке золотоордынской эпохи уйгурскими или арабскими литерами — последнее вероятнее» [23].

Попытки автора этих строк исследовать отдельные части формуляров названных золотоордынских ярлыков привели к следующим результатам. Анализ текста мотивировочных статей (неудачно названных тогда статьями-адресантами) трех ярлыков золотоордынских ханов Мункэ-Тимура, Бердибека и Тюляка показал, что категорический вывод А. К. Боровкова о языке и системе письменности этих актов является преждевременным. Первая строка богословской преамбулы в мотивировочных статьях всех трех ярлыков с равным основанием могла быть написана в оригинале и по-монгольски, и по-тюркски. Вторая строка этой преамбулы в ярлыке Мункэ-Тимура больше походит на русскую кальку с монгольского, а одинаковые вторые строки в преамбулах ярлыков Бердибека и Тюляка лишь предположительно могут быть отнесены к тюркским. Собственно адресант трех ярлыков состоит из одного личного имени, что характерно для золотоордынских и крымскоханских документов XV—XVI вв., но одновременно и для грамот Чагатаидов XIV в., которые писались уйгурским алфавитом по-монгольски. Указ мотивировочных статей трех ярлыков мог быть написан и по-монгольски, и по-тюркски. Дословный русский перевод не позволяет отдать предпочтение ни тому, ни другому варианту. И наконец, если допустить, что тексты мотивировочных статей в двух последних ярлыках были первоначально написаны по-тюркски, то уж, конечно, это было выполнено не арабскими, а уйгурскими литерами. В противном случае им должны были предшествовать статьи богословия, обязательные для документов ханов-мусульман, создаваемых при помощи арабского алфавита [24].

Анализ текста удостоверительных статей формуляров тех же трех ярлыков склоняет автора этой работы к мысли о том, что

---

[22] А. А. Зимин. Краткое и пространное собрания ханских ярлыков, выданных русским митрополитам. — Археографический ежегодник за 1961 г. М., 1962, с. 28—40.

[23] А. К. Боровков. Опыт филологического анализа тарханных ярлыков, выданных ханами Золотой Орды русским митрополитам. — ИАН СССР, сер. лит-ры и яз. 1966, т. 25, вып. 1, с. 18.

[24] А. П. Григорьев. Эволюция формы адресанта, с. 137—146.

первоначально золотоордынские ярлыки были написаны по-тюркски. Схема построения удостоверительной статьи в ярлыке Мункэ-Тимура совпадала с таковой в грамотах Тимуридов, созданных уйгурским алфавитом по-тюркски. Схемы построения удостоверительных статей в ярлыках Бердибека и Тюляка могли быть приложены к таковым же в грамотах Чингизидов и на тюркском, и на монгольском языках. Однако типично уйгурское обозначение месяца в дате выдачи ярлыка Бердибека, транслитерация слова *пайцза* в форме *байса*, сам факт присутствия в удостоверительной статье этого слова, а не однозначного монгольского термина *герег*е, а также транслитерация слова *бахши* в форме *бакши* убеждают исследователя в том, что удостоверительная статья в ярлыке Бердибека прежде была написана на тюркском языке, но не арабским, а уйгурским алфавитом. По аналогии с ярлыком Бердибека и в ярлыке Тюляка удостоверительная статья реконструировалась в тюркской форме. Об уйгурской, а не арабской системе письма свидетельствовала транслитерация слов *тарих* (*дарык*) и *зу-ль-каада* (*сылгата*) [25].

Последующее проникновение в структуру и первоначальный смысл сохранившихся в русском переводе текстов трех названных золотоордынских ярлыков привело автора этих строк к новым открытиям и выводам. Анализ статей, содержащих обращение в формулярах ярлыков, показал, что подавляющее большинство оборотов и отдельных элементов в этих статьях с равным основанием может быть принято за дословные переводы и с тюркского, и с монгольского языков.

Наряду с этим в каждой статье-обращении были обнаружены слова, которые могли быть кальками только с тюркского языка. В ярлыке Мункэ-Тимура содержится обращение «к баскаком». Выяснено, что *баскак* — тюркское слово, точно соответствующее монгольскому термину *даруга*. В ярлыках Бердибека и Тюляка есть обращение к «волостным самим дорогам». Прежде оно понималось исследователями как искаженное выражение типа «к волостным и селным (т. е. сельским. — *А. Г.*) даругам». Мною доказано, что слово «сам» (в приведенном выше сочетании оно стоит в дательном падеже множественного числа) не могло быть ничем иным, кроме слова *кенд* («город»), принятого средневековым переводчиком за тюркское слово *кендю* («сам») и дословно переведенного на русский язык. Получалось, что тексты ярлыков могли переводиться только с тюркского языка.

Приведенные языковые факты вступали в противоречие с другими фактами — наличием в русском переводе ярлыков слов и словосочетаний, которые могли быть переведены только с монголь-

---

[25] А. П. Григорьев. К реконструкции текстов золотоордынских ярлыков, с. 15—38.

ского. В ярлыке Мункэ-Тимура есть обращение «к данщиком». Слово «данщик» соответствовало монгольскому термину *ясакчи*, который в русских источниках XIII в. употреблялся в форме «ясащик». Обращение «к писцам» не содержало в себе, на первый взгляд, указания на его первоначальную языковую принадлежность. Тюрки и монголы пользовались для обозначения писцов одним термином *битигечи* / *бичигечи*. Однако во всех тюркских золотоордынских ярлыках, сохранившихся на языке оригинала, мы встречаем этот термин в сочетании с определением—*диван битигечилер* («писцы государственной канцелярии»). Следовательно, обращение «к писцам» в ярлыке Мункэ-Тимура — калька с монгольского. В ярлыках Бердибека и Тюляка статья-обращение начинается словосочетанием «Татарьскым улусным», которое реконструируется мною в форме *Монггол улус-ун* («Монгольского улуса»). Такое словосочетание встречалось в легенде на монгольской печати великого хана Гуюка, а тюркский перевод его звучал *Улуг улуснунг* («Великого улуса»). По-монгольски звучит и титул беглербега Мамая в обращении ярлыка Тюляка — *дятин=ду-тун* (тюркск. *тутунг*) [26].

В этом плане представляет интерес и жалованная грамота от 1347 г. ханши Тайдулы. Она содержится в том же сборнике русских переводов золотоордынских ярлыков, выданных русскому духовенству [27]. Обращение в грамоте приводило в недоумение всех исследователей, ибо оно было предельно кратким и непонятным: «к таиде» [28]. На основании тюркского лексического материала обращение никак не переводилось, а потому и все начало грамоты было признано дефектным [29]. Между тем известно, что буддийские монахи и буддийское духовенство в целом в грамотах Чингизидов назывались по-монгольски *toyid* (в грамотах квадратного письма — *doyid*) [30]. Известно, что в обращении монгольских жалованных грамот в качестве заинтересованных лиц выступали и представители духовенства, в частности буддисты [31]. Слово *toyid* в статье-обращении должно было стоять в дательно-местном падеже, т. е. в форме *toyid-da*. Отсюда и русское «к таиде» в грамоте Тайдулы. Резонно было бы заметить, что буддийские монахи в русских монастырях вроде бы лишние. Однако мы уже встречались с положением, когда в тюркской грамоте Шахруха, обращен-

---

[26] А. П. Григорьев. Обращение в золотоордынских ярлыках, с. 155—180.

[27] Ярлыки татарских ханов московским митрополитам (краткое собрание). — Памятники русского права. Вып. 3. Под ред. Л. В. Черепнина. М., 1955, с. 466—467.

[28] Там же, с. 466

[29] Там же, с. 475.

[30] А. П. Григорьев. Монгольская дипломатика, с. 74.

[31] Там же, с. 43.

ной как будто бы к буддийским монахам (tojunlarγa), речь шла, скорее, о мусульманских «монахах» [32]. Видимо, с таким же успехом слово *тойид* (ед. ч. *тойин*) могло применяться и для обозначения русских православных монахов.

Совместить и разрешить приведенные выше языковые противоречия можно с помощью лишь одного допущения: золотоордынские ярлыки вначале были написаны по-монгольски, затем дословно переведены на тюркский (мы сознательно употребляем условное обозначение «тюркский», не связывая его тем самым ни с одним из известных языков или диалектов тюркской языковой семьи), а уже с тюркского — на русский язык. Иными словами, тюркский язык в русско-монгольских отношениях XIII—XIV вв. выполнял роль языка-посредника. Система письма при этом применялась уйгурская. Мамлюкским султанам Египта, которые были тюрками по происхождению, но мусульманами по религии и знали только арабскую письменность, в качестве языка-посредника на первых порах больше подходил персидский.

Остается назвать еще один вид официальных письменных документов золотоордынских ханов XIII—XIV вв. Речь идет о пайцзах — своего рода верительных, проезжих и иммунитетных грамотах, писавшихся на золотых или серебряных пластинках. На территории нашей страны найдены серебряные пайцзы золотоордынских ханов Токту (1290—1312), Узбека (1312—1342), Кельдибека (1360—1361) и Абдаллаха (1360/61—1370/71) [33]. Легенды на всех пайцзах писались по-монгольски буквами уйгурского алфавита.

Наш общий вывод сводится к следующему: официальным языком Золотой Орды XIII—XIV вв. (до 1380 г.) был монгольский, употреблявшийся в уйгурской письменной форме.

---

[32] Там же, с. 46, 94.

[33] А. П. Григорьев. Эволюция формы адресанта, с. 134—136; N. Ts. Münküyev. A New Mongolian p'ai-tzŭ from Simferopol. — «Acta orientalia Academiae scientiarum hungaricae». T. 31. Fasc. 2. Budapest, 1977, с. 185—215.

И. Г. Добродомов

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Большая и чрезвычайно разбросанная литература, посвященная выяснению тюркского вклада в русском и других славянских языках, очень рано потребовала своего библиографического обозрения и систематической оценки. Вероятно, первый обзор литературы о тюркизмах в славянских языках был предпринят А. Е. Крымским [1], а впоследствии обзорами литературы по изучению тюркских лексических проникновений обычно начинались более или менее значительные работы по этой проблематике, но подобные обзоры обычно были далекими от полноты. Неполнотой страдает также и появившийся в 1971 г. самодовлеющий обзор литературы, предпринятый Н. Н. Поппе-младшим [2], где внимание сосредоточено на наиболее крупных этапных исследованиях и словарях. Особенно велики у Н. Н. Поппе-младшего пропуски русской литературы.

Составленная автором этих строк и Г. Я. Романовой «Библиография основной отечественной литературы по изучению ориентализмов в восточнославянских языках» [3] требует в качестве путеводителя по библиографии хотя бы краткой историографической

---

[1] А. Ю. Кримський. Тюрки, їх мови та літературы. I. Тюркські мови. Вип. 2. Київ, 1930, с. 202—209 (перепечатано в кн.: А. Ю. Кримський. Твори в п'яти томах. Т. 4. Сходознавство. Київ, 1974, с. 574—583).

[2] N. Poppe, Jr. Studies of Turkic Loan-Words in Russian. Wiesbaden, 1971, X + 70 с. (Asiatische Forschungen. Monographienreihe zur Geschichte, Kultur und Sprache der Völker Ost- und Zentralasiens. Herausgegeben für das Seminar für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn von W. Heissig unter Mitwirkung von H. Franke und N. Poppe, Bd 34). Дополнения см.: И. Г. Добродомов. К историографии изучения тюркизмов в русском языке. — СТ. 1974, № 5, с. 72—75. Рец. М. Адамовича на книгу Н. Н. Поппе см.: Indogermanische Forschungen, Bd 88, 1975, с. 180—184.

[3] Вышла в качестве приложения к книге: К. Г. Менгес. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979, с. 211—238.

справки, где приведенная в библиографии литература получила бы оценку с точки зрения современной славистики и тюркологии и рассматривалась бы не в плане чистой библиографической инвентаризации, а в общем русле развития русской славистики и востоковедения [4].

В настоящем обзоре представляется целесообразным ограничиться лишь литературой по изучению тюркизмов, вышедшей до 1965 г., поскольку возросший в конце 50-х—начале 60-х годов нашего века интерес к проблеме тюрко-славянских языковых контактов реализовался во второй половине 60-х—начале 70-х годов целой серией работ по тюркизмам, в том числе и выходом в свет «Словаря тюркизмов в русском языке» Е. Н. Шиповой [5], который, будучи заметным явлением в советской филологии, не обобщил, однако, всего опыта тюрко-славянских исследований последнего времени и требует продолжения работы в плане подготовки более объемного словаря с бо́льшим вниманием к истории слова в русском языке.

Первые наиболее значительные опыты изучения слов, заимствованных русским языком из восточных языков, были сделаны еще в XVIII в. В некоторых журналах были опубликованы списки слов восточного происхождения, среди которых встречаются и тюркизмы (*слова турецкие и татарские* по тогдашней терминологии).

Но из-за низкого уровня развития языкознания эти первые опыты объяснения тюркизмов и ориентализмов вообще часто носят весьма наивный для современного нам читателя характер и полны фантастических этимологий.

В 1769 г. в сатирическом журнале Вас. Тузова «Поденьшина» были опубликованы сравнения слов арабских, персидских, турецких и татарских с русскими, где некоторые сопоставления весьма удачны (*сарай*, *ханжа*, *аршин*, *сундук*, *бирюк*, *лошадь*, *кушак*, *киса*, *камыш*, *кафтан*, *алый*). Ряд других сопоставлений отличается произвольностью и основан на случайных созвучиях. Ср., например, производство русск. *щи* от тат. и тур. *ашчи* и далее: «Да уж не от сего ли полно произошло и счастіе, от *щи* и *ясть*: *щіястіе* может быть в старые времена, бедные люди говаривали о достаточных: *так разбогател*, *до такого состояния дошел*, *что каждой день щи есть может*. . . а особливо *помяни Богъ на празд-*

[4] Краткий обзор дореволюционной русской литературы см.: А. Н. Кононов. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1972, с. 251—253. Один из последних обзоров см.: Л. Л. Аюпова. Из истории изучения тюркских лексических заимствований в русском языке.— Вопросы башкирского языкознания. Уфа, 1975, с. 191—207.

[5] Е. Н. Шипова. Словарь тюркизмов в русском языке. А.-А., 1976. См. рецензию Н. А. Баскакова и И. Г. Добродомова — ВЯ. 1978, № 1, с. 137—140.

ник мясные» [6]. Общие рассуждения о причинах заимствования русским языком тюркизмов есть в статье В. П. Светова «Некоторые общие примечания о языке российском», однако без конкретных примеров [7].

Основанное в 1811 г. Общество любителей российской словесности при Московском университете интересовалось также и вопросом о влиянии других языков на русский язык. Так в 1812 г. этим обществом была выдвинута тема для конкурсного сочинения о влиянии других языков на русский, где перед исследователем в числе других ставилась задача исследовать связи русского языка с татарским (Протокол 12-го заседания торжественного. — Труды Общества любителей российской словесности при Имп. Московском университете. Ч. 4. М., 1812, с. 184).

И. Ю. Крачковский в «Очерках по истории русской арабистики» сообщает, что в 1816 г. выпускник Казанского университета Я. О. Ярцов «защитил диссертацию о восточных словах в русском языке» [8]. О судьбе этого сочинения нам ничего не известно. Это был первый опыт анализа тюркизмов в русской лексике. (Впоследствии Я. О. Ярцов почти отошел от науки, перейдя на службу в Азиатский департамент.)

«Опыт собрания и объяснения слов Арабских, Турецких, Персидских и Татарских, употребляемых в Российском языке» казанского профессора И. Яковкина, сообщенный 20 января 1817 г. на заседании Российской Академии Д. И. Хвостовым, можно считать вторым специальным трудом, в котором исследуются тюркизмы русского словаря. Но и этот труд, к сожалению, не сохранился [9].

Хронологически этим трудам предшествовала брошюра известного востоковеда Х. Д. Френа «De origine vocabuli rossici деньги». Scripsit C. M. Fraehn. Rostochiensis, Casani, 1815, где Х. Д. Френ дает две этимологии русск. *деньги* 1) < тат. *тамга*, 2) < тат. *данг*, *денг* < перс. dang. Первая этимология является ошибочной, во второй же, несмотря на наличие некоторых неточностей, содержатся весьма интересные сопоставления.

В 1820 г. редакция журнала «Сын Отечества» (ч. 59, с. 140—141) сообщила о чтении на торжественном годовом собрании Санктпетербургского Императорского минералогического общества «Рассуждения» профессора Л. И. Панснера «О происхождении Российских названий драгоценных камней и металлов». В сообще-

---

[6] В. Тузов. Поденьшина, сатирический журнал. 1769. Изд. А. Афанасьева. М., 1859, с. 127—134.

[7] Академические известия. Ч. 3. СПб., сентябрь 1779, с. 77—78.

[8] И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения. Т. 5. М.—Л., 1958, с. 56.

[9] С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России (XIII в.— 1825 г.). СПб., 1904, с. 1083—1084; Записки о заседаниях имп. Российской академии за 1817 г., № 1, 20 января.

нии говорилось, что почти все русские названия драгоценных камней заимствованы из восточных языков, и приводился список этих слов с кратким указанием на источники заимствования.

На эти «Рассуждения» частично опирался А. Ф. Рихтер в своих «Исследованиях о влиянии монголо-татар на Россию», опубликованных в 1825 г. Первоначальный вариант этих «Исследований» был напечатан в 1822 г. Эта работа была перепечатана в 1846 г. [10], уже после смерти А. Ф. Рихтера (1826 г.). Труд А. Ф. Рихтера носит скорее этнографический характер, хотя вопросы языка занимают в нем много места. А. Ф. Рихтер приписывает тюркское происхождение следующим словам: *кабак*, *калач*, *сакма*, *казак*, *майдан*, *ендова*, *ясырка*, *козак*, *тараханные* (грамоты), *танга-деньга*, *пула-полушка*, *алтын*, *атаман*, *аманат*, *артель*, *алый*, *армяк*, *базар*, *багор*, *бирюч*, *баранта*, *башня*, *булат*, *бунчуг*, *балахон*, *барыш*, *башка*, *башмак*, *бобыль*, *буза*, *бузун*, *бурда*, *ватага*, *гетман*, *епанча*, *есаул*, *ерлык*, *изюм*, *караул*, *кинжал*, *кушак*, *колпак*, *карий*, *кибитка*, *кошевой*, *коши*, *кремень*, *кутасы*, *кафтан*, *караван*, *каланча*, *кокошник*, *лошадь*, *мечеть*, *маяк*, *орда*, *оркан*, *паек*, *сапоги*, *сарай*, *сайдак*, *табун*, *толмач*, *улус*, *улан*, *ура*, *ханжа*, *халат*, *чемодан*, *шатер*, *шашка*, *шишак*, *шляпа*, *юрта*, *ясак*, *ям*. К этим словам автор присоединил и список названий «драгоценных и других камней, кои заимствованы из восточных языков», опираясь на сообщение «Сына Отечества» о докладе Л. И. Панснера.

Два различных исследования казанского профессора Ф. И. Эрдмана под одинаковым названием «Изъяснение некоторых слов, перешедших из восточных языков в российский» [11] содержат ряд весьма важных теоретических положений, которых необходимо придерживаться при изучении восточных заимствований. В частности, Ф. И. Эрдман большое внимание призывал уделять историческим обстоятельствам заимствования. Уже в первом своем «Изъяснении» Ф. И. Эрдман пишет: «Я со своей стороны думаю, что при таковом производстве слов должно, не столько смотреть на сходство отдельных слогов и звуков сравниваемых слов,

---

[10] А. Ф. Рихтер. Нечто о влиянии монголов и татар на Россию. — Труды Вольного Общества любителей российской словесности. Ч. 17. СПб., 1822, с. 249—270; он же. Исследование о влиянии монголо-татар на Россию. —«Отечественные записки». Ч. 22. № 62. 1825, июнь, с. 333—371; он же. О влиянии монгольского владычества на Россию. — «Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». Т. 61, № 243. 1846, с. 205—225.

[11] Ф. И. Эрдман. Изъяснение некоторых слов, перешедших из восточных языков в российский. — «Казанский вестник». Ч. 24. Кн. 9. Казань, 1828, сентябрь, с. 33—53; он же. Изъяснение некоторых слов, перешедших из восточных языков в российский. — Труд и летописи Общества истории и древностей российских. Ч. 5. Кн. 1. М., 1830, с. 215—245 (есть отдельные оттиски).

сколько следовать за началом их и уметь толковать ту искаженность, которая происходит от соединения сродных между собой согласных букв (звуков. — *И. Д.*) близости значений» (с. 34). Эти первоначальные наброски плана исследования, высказанные Ф. И. Эрдманом 8 июля 1828 г. на торжественном заседании Казанского общества любителей отечественной словесности, были развиты им во втором «Изъяснении», читанном им в 1830 г. в Обществе истории и древностей российских в Москве, где прослежены не только методы исследования ориентализмов, но и указано значение таких разысканий для истории: «При изъяснении слов, перешедших в какой-либо другой язык, должно прежде всего исследовать исторически и филологически корень сравниваемого с другим слова, взвешивать различные его значения, одно от другого проистекающие, смотреть на разные обстоятельства, даровавшие ему бытие и перенесшие на край отечественный, и наконец посоветоваться с памятью, не находится ли оно в том или другом языке, к которому оно кажется должно принадлежать, судя по внешней форме. Ежели глазам не тотчас представится поразительное сходство в отношении формы и значения, как то имеет в словах: х а л а т, б а з а р, к а ф т а н и п., так что или с самого начала уже оно перешло из первобытного языка в другой обезображенным, или долгота времени исказила оное; то в особенности надобно смотреть не столько на гласные, сколько на согласные буквы (звуки. — *И. Д.*), не выпуская из виду и самое сходство сих последних. Само собой разумеется, что свойственное каждому языку окончание совсем не берется здесь в расчет. По сделанному таким образом сличению, без сомнения все зависит от значения обоих сравниваемых слов. Здесь не надобно слишком рабски придерживаться этимологии; или подкладывать, так сказать, почитаемому за корень слову значение, хотя и свойственное корню, но не принадлежащее другому какому-либо происшедшему от оного изменению: должно доказать значение обоих слов под различными их видами наведением примеров, и, ежели возможно, присовокуплять к ним исторические события, наиболее служащие к пояснению. При всем том не должно позволять себе смешивать по произволу, напр., в восточных словах согласные буквы (т. е. звуки. — *И. Д.*), и как бы выдавливать, выковывать из гласных и согласных похожее слово; погрешности многих критиков, слишком упорно настаивавших на принятом ими мнении, могут служить тому доказательством. Впрочем, может случиться, что два слова в двух различных языках, смотря по согласным и гласным буквам (звукам. — *И. Д.*), те же самые; но тем еще не доказано, что они одинаковы и по значению; тем еще не разрешается прибегать к истолковательным догадкам для приведения их в совершенное согласие. Таковые насильственные средства доведут только до сумасбродства, в какое, напр., впали те, кои

тщетно старались производить *татар* из *тартара*. Ежели таким образом критик очистил оба слова в критико-филологическом отношении и представил их в гармонической связи с историею, нравами и другими или политическими, или даже духовными обстоятельствами, то результат уже не будет подлежать более никакому сомнению.

Сколь ни маловажными, может быть, покажутся тому или другому сравнения такого рода, столько однакож они необходимы; ибо они-то наиболее способствуют к истреблению долговременных ошибок, приманивающих к ложным мнениям и догадкам, и нередко даже представляют историю, географию и древности, кои на них менее или более основаны, в виде нового творения, пред глазами прилежного испытателя человеческих событий» (с. 215—217). Свои исследования слов восточного происхождения Ф. И. Эрдман завершил небольшой заметкой «Деньги, кабак, набат» [12]. «В каждом языке существуют сверх того слова, заимствованные с самым предметом из какого-либо другого и не заменяемые никакими отечественными, которые посему остаются и должны оставаться навсегда благоприобретенною собственностью его. Чем более расстояние места, из которого они перешли, чем более пространство времени, в которое они получили право гражданства в новом своем отечестве, тем более исследователь должен заботиться о твердом восстановлении истинного смысла их, предупреждая тем частию затруднению, которое опоздалость и пренебрежение всегда влекут за собою, частию и уничтожая заблаговременно ложное мнение тех, которые по односторонности своей более затмевали нежели объясняли предложенную им задачу» (с. 3—4). В трех статьях Ф. И. Эрдмана разобраны и прокомментированы следующие слова: *охобень*, *кафтан*, *халат*, *кинжал*, *купол*, *альков*, *бомба* (хлопчатая бумага), *пемба*, *анбар*, *Казань*, *копейка*, *деньги*, *алтын*, *пуло*, *шараварры*, *сайгат*, *курта*, *куртка*, *алмаз*, *колпак*, *казна*, *казначей*, *казначейство*, *алаф*, *базар*, *кушак*.

Исследование Ф. И. Эрдмана «Следы азиатизма в „Слове о полку Игореве“» [13] малоинтересно, хотя представляет первую печатную попытку выделить восточные элементы этого памятника.

Чрезвычайно важный методологический характер носят замечания И. Н. Березина, который писал в статье «Несколько замечаний об определении иностранных слов в русском языке» [14]: «Само собой разумеется, что прежде всего необходимо полное

---

[12] Ф. И. Эрдман. Деньги, кабак, набат. Новгород, 1855 (Отпечатано из № 16-го «Новгородских губернских ведомостей» сего года).

[13] Ф. И. Эрдман. Следы азиатизма в Слове о полку Игореве. — ЖМНП. Ч. 36. Отд. 2. 1842, октябрь, с. 19—46.

[14] «Москвитянин». 1852, август, № 15 (кн. 1), отд. 3, с. 106—109; несколько ранее им была опубликована заметка о слове *очаг* [см.: «Москвитянин». Т. I. 1852, январь, № 2 (кн. 2), отд. 8, смесь, с. 53—54].

знание исследуемых языков, но это знание не должно ограничиваться одним практическим пониманием языка, взятого в известную эпоху: с критическим взглядом на законы движения звуков в языке должно быть соединено историческое знакомство с постепенным развитием этих законов, иначе все дело кончится созвучием, а нет ничего опаснее этого оружия. Например, чрезвычайно легко вывести русское „тина“ от арабского подобнозначащего „тинъ“, но укажите мне исторически путь, по которому арабское слово, не употребляемое ни в тюркском, ни в персидском языках, — разумею здесь не книжный язык, — могло проникнуть в русский говор» (с. 107—108). Далее, говорит Березин, необходимо учитывать звуковые и семантические изменения при заимствовании, а также обращать внимание на географию слов (русские слова и разные тюркские языки): «например, при определении сибирских слов должно с большою осторожностью обращаться к османскому наречию» (с. 109).

Но недостаточная изученность большинства тюркских языков сделала невозможным осуществление всех этих требований на деле. Не случайно эти же самые вопросы поднимались почти сто лет спустя Т. Ковальским и Н. К. Дмитриевым. В практических исследованиях эти требования обычно во внимание не принимались; многие работы XIX и XX вв. были, по сути дела, попытками собрать доступный материал без глубокого его анализа. Зачастую этимология и история отдельных тюркизмов русского языка рассматривались попутно в работах исторического и филологического характера.

Одним из первых опытов широкого исследования тюркских слов в русском языке и его говорах являются разыскания, опубликованные под редакцией И. И. Срезневского в «Материалах для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики» в 1852—1854 гг. в «Прибавлениях» к «Известиям по Отделению русского языка и словесности Имп. Академии наук». Там были напечатаны словники, составленные на основании «Опыта областного великорусского словаря» (СПб., 1852). В этих комментированных словниках содержатся указания на возможный тюркский источник русских диалектных слов, часто с учетом литературного языка. Наиболее обширные комментарии к этим словам даны были А. К. Казембеком, но, к сожалению, его список остался неоконченным (остановился на слове *гужир*) [15]. Даже сейчас не лишены

---

[15] А. Казембек. Объяснение русских слов, сходных со словами восточных языков. — Прибавления к Известиям по Отделению русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 1. 1852, стб. 22—37, 71—80; Т. 2. 1853, стб. 385—390. (Перепечатано в издании: Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики. [Т. 1]. СПб., 1854, стб. 22—37, 71—80, 385—390.)

интереса замечания младшего современника А. К. Казембека профессора И. Н. Березина, энциклопедически образованного видного тюрколога прошлого столетия [16]. Более скромны по объему замечания других российских востоковедов, привлеченных для этимологического комментирования «Опыта областного великорусского словаря». Их работы были выполнены в то же самое время. Интересные ссылки на тюркские языки содержат и заметки других известных наших востоковедов: А. А. Бобровникова, В. В. Григорьева, И. М. Ковалевского, П. Я. Петрова, А. М. Шёгрена [17].

Богатый материал находим в вышедшей в Петербурге в 1858 г. на польском языке книге профессора Петербургского университета тюрколога А. О. Мухлинского о тюркизмах в польском языке и полонизмах в турецком [18]. В этом труде, который представляет собой два словаря, в алфавитном порядке перечислены: 1) ориентализмы (в том числе и тюркизмы) польского языка и 2) большей частью фантастические «полонизмы» турецкого языка (приложение). При этом наряду с заимствованными словами приводятся слова, являющиеся исконно родственными (санскрит или персидский язык). Эти слова почти не разграничиваются. Особенно много ошибок, обусловленных общим уровнем тогдашнего языкознания, содержится в приложении, где автор многие турецкие слова считает полонизмами. Книга А. О. Мухлинского явилась по существу первым этимологическим словарем лексических элементов восточного происхождения, включающим, по подсчетам А. Зайонч-

---

[16] И. Н. Б е р е з и н. Замечания о восточных словах в областном великорусском языке. — Прибавления к Известиям по Отделению русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 1. 1852, стб. 186—192; Т. 2. 1853, стб. 323—332 (Перепечатано в издании: Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики. [Т. 1]. СПб., 1854, стб. 186—192, 323—332).

[17] А. А. Б о б р о в н и к о в. Областные великорусские слова, заимствованные от монголов и калмыков. — Прибавления к Известиям по Отделению русского языка и словесности. Т. 2. 1853, стб. 193—197; В. В. Г р и г о р ь е в. Областные великорусские слова восточного происхождения. Замечания к «Опыту областного великорусского словаря». — Там же. Т. 1. 1852, стб. 14—21, 68—70; И. М. К о в а л е в с к и й. Список слов, находящихся в «Опыте областного великорусского словаря», заимствованных из монгольского. — Там же. Т. 2. 1853, стб. 377—380; П. Я. П е т р о в. Список некоторых великорусских слов, сродных или сходных с восточными. — Там же. Т. 1. 1852, стб. 81—92; А. М. Ш ё г р е н. Материалы для сравнения областных великорусских слов со словами северными и восточными. — Там же. Т. 1. 1852, стб. 145—162. Все эти статьи перепечатаны в «Материалах для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики». [Т. 1]. СПб., 1854, с сохранением первоначальной пагинации «Прибавлений».

[18] A. M u c h l i ń s k i. Źródłosłownik wyrazów które przeszły wsprost czy pośrednio do naszej mowy z języków wschodnich, tudzież mających zobopólną analogję co do brzmienia lub znaczenia, z dołączeniem zbiorku wyrazów przeniesionych z Polski do języka tureckiego. Petersburg, 1858.

7 Заказ № 1873

ковского, около 500 ориентализмов (из 1000 гнезд). Однако в дальнейшем труды этих ученых в области изучения тюркизмов в русском языке и многие весьма интересные их сопоставления, сделанные этими учеными, были забыты, особенно по части авторства идей, хотя их соображения и легли в основу дальнейших разысканий. Эти идеи впоследствии уже цитировались обычно из вторых рук — чаще всего через капитальную работу известного слависта Фр. Миклошича, которая обобщила весь предшествующий материал.

Главной базой для последующего изучения тюркских заимствований в русском и других славянских языках явилась капитальная четырехтомная работа Фр. Миклошича о тюркизмах в восточноевропейских языках (1884—1890). Фр. Миклошич обобщил и собрал сам большой фактический материал, относящийся к тюркизмам в греческом, албанском, румынском, болгарском, сербском, украинском, русском и польском языках. Последующие исследователи уже, конечно, не могли обойтись без этой обширнейшей сводной работы, недостатки которой были обусловлены только уровнем развития тюркологии того времени. Поэтому впоследствии возник целый ряд поправок к работе Фр. Миклошича, среди которых выделяются рецензия Ф. Е. Корша и дополнения Ф. Крелиц-Грейфенхорста [19]. Но эти работы имеют много недостатков из-за отсутствия у авторов сведений по лексике многих тюркских языков и слабой изученности памятников средневековой тюркской письменности. Памятники древнетюркской руники тогда еще не были введены в оборот.

В плане постановки задач большое значение имел доклад о методологии исследования тюркизмов в славянских языках разностороннего польского востоковеда Тадеуша Ковальского, представленный I съезду славянских филологов в Праге в 1929 г. [20],

---

[19] F. Miklosich. Die türkischen Elemente in der südost- und osteuropäischen Sprachen (Griechisch, Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, Serbisch, Kleinrussisch, Grossrussisch, Polnisch), I. — Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe, Bd 34. Wien, 1884; II. — Bd 35; Wien, 1885; Nachtrag I. — Bd 37. Wien, 1889; Nachtrag II. — Bd 38. Wien, 1890. Рецензию Ф. Е. Корша (неоконченную) см.: Archiv für slavische Philologie. Bd 8. 1885, H. 4, c. 637—651; Bd 9. 1886, H. 3, c. 487—520; H. 4, c. 653—682. Выборка украинских слов из труда Миклошича: О. Макарушка. Словар українських виразїв, перенятих з мов туркских. — Записки наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Т. 5 (1895), с. 1—14 (разд. паг.); рецензии: Н. Ф. Сумцова в «Киевской старине» (Т. XI, 1885, апрель, с. 755—760) и J. Budenz'а в будапештском Nyelvtudományi Közlemények (kötet 19. 1885). Fr. von Kraelitz-Greifenhorst. Corollarien zu F. Miklosichs «Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen». Wien, 1884—1890. — «Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse». Bd 166, № 4, 1911.

[20] Тезисы доклада опубликованы в материалах съезда: Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929, sv. II, Praha, 1932, c. 554—556

где сформулированы основные требования методики изучения тюркизмов в славянских языках, причем они в значительной степени близки к требованиям, ранее высказанным Ф. И. Эрдманом и И. Н. Березиным.

Большое значение имеет «Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs» К. Локоча (K. Lokotsch), который вышел в 1927 г. в Гейдельберге и подвел итоги того, что было проделано в этой области после Фр. Миклошича. Основным недостатком довольно емкой работы К. Локоча являются ее чрезвычайная лаконичность, малое внимание к вопросам внутренней истории слов в языках. Тюркологи считали тюркский отдел этого словаря не вполне удачным.

При исследовании тюркизмов в славянских языках почти не делалось попыток разграничить разные хронологические пласты среди заимствованной лексики на основе изучения фонетических и грамматических особенностей заимствований. Поэтому трудно говорить о языковых связях славян с тюрками в древнейшую эпоху.

Отсутствие проанализированного с точки зрения хронологии материала заставляет всех исследователей, занимающихся сравнительной грамматикой славянских языков, ограничиваться самыми общими, подчас противоречивыми замечаниями. Ср., например, высказывания С. Б. Бернштейна в его «Очерке сравнительной грамматики славянских языков» (М., 1961, с. 101): «Во второй половине I тысячелетия н. э. в праславянский язык проникло некоторое количество тюркских слов. Однако их было немного. Сильное тюркское влияние наступает позже. Значительны его следы в болгарском, сербохорватском языках, меньше в восточнославянских языках.

Интересно, что славяне не сохранили следов влияния аварского языка, который принадлежал к тюркской группе, несмотря на то что в течение длительного времени (VI—VIII вв). кочевники-авары господствовали на большой территории, занятой славянами. Кочевники вообще не могли оказать большого влияния на язык подвластного им земледельческого населения». Интересно отметить, что тот же С. Б. Бернштейн в той же самой книге несколько раньше пишет: «Не прошел бесследно период аварского господства и для славянских языков. В сербохорватском, словенском, словацком, чешском, частично украинском мы находим определенный круг общей лексики, который связан с указанными историческими событиями. На этой территории возникли общие новообразования, новые слова» (с. 78). Здесь С. Б. Бернштейн противоречит самому себе, исходя из априористического предполо-

---

(W sprawie metodologii badań zapożyczeń tureckich w językach słowiańskich), французское резюме на с. 999—1001 (La méthodologie de recherches sur les mots empruntés du turc dans les langues slaves).

жения: раз славяне общались с аварами, то это отразилось в славянском словаре. Однако конкретных примеров аварских слов у славян автор привести не смог.

Конечно, такая постановка вопроса снимает всякую возможность заниматься исследованием древнейших тюркизмов в славянских языках, ибо на основании априористических соображений объявляется невозможным влияние менее культурных кочевников-скотоводов на более культурных оседлых земледельцев. Все тюркизмы признаются позднейшими. А поздние заимствования обычно являются прозрачными и большого интереса для исследователей не представляют. В результате оказывается, что слависты вопросами тюркских заимствований в славянских языках не занимаются. А весьма немногочисленные работы тюркологов по этому вопросу посвящаются восстановлению элементов исчезнувших тюркских языков. В качестве примера такой тюркологической работы можно привести книгу О. Прицака о языке дунайских булгар [21], где на основании материала булгарских надписей и анализа языковых заимствований сделана весьма интересная попытка определить, на каком языке говорили дунайские булгары.

Одной из больших работ, посвященных анализу истории тюркских элементов в древнерусском языке, является объемная статья И. И. Назарова «Тюрко-татарские элементы в языке древних памятников русской письменности» [22]. В статье содержится весьма значительный, хотя и мало обработанный материал, извлеченный главным образом из деловых памятников относительно позднего времени (XIV—XVII вв.). Из тюркских языков приводятся в основном данные татарского языка. Поздний материал памятников передает тюркские слова в почти неизменном виде. Автор обычно ограничивается простым сопоставлением засвидетельствованных в памятниках слов со словами татарского языка, не привлекая другие тюркские языки и не проводя более глубокого анализа. Статья ценна главным образом собранным материалом, но автор не отмечает ареал распространения заимствованных слов, поэтому можно ожидать, что некоторые из рассмотренных им слов окажутся лишь окказиональными словами или словами, имевшими лишь узколокальное распространение.

В том же 1958 г. в III выпуске «Лексикографического сборника» (с. 3—47) опубликовано значительное исследование Н. К. Дмитриева «О тюркских элементах русского словаря» [23]. Это материалы доклада, прочитанного и обсужденного на четырех научных

---

[21] O. Pritsak. Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955.

[22] См.: «Ученые записки Казанского педагогического института». Вып. 15. Казань, 1958, с. 233—273.

[23] Перепечатано в избранных трудах Н. К. Дмитриева, которые вышли в одном томе под общим названием «Строй тюркских языков» (М., 1962),

заседаниях Комиссии по изучению современного русского языка в Институте языка и письменности АН СССР 20 и 27 февраля, 6 и 15 марта 1942 г. Источником для исследования послужила тюркская по происхождению лексика современного русского языка, зафиксированная в четырехтомном «Толковом словаре русского языка» под редакцией проф. Д. Н. Ушакова, где консультантом по этимологии восточных слов был В. А. Гордлевский, о чем сказано во вступительной статье «От редакции» в 1-м томе «Словаря». Само исследование Н. К. Дмитриева предполагалось как «нечто вроде тюркологической рецензии» на указанный словарь. Большой интерес представляет вступительная часть статьи, где Н. К. Дмитриев рассматривает теоретические предпосылки исследования тюркской лексики в русском языке (в основном вслед за Т. Ковальским).

Аналогичным образом заметки Э. В. Севортяна «О тюркских элементах в „Русском этимологическом словаре“ М. Фасмера», напечатанные в V выпуске «Лексикографического сборника» (М., 1962, с. 11—29), дают тюркологическую рецензию на первое (немецкое) издание «Этимологического словаря русского языка» М. Р. Фасмера, охватывая тюркский материал лишь выборочно.

Н. К. Дмитриев считает, что прежде всего необходимо подвергнуть анализу тюркизмы, имеющиеся в памятниках древней письменности: «Для полного успеха этимологизации тюркизмов, усвоенных славянскими языками, необходимо иметь документацию каждого слова и, кроме того, знать эпоху заимствования и те конкретные социально-экономические отношения, которые связывали оба народа в ту эпоху. Пока таких благоприятных возможностей в нашем распоряжении нет. Остается единственный твердый путь: подвергающиеся нашему анализу тюркизмы должны быть изучены только в контексте. Это условие можно соблюсти только тогда, когда мы будем исследовать язык какого-нибудь цельного исторического памятника определенной эпохи. Такова тема о тюркских лексических заимствованиях в языке „Слова о полку Игореве“, в языке „Домостроя“, в записках Котошихина и т. д. Нужны монографии по анализу тюркизмов в основных памятниках истории русской литературы [24], а по этим монографиям

с. 503—569. Здесь же перепечатана и более ранняя статья «Турецкие элементы в русских арго» (с. 483—502). Также посмертно был опубликован доклад, прочитанный в декабре 1942 г. в ВТО, «Ударение в русских словах тюркского происхождения» (Сборник статей по языкознанию памяти. . . М. В. Сергиевского. М., 1961, с. 96—104). Ср. также заметку: Н. К. Дмитриев. Турецкие лексические элементы в номенклатуре соколов царя Алексея Михайловича. — Доклады Академии наук СССР. Серия В. Л., 1926, янв. — февр., с. 13—16.

[24] Такая задача выполняется в кандидатской диссертации: И. Г. Добродомов. История лексики тюркского происхождения в древнерусском языке (на материале «Повести временных лет»). М., 1966.

уже может быть построена общая сводка, отражающая историческую перспективу всего процесса» (с. 507—508).

Автор указывает, что при исследовании заимствований необходимо учитывать не только фонетику, но также семантику, морфологию и синтаксис заимствований (с. 508), по мере возможности следует также привлекать культурно-исторические данные. Последние в сочетании с языковыми фактами позволяют более точно установить время и место заимствования.

Вторая — основная — часть статьи Н. К. Дмитриева посвящена анализу тюркизмов русского словаря. Эта часть состоит из четырех автономных словариков: 1) достоверные тюркизмы; 2) тюркизмы, которые еще требуют дальнейших уточнений; 3) проблематичные тюркизмы («Слова, причисляемые к тюркизмам в порядке гипотезы»); 4) дополнительный список тюркизмов, которые не были разнесены по предыдущим рубрикам, что свидетельствует о незавершенном характере исследования.

В различных зарубежных изданиях появились довольно многочисленные статьи зарубежных тюркологов: Г. Дёрфера, К. Менгеса, Ю. Немета и М. Рясянена — о тюркских (или — шире — урало-алтайских) словах в славянских языках [25]. Что касается тюркских элементов в лексике древних памятников русской письменности, то всестороннему анализу они подверглись лишь в двух памятниках древнерусской литературы — в «Слове о полку Игореве» и менее интенсивно в «Повести временных лет». Выявление отдельных тюркизмов в составе «Слова о полку Игореве» и анализ этих тюркизмов начинаются уже в первые десятилетия XIX в. в трудах исследователей этого памятника. Но эти исследования большей частью проводились не специалистами по тюркологии, поэтому выводы здесь не всегда точны и достоверны. Работы же, написанные тюркологами, обычно не учитывают факты истории русского языка (исключение представляют работы Ф. Е. Корша). Первой попыткой исследования тюркской лексики в «Слове о полку Игореве» была уже упомянутая работа Ф. И. Эрдмана «Следы азиатизма в „Слове о полку Игореве“», если не считать замечаний А. Я. Италинского о восточных словах в «Слове о полку Игореве», которые А. И. Тургенев пересылал для А. С. Пушкина. Но лингвистического материала в этой работе Ф. И. Эрдмана мало. Впервые тюркский материал этого замечательного памятника древнерусской литературы был использован для доказательства «древности песни» И. Н. Березиным в рецензии на книгу Николая Гербеля «Игорь, князь Северский» [26].

---

[25] См. библиографию в книге: K. H. Menges. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. Wiesbaden, 1968.

[26] И. Н. Березин. [Рец. на:] Игорь, князь Северский. Поэма. Перевод Николая Гербеля. — «Москвитянин». 1854, ноябрь, кн. 2 (№ 22), отд. IV, с. 68—71.

Однако все эти тюркологические работы не содержали глубокого исторического анализа и веских аргументов, они имели своей целью лишь накопление фактического материала. Поэтому в последующей полемике П. М. Мелиоранского с Ф. Е. Коршем о восточных словах в «Слове о полку Игореве» на страницах «Известий Отделения русского языка и словесности Академии наук» (1902—1906) материалы из более ранних исследований почти не учитывались. Появившиеся в ходе этой полемики две статьи П. М. Мелиоранского и две статьи Ф. Е. Корша [27] касаются больше вопросов исторической тюркологии. Тюркский материал «Слова о полку Игореве» рассматривался в плане характеристики кыпчакских и вообще тюркских языков домонгольского периода. Анализу лишь отдельных тюркизмов посвящены и более поздние статьи С. Е. Малова и В. А. Гордлевского [28].

Затрагивает вопрос о тюркизмах в лексике «Слова о полку Игореве» и А. Зайончковский в своей монографии о половецко-славянских языковых связях [29]. В этом труде частично анализируется также материал русских летописей: привлечены издания Ипатьевской и Лаврентьевской летописей. Обобщением всех предыдущих исследований о тюркских элементах в лексике «Слова о полку Игореве» явилась книга тюрколога К. Менгеса [30]. Работа К. Менгеса построена на обширном материале самых различных восточных языков, но в центре ее внимания стоят языки тюркские.

Тюркизмы других древнерусских памятников детальному рассмотрению не подвергались. Работа П. М. Мелиоранского «За-

---

[27] П. М. Мелиоранский. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве». — ИОРЯС. Т. 7. Кн. 2. СПб., 1902, с. 273—302; Ф. Е. Корш. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве». (Заметки к исследованию П. М. Мелиоранского: ИОРЯС, т. VII, кн. 2, с. 273—302). — Там же. Т. 8. Кн. 4. СПб., 1903, с. 1—58; П. М. Мелиоранский. Вторая статья о турецких элементах в языке «Слова о полку Игореве» (Ответ Ф. Е. Коршу). — Там же. Т. 10. Кн. 2. СПб., 1905, с. 66—92; Ф. Е. Корш. По поводу второй статьи проф. Мелиоранского «О турецких элементах в языке „Слова о полку Игореве“». — Там же. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1906, с. 259—315.

[28] С. Е. Малов. Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве». — ИАН. ОЛЯ. Т. 5. Вып. 2. М.—Л., 1946, с. 129—139; он же. Тюркизмы в старорусском языке. — ИАН. ОЛЯ. Т. 10. Вып. 1. М.—Л., 1951, с. 201—203; В. А. Гордлевский. Что такое «босый волк»? (К толкованию «Слова о полку Игореве»). — Там же. Т. 6. Вып. 4. М.—Л., 1947, с. 317—337 (последняя статья перепечатана во втором томе «Избранных сочинений» В. А. Гордлевского). В этих работах мало учитывается история русского языка. В 70-е годы ряд статей по тюркизмам «Слова о полку Игореве» опубликовал Н. А. Баскаков — ученик В. А. Гордлевского. По замыслу автора эти статьи должны охватить всю тюркскую лексику «Слова».

[29] A. Zajączkowski. Związki językowe połowiecko-słowiańskie. Wrocław, 1949.

[30] K. H. Menges. The Oriental Elements in the Vocabulary of the Oldest Russian Epos, the Igor' Tale (Slovo o pъlku Igorevě). N. Y., 1951 (Supplement to «Word», № 1). Ср. дополненное издание на русском языке: К. Г. Менгес. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.

имствованные восточные слова в русской письменности домонгольского периода»[31] носила предварительный характер: в ней были подвергнуты этимологическому анализу тюркизмы, встретившиеся в летописях и некоторых других памятниках письменности, а также изложен план будущего исследования. В упомянутой выше работе А. Зайончковского сделаны многие дополнительные наблюдения над тюркскими собственными именами и над заимствованной лексикой. Но анализа тюркизмов в лексике отдельных памятников сделано не было. Анализ восточных слов в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина в работах разных авторов направлен в сторону комментирования текста[32]. Поэтому в силе остается сказанное Н. К. Дмитриевым о необходимости исследования тюркизмов в древнерусских памятниках, особенно в памятниках древнейших. В первую очередь необходимо изучение тюркизмов со славистической точки зрения. Для этого необходимо рассмотреть историю тюркских заимствований в славянских языках, изменение их с фонетической, формальной и семантической сторон. Исследование истории тюркских слов в славянских языках наталкивается на целый ряд трудностей.

Во-первых, письменные памятники дошли до нас от сравнительно позднего времени. При этом слово встречается очень редко и с большими промежутками во времени. Это затрудняет возможность проследить историю слова в древнем и новом русском языках.

Во-вторых, языки-источники обычно не имеют письменных памятников. Исключение представляет половецкий язык: половецкий словарь и тексты на половецком языке дошли до нас в записи миссионеров от конца XIII — начала XIV в. Есть и более

---

[31] ИОРЯС. Т. 10. Кн. 4. СПб., 1905, с. 109—134; ср.: П. М. Мелиоранский. Слова «чатъхул» и «сынъ» в сказаниях о 42 аморитских мучениках. — Там же. Т. 7. Кн. 4. СПб., 1902, с. 430—432. Ср. также отражение его доклада «О турецких элементах в памятниках русской письменности домонгольского периода» в «Записках Восточного отделения Русского археологического общества» [Т. 17 (1907). Вып. 1, с. VII—XII] с замечаниями выступавших при обсуждении доклада.

[32] Ю. Н. Завадовский. К вопросу о восточных словах в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина (1466—1472 гг.). — Труды Института востоковедения АН УзССР. Вып. 3. Таш., 1954, с. 139—145; Л. Штернбах. К толкованию терминов в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина. — НАА. 1964, № 6, с. 75—77; Н. А. Титаренко. Восточная лексика в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина. — «Известия Воронежского педагогического института». Т. 126. (Вопросы грамматики и лексики русского языка), 1972, с. 152—170; A. Zajączkowski. Material językowy persko-turecki z «Wędrowki za trzy morza» Nikitina (XV w.) — RO. T. 17 (1951—1952). Kraków, 1953, c. 47—67; P. Winter-Wirz. Die Fremdwörter in Afanasij Nikitins «Reise über drei Meere» 1466—1472. — «Zeitschrift für slavische Philologie». Bd 30. H. 1. Heidelberg, 1962, c. 86—113. Ср. также: И. Г. Добродомов. Восточные слова в Азбуковнике конца XVI в. — Питання східнослов'янської лексикографії XI—XVII ст. Матеріали симпозіуму. Київ, 1979, с. 79—84.

поздние памятники (тюрко-арабские словари и документы половецкоязычных армян Львова и Каменца-Подольского). Но и эти памятники половецкого языка на два-три столетия отдалены от времени первых контактов древних русов с половцами.

В силу этих причин приходится прибегать к реконструированию истории слов, которые были заимствованы. Восстанавливается облик русского слова в предшествующий период истории языка. Параллельно восстанавливаются тюркские слова во все более и более архаичной форме. Восстановление этих предполагаемых форм идет до тех пор, пока славянская и тюркская формы не совпадут. Это совпадение означает, что перед нами форма, относящаяся ко времени заимствования слова.

Но для построения древних форм тюркских слов имеется серьезное препятствие: слабая разработанность истории конкретных тюркских языков.

В силу последнего обстоятельства приходится привлекать данные не только почти всех тюркских, но и данные других алтайских языков (монгольских, тунгусо-маньчжурских). Такое чрезмерное расширение исследуемого материала важно потому, что заимствованное из древнейших тюркских языков слово могло исчезнуть из современных тюркских языков, но сохраниться в монгольских или тунгусо-маньчжурских языках. Следовательно, исследование древнейших тюркизмов русского (и вообще славянского) словаря перерастает в исследование алтайско-славянских языковых связей.

При изучении особое внимание следует уделять изменению звуковой оболочки слова в момент заимствования— звуковым субституциям, которые, по-видимому, подчиняются определенным закономерностям и не носят случайного характера. Звуковые субституции являются результатом приспособления заимствованного слова к новой фонологической системе, в которой дифференциальные признаки фонем сочетаются несколько иначе.

Наиболее сложно происходит освоение конечной части слова, где перекрещивается действие фонетических и морфологических факторов. К слову могут быть добавлены новые звуки — суффиксы или окончания, могут исчезнуть отдельные звуки, которые случайно совпадут с известными окончаниями.

Заимствованные слова легко узнаются по своему строению, которое зачастую противоречит фонетическим и морфологическим законам того языка, в который они попали. Отсутствие результатов действия фонетических изменений в структуре слова является самым ярким признаком заимствованного слова, хотя это слово и подвергается определенным звуковым изменениям, которые вызываются действием живых фонетических законов и субституционных закономерностей. В результате воздействия языковой системы заимствованное слово получает ряд особенностей, свой-

ственных данному языку в настоящее время. Эти особенности объединяют заимствования с другими словами языка. Но по истории своих составных частей, по фонемным комбинациям слово остается чуждым для принявшего его языка. Ср., например, наличие звука *ф* как признак заимствования для славянских языков. Признаком заимствованного слова для русского языка может быть слог *ке* (*кепка* и т. п.).

Заимствованные слова, особенно сравнительно новые, часто не подчиняются и морфологической системе языка. Ср., например, несклоняемость целого ряда заимствованных имен существительных в русском языке или наличие особых иноязычных аффиксов.

Есть также и некоторые семантические признаки заимствованных слов. Так, для заимствований из близкородственных языков часто характерно то, что они имеют более абстрактное и обобщенное значение по сравнению с соответствующими им исконными словами, которые имеют более конкретный характер. Ср. старославянские слова в русском языке и соответствующие им русские (*сторона — страна*, *городить — ограждать* и т. п.). Что касается заимствований из языков неродственных, то здесь, по-видимому, чаще наблюдаются случаи, когда заимствование несет какую-то оценочную функцию, обычно уничижительную. При этом следует отметить, что чем древнее заимствование, тем больше ассимилируется оно языком и тем труднее установить признаки его как заимствования. Поэтому заимствования, сделанные языком в дописьменный период, выявить нелегко. Для таких слов особенно трудно определять хронологию их вхождения в язык. К тому же в письменных языках отсутствуют строгие нормы, какие мы видим в развитых литературных языках и которые препятствуют радикальному переоформлению заимствованного слова в плане сближения с исконными словами. Поэтому дописьменные устные заимствования подвергаются более сильному изменению уже на первых порах своего существования в заимствующем языке и их определение затруднительно. Для выявления таких заимствований приходится оперировать широким кругом языков как родственных, так и неродственных, что представляет большие трудности, ибо многие языки до сих пор плохо разработаны в плане их истории.

При изучении заимствований важно учитывать, как долго имели языковые контакты данные народы. При весьма длительных контактах меняются и заимствующие языки и языки-источники. Важно учитывать историю всех контактирующих языков. Это дает возможность выделить древнейшие заимствования, отделив их от позднейших. Калькирование и заимствование — явления одного порядка. Но следует думать, что калькирование имеет место тогда, когда связи между носителями разных языков особенно интен-

сивны и близки. Поэтому древнерусские кальки *половцы*, *черные клобуки* могут свидетельствовать об особенно широких связях с этими народами.

* * *

Хотя изучение восточных элементов русского языка началось уже в XVIII в., но до сих пор, даже после выхода словаря Е. Н. Шиповой, мы пока не имеем больших работ, в которых тюркизмы русского словаря подвергались бы всестороннему исследованию. Нет даже работы, которая подвела бы итог достижениям в этой области, показала бы, как совершенствовались методы анализа тюркизмов русского словаря. Было бы интересно проследить, как изучение этого частного вопроса русского и тюркского языкознания зависело от общего состояния научной разработки истории и теории славянских и тюркских языков. На конкретном примере изучения этимологии и истории одного старого тюркизма можно сделать наблюдения, которые показали бы, как постепенно, в связи с накоплением материала, углублялись и уточнялись методы исследования языковых заимствований вообще [33].

Сейчас главной задачей в области изучения тюрко-славянских языковых связей является учет всего сделанного и тщательная разработка истории тюркской лексики в составе русского языка, а также истории русской по происхождению лексики в составе тюркских языков.

Анализ тюркизмов русского словаря зависел от степени изученности как русского, так и всех тюркских языков. Исследователи, занимавшиеся одними и теми же вопросами, переходили от простых сопоставлений к более точным определениям, приближались к установлению более точных условий заимствования. Однако, как правило, не всегда учитывались факты истории русского языка; привлекался (преимущественно по словарю В. В. Радлова) весьма ограниченный тюркский материал. Но даже в этих условиях было сделано большое количество чрезвычайно ценных наблюдений, которые помогают точнее установить время и место заимствования.

Исследование древнерусских заимствований из тюркских языков осложняется также отсутствием точных сведений именно о тех языках, из которых осуществлялось заимствование, а также весьма неточной хронологией: раннее заимствование могло быть зафикси-

[33] В таком ключе написана статья: И. Г. Добродомов. О методах исследования древнейших тюркизмов в составе русского словаря (К истории слова *жемчуг*). — «ИАН СССР. Серия литературы и языка». Т. 25. Вып. 1. 1966, с. 57—64. Статья имеет раннюю аналогию в венгерском языкознании: L. Ligeti. A török szókészlet története és török jövevényszavaink (*Gyöngy*). — «Magyar nyelv». 42. 1946, c. 1—16. Перепечатано фотомеханически в кн.: L. Ligeti. A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van, 1. Budapest, 1977, c. 48—64.

ровано впервые в сравнительно позднем памятнике. Поэтому приходится восстанавливать как тюркскую, так и древнерусскую исходную форму, а также учитывать исторические данные.

Весьма существенным моментом при изучении древнейших славянских заимствований из тюркских языков является учет их географии, т. е. широты распространения в современных славянских языках и их диалектах. Данные географии слова должны увязываться с историческими данными. Древнерусское заимствование из языка торков *жьнчугъ* и сербохорватское *ђинђуха* могут восходить к одному источнику: торки после их разгрома русскими князьями, по сообщению Лаврентьевской летописи, в 1060 г. бежали к Дунаю: «Изяславъ·и С[вя]тославъ· и Всеволодъ· и Всеславъ·совокупи[ша] вои бещислены·[и] поидоша·на конихъ и в лодьяхъ·бещислено множьство·на Торкы се слышавше Торци оубояшася пробѣгоша и до сегодне». По византийским источникам, эти торки переправились через Дунай и захватили Дунайскую равнину. Часть их была поселена в Македонии [34]. Вероятно, именно они принесли слово *ђинђуха* на Балканы.

При рассмотрении географии тюркизмов следует учитывать также и данные неславянских языков, материал которых помогает нарисовать общую картину распространения слов и лучше установить фонетические особенности исчезнувших тюркских языков. Такое комплексное изучение тюркизмов дает возможность уточнить относительную и абсолютную хронологию фонетических процессов во всех привлекаемых для анализа языках.

Только благодаря применению таких методов исследования становится возможным дать глубокое и точное разрешение вопроса о древнейших тюрко-славянских языковых связях, расчленить все многочисленные тюркизмы русского словаря на разновременные слои, привязать эти слои к определенным тюркским народам, что послужит весьма важным материалом также и для историка культуры.

---

[34] В. Г. Васильевский. Труды Т. 1. СПб., 1908, с. 26—29.

Вынужденное корректурное дополнение. Текстуальная близость данной публикации к статье: О. С. Оразова. К истории изучения тюркизмов в русском языке (Известия Академии наук Туркменской ССР. Серия общественных наук, 1976, № 5, с. 73—78) — объясняется наличием общего для них источника — кандидатской диссертации: И. Г. Добродомов. История лексики тюркского происхождения в древнерусском языке (на материале «Повести временных лет»). М., 1966.

С. Н. Иванов

К ПРОБЛЕМЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(Изъяснительные причастные конструкции в узбекском языке и вопрос о трансформах)

В современных тюркских языках система атрибутивных причастных конструкций является весьма разветвленной и обладает способностью выражать многообразные определительные отношения. В узбекском языке среди атрибутивных конструкций с причастием *-ган* (*-ётган*, *-диган*) имеются обороты с изъяснительным значением по отношению к определяемому, т. е. такие конструкции, в которых определяемое раскрывается посредством причастного оборота по содержанию. Например: *Бунақа ёлғон гапирадиган одатингиз йўқ эди-ку*! (А. Қаҳҳор) ‘Ведь у вас прежде не было обыкновения говорить подобную ложь!’ [1]

Конструкции указанного типа употребляются реже других разновидностей атрибутивных оборотов с причастиями, но наличие модели причастного оборота с изъяснительными отношениями несомненно.

Представляется интересным осмыслить место изъяснительных оборотов в системе атрибутивных конструкций с причастиями, в частности и в связи с вопросом о придаточных предложениях и так называемых трансформах [2].

---

[1] Обороты этого типа в общем виде описаны автором настоящей статьи. См.: С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на *-ган* и ее производные). Л., 1959, с. 59—60. См. также: Е. А. Поцелуевский. Тюркский трехчлен. М., 1967, с. 17—20.

[2] О трансформах см.: В. В. Виноградов. Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка». — ИАН СССР, ОЛЯ. Т. 13. 1954, вып. 6, с. 504; Н. А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты. М., 1940, с. 123; он же. Структура простого предложения в тюркских языках. — «Труды Института языка и литературы АН КиргССР». Вып. 6. Фрунзе, 1956, с. 95—96; С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 86—88; Н. З. Гаджиева. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973, с. 207—334.

Исследованиями, посвященными причастным оборотам в узбекском языке, установлено, что при всем многообразии типов атрибутивных причастных конструкций они вполне поддаются сведéнию к ограниченному числу разновидностей, различающихся характером значения определяемого по его отношению к предшествующему причастию. Эти разновидности образуют собою следующий «закрытый список»:

1) определяемое — субъект действия, обозначенного причастием (тип: *ўқиган бола* 'учившийся / читавший ребенок');

2) определяемое — объект действия, обозначенного причастием (типы: *ўқиган китобим / мен ўқиган китоб* 'книга, которую я читал / изучал'; *кирган мактабингиз / сиз кирган мактаб* 'школа, в которую вы поступили' и т. п.);

3) определяемое — место действия, обозначенного причастием (тип: *ўқиган мактабинг / сен ўқиган мактаб* 'школа, в которой ты учился');

4) определяемое — время действия, обозначенного причастием (тип: *ўқиган вақтимиз / биз ўқиган вақт* 'время, когда мы учились');

5) определяемое — существительное, связанное отношениями принадлежности с одним из членов атрибутивного оборота (тип: *боласи яхши ўқиган одам* 'человек, ребенок которого хорошо учился');

6) определяемое — существительное, раскрываемое атрибутивным оборотом по содержанию, т. е. изъясняемое им (тип: см. пример, приведенный выше) [3].

Характеристике последней из перечисленных разновидностей атрибутивных оборотов и ее места в системе причастных конструкций и посвящена настоящая статья.

Изъяснительные атрибутивные обороты рассматриваемого типа формируются главным образом причастием на *-диган* (а) и реже — *-ган* (б):

а) *Олахўжа уни ўз эшигига ёрдам сўраб келадиган бир аҳволга солиб қўймоқчи экан* (П. Турсун) 'Алаходжа, видимо, хочет довести его до такого состояния, чтобы тот пришел к нему на порог просить помощи'. *У қўлидан келса ҳаммани бу ердан ҳайдаб чиқарадиган бир авзода эди* (П. Турсун) 'Он был в таком настроении, что, если бы это было в его власти, он всех бы выгнал отсюда'. *У ҳар ишни уддалайдиган тадбирли, баҳодир йигит бўлиб етишипти* (Ўзбек халқ эртаклари) 'Он вырос таким рассудительным и храбрым юношей, что мог справиться с любым делом'. *Бу мадраса шаҳарнинг узоқ бурчагида ва чўпдан қурилгани учун бузилиб кетган ва ҳужралари туриб бўлмайдиган ҳолга келган эди*

[3] Подробнее об этом см.: С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 49—60, 73—81.

(С. Айний) 'Так как это медресе было построено в дальнем углу города и на отшибе, оно пришло в такое состояние, что кельи его стали непригодны для жилья'. *Менинг кўзимда ҳарбир қимирлаганнинг кўнглида нима борлигини кўрадиган нур пайдо бўлгандай. . .* (П. Турсун) 'В моих глазах словно бы появился свет, позволявший видеть, что заключено в сердце каждого живого существа. . .' *Аммо бунинг сингари тўй-никоҳларнинг «енг ичида», биров билиб, биров билмайдиган бир йўсинда бўлишига ишонгани учун, ташвиши зўраяр, ҳовлиқар эди* (Ойбек) 'Но так как он был уверен, что свадьбы, подобные этой, совершаются втайне, таким порядком, что один знает, а другой не знает, озабоченность его усиливалась, и он волновался'. — *Бормайсизми? — деди худди ҳозир юладиган бир важоҳатда, — бормайсизми?* (А. Қаҳҳор) '— Не пойдете? — сказала она с таким видом, будто вот-вот вцепится в лицо, — не пойдете?' *Худо осин, қур'он ўқитилмайдиган ўқиш ҳам ўқиш эканми?* (П. Турсун) 'Боже милостивый, разве это учение, когда не обучают чтению Корана?' . . . *кун оқариб юз қадамдан одам, одамни танийдиган даражага етган эди* (С. Айний) '. . . посветлело в такой степени, что уже человек человека смог бы узнать на расстоянии в сто шагов'. *Шомдан кейин кўрпага кирадиган одатим бормиди?* (Ойбек) 'Разве у меня есть обыкновение забираться под одеяло сразу же после вечера?'

б) — *Йўқ, менга сира ухшамайди, — деди Шарофатбиби шикоятланқираган оҳангда* (Ойбек) '— Нет, она совсем не похожа на меня, — сказала Шарафатбиби таким тоном, словно бы она жаловалась'. — *Шундоқдир-да, — деди Сидиқжон ўзини ўзи калака қилган бир оҳангда, — одамни ғафлат босса шундоқ бўлар экан* (А. Қаҳҳор) '— Вот так, — сказал Сыдыкджан таким тоном, как будто подтрунивал над самим собой, — так бывает с человеком, когда им овладевает косность'. *Ҳа, энг оғир пайтларда, қарийб иложсиз қолган шароитларда жангчиларга чолнинг сўзларини айнан айтиб бериб, уларни руҳлантирдим* (Ойбек) 'Да, в самые трудные времена, в условиях, когда почти совсем не было выхода, я пересказывал бойцам в точности слова старика и воодушевлял их этим'. *Офтобнинг қизишидан экин сўлиб, шалпайиб сусайган аломати кўринабошлагач, уни бир марта суғорди* (С. Айний) 'Когда начали появляться признаки того, что от нагрева солнца всходы вянут и, обвисая, слабеют, он их полил один раз'. *Улар Мирҳайдарни звено бошлиқларидан бирига ниманидир қаттиқ-қаттиқ уқдириб турган ҳолда учратдилар* (Ойбек) 'Они встретили Мирхайдара, когда он что-то очень резко объяснял одному из звеньевых'.

Изъяснительные обороты формируются также посредством грамматикализованного причастия *деган*. Здесь лексическое значение глагола *де-* 'говорить', уже в значительной степени ослабленное, использовано для того, чтобы раскрыть последующее слово

(определяемое), как и в других типах изъяснительных конструкций, по содержанию:

Унинг «Ҳақиқат осмонда эмас, ерда» деган гапларини эслади (П. Турсун) 'Он вспомнил его слова о том, что правда не на небе, а на земле'. *«Отам ҳам менинг ноғора чалишимни кўрмоқчи бўлган» деган фикр кўнглимга келиб ғуририм яна ҳам ортди* (С. Айний) 'Мне пришла мысль о том, что, наверное, отец тоже хочет видеть, как я буду играть на барабане, и гордость моя еще более возросла'. *Менга ҳам «муддатидан илгари озод қилинди» деган қоғоз қилдириб бердилар* (П. Турсун) 'Мне тоже выдали бумагу, гласившую: «освобожден досрочно»'.

Определяемые в оборотах подобного рода — слова со значением устного, мысленного или письменного выражения речи.

Наряду с приведенными здесь образцами изъяснительных конструкций, где в качестве определяемых используются полнозначные слова, употребляются также и такие их разновидности, при которых определяемые — слова, лексически опустошенные: *тур*, *тус*, *кўй*, *қиёфа* и т. п., т. е. имеющие отвлеченное значение («образ», «вид», «способ», «форма» и т. п.):

Бирпас шабадаланг, — деди чол ачинган бир тур билан Сайрамовга қараб (Ойбек) 'Проветрись-ка немного, — сказал старик с огорченным видом, глядя на Сайрамова'. *Бедана эмиш! — койинган тусда деди раис* (Ойбек) 'Перепелов ему подавай! — бранчливо сказал председатель'. *Оқсоқол чойдан яна ҳўплади ва пиёлани ушлаган кўйи одамларни кўздан кечириб. . .* (П. Турсун) 'Старик снова отхлебнул чаю и, все еще держа пиалу, оглядел людей. . .' *Шундай, — деди Ойимхон ва аёлга қараб ўксинган бир қиёфада уқдирди. . . .* (П. Турсун) 'Вот так-то, — сказала Айимхан и, глядя на женщину, пояснила с обиженным видом. . .'

В словосочетаниях этого последнего типа удельный вес определительного оборота семантически значительнее, нежели таковой же у определяемого: лексически выхолощенное определяемое обозначает здесь не слово, уточняемое посредством атрибутивного оборота, а нечто производимое самим действием, выраженным в причастии.

Полностью грамматикализованными являются причастные обороты с определяемыми, выраженными словами типа *ҳол* 'положение', 'состояние', *тарз* 'форма', 'манера', 'способ', *вазият* 'положение', *равиш* 'образ', 'вид', 'способ':

Ҳолмурод ўрнидан турди-да, юзи бироз жилмайган, кўзлари чақнаган ҳолда чўзди: А-а-а (П. Турсун) 'Халмурад встал со своего места и с улыбающимся лицом и сверкающими глазами протянул: А-а-а'. *У эса уялган бир тарзда Ҳолмуродга қаради* (П. Турсун) 'А она смущенно посмотрела на Халмурада'. *Узоқ кутиб зериккан ва толиққан бир вазиятда турган Шарофат. . .* (А. Қаҳҳор) 'Шарафат, которая из-за долгого ожидания стояла скучая и то-

мясь. . .' . . .*кутилмаган равишда бирдан хўмрайиб*. . . (П. Турсун) '. . .вдруг, неожиданно нахмурившись. . .'

Грамматикализация конструкций этого типа проявляется в том, что, во-первых, определяемое в них всегда имеет форму местного падежа и, во-вторых, субъект действия в них, обычно не обозначаемый, так как он совпадает с субъектом действия конечной глагольной формы, при необходимости его особого обозначения (например, в уступительных оборотах) выражается аффиксом принадлежности при самом причастии, а не при определяемом, как это имеет место в других типах атрибутивных конструкций с причастиями (ср.: *ўқиган мактабим*, но — *ўқиганим ҳолда*) [4]:

. . . *Ҳабиба 20 яшар бўлгани ҳолда отаси нега уни ҳозиргача эрга бермаган*? (С. Айний) '. . . Если Хабибе 20 лет, то почему отец до сих пор не выдал ее замуж?'

Причастные обороты с изъяснительным значением причастия по отношению к определяемому засвидетельствованы и в памятниках староузбекского языка [5].

В начале статьи были перечислены все разновидности причастных оборотов, различающиеся по характеру отношения определяемого к причастию. Анализ всех возможных при причастии типов определяемого приводит к одному принципиально важному выводу: диапазон допускаемых причастиями определяемых тесно связан с падежной системой. В позиции определяемого при причастии употребляются такие имена существительные, которые при «обратной» связи с глагольной формой (т. е. не «причастное определение + определяемое», а «зависимое слово + глагольная форма») могут иметь при управляющем глаголе форму любого падежа (основной без послелога и с послелогом *билан*, винительный, дательный, исходный, местный). Ср.:

ўқиган китоби 'книга, которую он читал'	*у китоб(ни) ўқиди* 'он читал книгу'
келган уйи ' дом, к которому он пришел'	*у уйга келди* 'он пришел к дому'
қўрққан ҳодисаси 'событие, которого он боялся'	*у бу ҳодисадан қўрқди* 'он боялся этого события'
гапирган тили 'язык, на котором он говорил'	*у бу тил билан гапирди* 'он говорил на этом языке'
ўқиган мактаби 'школа, в которой он учился'	*у бу мактабда ўқиди* 'он учился в этой школе'
ўқиган вақти 'время, когда он учился'	*у бу вақтда ўқиди* 'он учился в это время'

[4] Подробнее об этом см.: С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 117—119, 124.

[5] См.: С. Н. Иванов. «Родословное древо тюрок» Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк (Имя и глагол. Грамматические категории). Таш., 1969, с. 128.

8 Заказ № 1873

Интересно в этом плане, что и родительный падеж, который, как известно, в тюркских языках не управляется глаголами, дает своеобразный «рефлекс» в область причастных оборотов: в конструкциях типа *боласи яхши ўқиган одам* определяемое при «обратной» структуре имело бы форму родительного падежа (*бу одамнинг боласи яхши ўқиди*).

Изъяснительные обороты в этом плане стоят совершенно особняком: их невозможно преобразовать в «обратную» структуру с управляемой падежной формой. Приведенный выше пример изъяснительного оборота *Бунақа ёлғон гапирадиган одатингиз йўқ эди-ку*! и подобные ему (см. другие примеры) представляют собой объединение в одном предложении двух предложений, например: *Бунақа одатингиз йўқ эди-ку*! *Бурун ёлғон гапирмас эдингиз* 'у вас ведь не было такого обыкновения! Прежде вы не говорили подобную ложь'.

Этот факт подтверждает собою то, что современные изъяснительные конструкции являются результатом высокого развития самой модели определительных причастных оборотов. Обороты изъяснительного типа возникают не в результате распространения первоначально простого определения, а на базе уже широко развитых в языке атрибутивных оборотов, являя собою такой тип конструкций, где не определяемое распространяется и уточняется посредством определения, а само определяемое выступает лишь как грамматическая опора самостоятельного в смысловом отношении оборота [6].

---

[6] Некоторые положения, связанные с предложенной выше интерпретацией изъяснительных оборотов, подверглись критике со стороны Е. А. Поцелуевского (см.: Е. А. Поцелуевский. Трехчленная определительная конструкция в туркменском языке и ее модификации. — Исследования по синтаксису тюркских языков. М., 1962, с. 189—218; он же. Тюркский трехчлен, с. 18—25). Однако критика Е. А. Поцелуевского основана на недоразумении. Он критикует отдельные положения моей статьи «Категория залога в определительных сочетаниях с формой на *-ган* в узбекском языке» (ВЯ. 1957, № 2, с. 103—107) и считает характеристику изъяснительных оборотов в ней недостаточной. Е. А. Поцелуевскому кажется, что изъяснительные обороты трактуются мною как отклонение от общей системы причастных конструкций, и он предлагает свое объяснение их (Е. А. Поцелуевский. Тюркский трехчлен, с. 19). Но в «Очерках по синтаксису узбекского языка», на которые Е. А. Поцелуевский не ссылается, содержится характеристика изъяснительных оборотов именно как полноправного члена всей системы причастных конструкций и дается такое их определение (с. 59—60), с которым полностью совпадает и определение самого Е. А. Поцелуевского. То же можно сказать и о критике Е. А. Поцелуевским моих взглядов на обороты с показателем относительной связи и на залоговые отношения в причастиях (Тюркский трехчлен, с. 20—25): все то, что Е. А. Поцелуевский считает не отраженным в упомянутой моей статье, нашло объяснение в «Очерках. . .», причем выводы самого Е. А. Поцелуевского частью близки к моим, а частью и совпадают с ними. В одном случае (Тюркский трехчлен, с. 22) критиком приписывается мне взгляд, который совершенно не разделяется мною (см. Очерки . . ., с. 49—81).

Истолкование изъяснительных причастных оборотов как определенного типа зависимых глагольных конструкций имеет отношение также к давнему и запутанному в тюркологии вопросу о придаточных предложениях [7].

На современном уровне изучения грамматики, т. е. на уровне теоретического изучения системы грамматических фактов, уже просто невозможно вести дискуссию о том, что является и что не является в тюркских языках придаточными предложениями, на прежних основаниях, так как основа споров об этом носит не сущностный, а терминологический характер. Как правило, тюркологи ищут в строе тюркских языков различные типы придаточных предложений в том понимании последних, какое сложилось на основе изучения языков иного строя. Между тем более основательным в этом вопросе был бы метод, при котором без какого-либо внимания к терминам как таковым выявлялись бы система зависимых глагольных конструкций и отношения различных типов их друг к другу (а не к типам придаточных предложений других языков, как это обычно делается), а потом уже подыскивались бы наиболее удачные названия для них.

Автор настоящей статьи полагает, что приемлемым способом истолкования зависимых глагольных конструкций, в том числе и причастных оборотов в тюркских языках, мог бы явиться такой метод, при котором осуществлялся бы единый подход к языкам различного строя, различных синтаксических систем. Эта точка зрения исходит из того бесспорного положения, что придаточные предложения и в тех языках, где выделение их не встречает каких-либо принципиальных затруднений, не являются самостоятельными коммуникативными единицами и что «обычное определение предложения нельзя прилагать к придаточному предложению, которое не выражает в процессе коммуникации определенной законченной мысли. . .» [8]. Коммуникативная «неполноценность» зависимых глагольных конструкций в языках различного строя неизбежно будет в структурном отношении проявляться по-разному. Следовательно, задача исследователя состоит в том, чтобы изучать в строе языка те признаки его структуры, в которых отражается коммуникативная несамостоятельность зависимых конструкций [9]. Такой взгляд на задачи изучения зависимых конструкций был сформулирован В. В. Виноградовым, который считал, что при изучении типов сложного предложения необходимо в числе прочих признаков учитывать, «. . . как деформи-

[7] Сводку мнений по этому вопросу см.: Е. А. Убрятова. Исследования по синтаксису якутского языка. II. Сложное предложение. Кн. 1. Новосибирск, 1976, с. 67—100.

[8] Н. С. Поспелов. О грамматической природе сложного предложения. — Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950, с. 323.

[9] Подробнее об этом см.: С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 81—88.

руются разные виды простых предложений, становясь структурными частями сложного предложения» [10], и «. . . какие другие средства, кроме интонации, союзов и союзных слов, участвуют в соединении и сочетании частей сложного предложения» [11].

В тюркологии такой подход к истолкованию причастных оборотов был обоснован Н. А. Баскаковым, который еще в 1940 г. отмечал, что простые предложения, становясь частями более сложного синтаксического единства, «...трансформируются в определенные сочетания» [12]. Аналогичным образом — в духе теории трансформации — трактовал причастные обороты в узбекском языке и автор этих строк [13]. В последнее время теория трансформ нашла последовательное освещение в работах Н. З. Гаджиевой [14]. Убедительность теории трансформации (или деформации) простых предложений в части сложного синтаксического целого состоит в том, что она одинаково пригодна для всех языков, для языков с различным синтаксическим строем.

В тюркских языках наличие зависимых трансформ с причастиями обусловлено и таким свойством причастий, которое было названо мною их «двоякой ориентацией» — на определяемое и на субъект выражаемого ими действия [15]. Если с этих позиций подойти к рассмотренным выше изъяснительным оборотам с узбекскими причастиями, то легко убедиться, что они и представляют собой типичный образец трансформации самостоятельного предложения в часть более сложного синтаксического единства: *Мен қийин вазиятда эдим. Мен пул қарзга олишим керак эди* 'Я был в затруднительном положении. Мне нужно было взять деньги в долг'. *Мен пул қарзга оладиган даражада қийин вазиятда эдим* 'Я был в столь затруднительном положении, что должен был взять деньги в долг'.

---

[10] В. В. Виноградов Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка», с. 504 (разрядка моя. — *С. И.*).

[11] Там же, с. 505 (разрядка моя. — *С. И.*).

[12] Н. А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты, с. 123.

[13] См.: С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 87—88. Е. И. Убрятова неправильно поняла мою точку зрения, полагая, что главным в ней является отрицание придаточной сущности причастных оборотов и что я будто бы противоречу своим же утверждениям о природе причастий (Е. И. Убрятова. Исследования по синтаксису якутского языка, с. 99). Главным в моей позиции по этому вопросу было разделяемое мною и теперь мнение, что можно найти доводы и за и против признания причастных оборотов придаточными предложениями, но поиски таких доводов — в принципе неверный путь (от термина к сущности, а не наоборот).

[14] Н. З. Гаджиева. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, с. 207—334; она же. Трансформация как способ выражения подчинительных отношений в тюркских языках. — «Ученые записки НИИ при Совете Министров Чувашской АССР». Вып. 34. Чебоксары, 1967, с. 117—129.

[15] С. Н. Иванов. Очерки по синтаксису узбекского языка, с. 88—90.

С. Г. Кляшторный

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ПАМЯТНИКАХ

Центральноазиатская мифология, впервые осознанная в своем единстве Г. Н. Потаниным, долгое время оставалась предметом весьма обобщенных суждений и малодостоверных оценок из-за скудости надежно фиксированных текстов, а также крайней неравномерности их регионально-хронологического расположения. Лишь в недавнее время, при более тщательном учете имеющихся свидетельств и на ином методологическом уровне, были выявлены действительные исторические взаимосвязи фольклорных традиций народов Центральной Азии [1].

Немаловажным, хотя и частным случаем письменной фиксации мифологических сюжетов в древней Центральной Азии являются некоторые, к сожалению очень небольшие, части текстов древнетюркских рунических памятников VIII—X вв. Ценность этих свидетельств не подлежит сомнению, несмотря на то что жанровые особенности памятников исключали последовательное и полное изложение какой-либо мифологической фабулы. Однако образ мышления и стиль повествования побуждали создателей памятников к намекам и упоминаниям, за которыми скрывались общеизвестные в той среде представления, верования, идеологические конфликты. Выявление и расшифровка таких глухих ссылок затруднительны, а зачастую и малонадежны. Попытки использования с этой целью описаний шаманских ритуалов и соответствующих им представлений, отраженных в дореволюционном фольклоре тюркских народов Сибири и Средней Азии, хотя и заманчивы, но не всегда правомерны. Прямое использование этнографических свидетельств, не корректируемое на диахроническом уровне,

---

[1] С. Ю. Неклюдов. Исторические взаимосвязи тюрко-монгольских фольклорных традиций и проблема восточных влияний в европейском эпосе.— Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974, с. 192—274; он же. Мифология тюркских и монгольских народов (Проблемы взаимосвязей) — см. наст. изд., с. 183—202.

вступает в противоречие с явно реархаизующей направленностью развития примитивных религиозных систем, сохранившихся на периферии зоны активного воздействия великих религий.

После работ Ж.-П. Ру [2], Л. П. Потапова [3], И. В. Стеблевой [4], С. М. Абрамзона [5] возможности сопоставительного изучения сведений орхонских надписей и этнографических материалов XIX — начала XX в. почти исчерпаны. Главными результатами проделанных исследований стали общее описание религии орхонских тюрков VIII в. и выявление ее культурно-исторических связей с традиционными верованиями позднейших тюркских племен и народностей. Степень полноты достигнутых результатов оценивается исследователями по-разному. Так, Ж.-П. Ру считает, что исследователю оказался доступным лишь царский культ орхонских тюрков, а собственно народная религия (т. е. племенные и родовые культы) осталась неизвестной [6]. Решительно оспаривает это мнение Л. П. Потапов, полагающий, что почитание основных божеств — Тенгри, Умай, Йер-Суб — было распространено во всех группах и слоях древнетюркского общества [7]. Не удовлетворила Л. П. Потапова и попытка реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы, предложенная И. В. Стеблевой [8].

Ниже мы рассмотрим проблемы, касающиеся «орхонского» пантеона, лишь в связи с предполагаемой сюжетной схемой древнетюркской мифологии. Попытки создания такого рода сюжетной схемы на основе свидетельств рунических памятников еще не предпринимались, что сдерживающим образом сказывается на изучении историко-культурного наследия и, в частности, субстратных компонентов фольклорно-мифологической традиции тюркских народов восточноазиатского ареала.

---

[2] J.-P. R o u x. L'origine céleste de la souveraineté dans les inscriptions paléo-turques de Mongolie et de Sibérie. — Studies in the History of Religions. Leyde, 1959, c. 231—241; о н ж е. Tängri. Essai sur le Ciel-Dieu des peuples altaïques. — RHR. T. 149. 1956, № 1, c. 49—82; № 2, c. 197—230; T. 150. 1957, № 1, c. 27—54; № 2, c. 173—212; о н ж е. La religion des Turcs de l'Orkhon des VIIe et VIIIe siècles. — RHR. T. 161. 1962, № 1, c. 1—24; № 2, c. 199—231.

[3] Л. П. П о т а п о в. Умай — божество древних тюрков в свете этнографических данных. — ТС-1972. М., 1973, с. 265—286; о н ж е. Древнетюркские черты почитания Неба у саяно-алтайских народов. — Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978, с. 50—64.

[4] И. В. С т е б л е в а. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы. — ТС-1971. М., 1972, с. 213—226.

[5] С. М. А б р а м з о н. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971, с. 275—339.

[6] J.-P. R o u x. La religion, c. 7—8.

[7] Л. П. П о т а п о в. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского шаманства. — Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978, с. 4—5.

[8] Там же.

В памятниках рунического письма наряду с верованиями и мифами собственно тюрков нашли отражение аналогичные представления енисейских кыргызов и огузских (уйгурских) племен Монголии и Восточного Туркестана. Полное совпадение пантеона во всех доступных проверке случаях позволяет рассматривать исследуемое на материале всей группы рунических памятников явление как достаточно гомогенное, а источники, его характеризующие, — в единстве, выходящем за границы общности письма и языка. Естественны несовпадения мифологем, касающихся этногонии и генеалогии различных племен, часто даже внутри одного племенного союза [9]. Впрочем, этногонические мифы нашли очень слабое отражение в надписях и до некоторой степени известны лишь в изложении иноземных источников, синхронных древнетюркским памятникам.

Сведения иноземных наблюдателей, имевших прямые или опосредованные контакты с тюрками, часто уникальны, но возможности их использования ограничены недостаточной определенностью, а зачастую и тенденциозностью изложения, так как в сообщениях воспроизводится совершенно чуждый наблюдателю мир, с трудом адаптируемый в рамках иных концепций. При создании сюжетной схемы древнетюркской мифологии в какой-то мере неизбежно использование сообщений иноземных информаторов, но в настоящей статье, на начальном этапе разработки схемы, оно крайне ограниченно.

Мы не разделяем уверенности Ж.-П. Ру [10] в закономерности безоговорочного привлечения для характеристики древнетюркской религии текстов и наблюдений, отделенных друг от друга веками и тысячелетиями, относящихся к разным этническим общностям, жившим в различных условиях и находившихся на разных ступенях культурно-хозяйственной деятельности и социального развития. Достигаемая при этом полнота картины, к сожалению, не исключает сомнений в ее адекватности. Вместе с тем достаточно генерализованные параллели вполне оправданны, как, например, в случаях описания диахронически разделенных шаманских ритуалов и мировоззрения, генетическая общность которых представляется безусловной [11].

Несмотря на очевидную неполноту, приводимая ниже схема обладает достаточными классифицирующими моментами для по-

---

[9] Ср., например, совершенно различные варианты древнеуйгурского генеалогического мифа, правомерно отнесенные Ж.-П. Ру к разным племенам, входившим в уйгурскую конфедерацию (см.: J.-P. Roux. Faune et flore sacrées dans les sociétés altaïques. P., 1966, с. 364—366).

[10] J.-P. Roux. La religion, с. 1.

[11] Мы не касаемся здесь сложной проблемы древнетюркского шаманизма, подробно освещенной в работах Ж.-П. Ру и Л. П. Потапова; однако нельзя не отметить древнейшие истоки этого религиозного института.

становки вопроса о ее корреляции с иными мифотворческими системами. Представляется возможным выделить шесть мифологических сюжетов, соотнесенных с тремя мифотворческими циклами.

01. Космогония и космология.

0.01. Миф о сотворении и устройстве мира.
0.001. Миф о космической катастрофе.

02. Пантеон и социум.

0.02. Мифы о богах и божественных силах.
0.002. Миф о божественном сотворении государства и небесном рождении каганов.

03. Этногония и генеалогия.

0.03. Миф о происхождении племен *тюрк*.
0.003. Мифы о первопредках — культурных героях.

Миф о сотворении мира изложен в начальных строках надписей в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана (КТб, 1; БК, 2—3) не как самостоятельный сюжет, а только как напоминание общеизвестного в древнетюркской среде текста: «Когда было сотворено вверху голубое небо, а внизу бурая земля, между [ними] обоими были сотворены сыны человеческие». Акт сотворения лишен здесь каких-либо каузальных связей и не содержит намеков на демиурга и предшествующее состояние (хаос?). Косвенным указанием на существование у тюрков представления о творце является сообщение Феофилакта Симокатты (VII в.), что тюрки «поклоняются тому, кто создал небо и землю» [12]. Однако, по мнению Ж.-П. Ру, это свидетельство является, скорее всего, «эхом» собственных убеждений Феофилакта Симокатты; сама же идея о сотворении мира верховным существом начинает утверждаться среди «алтайских» народов лишь в монгольскую эпоху [13].

Устройство мира представлялось создателям рунических памятников предельно простым: голубой свод неба прикрывает обитаемый мир, т. е. «бурую землю», как «крыша». Именно это сравнение употребляют авторы двух наскальных надписей на береговых утесах по р. Тубе (приток Енисея). Одна из них, так называемый «второй памятник с р. Тубы» (МЕПТ, № 36), может быть прочтена с некоторыми уточнениями в последних двух строках:

(2) teŋrim öčük bizke [bol]
(3) Idil jerim a beŋgü bol

---

[12] Феофилакт Симокатта. История. М., 1957, с. 161.
[13] J. P. Roux. Notes additionneles à Tängri, le Ciel-Dieu des peuples altaïques. — RHR. T. 154. 1958, № 1, c. 43.

(2) О мое Небо, да будь крышей над нами!
(3) О моя страна Идиль, вечно существуй! [14]

Обязательными атрибутами неба — «крыши» — были каждодневно рождающиеся солнце и луна, так или иначе связанные с земной жизнью. В эпитафийной формуле енисейских памятников часто содержатся слова: «на голубом небе солнце и луну я утратил!» (МЕПТ, № 10, 11, 44, 45). О культе «рождающегося солнца» свидетельствует и солярная система ориентации орхонских тюрков, для которых основным, передним, направлением было направление «вперед, в сторону, где рождается солнце» (КТм, 2) [15]. Двери каганского шатра были открыты на восток «из благоговения к стране солнечного восхождения» [16]. Немаловажным свидетельством о древнетюркской картине мира являются строки из письма Ышбара-кагана (Шаболио) суйскому императору, написанные в 585 г. и воспроизведенные в хронике: людей, как пишет Ышбара-каган, «укрывает небо, носит земля, освещает семь планет». Совершенно аналогичное упоминание «неба, которое всех укрывает, земли, которая всех носит», содержится и в письме Киминь (Кижинь)-кагана (600 г.) [17].

Небо как часть космоса, именуемое в рунических текстах kök teŋri, имеет в синхронных древнетюркских памятниках иных систем обозначения kök (МК, 1, 421: kök čyɣysy 'небесная сфера'), kök qalyq, qalyq 'воздух', 'небесный свод', 'ближнее небо' (от глагольной основы qaly- 'подниматься, взлетать'; поэтому основное значение термина связано с ближним небом, куда взлетают птицы, ср. qalyq qušlary 'птицы небесные' у Ахмеда Югнеки, XIII в.) [18]. Известный разброс значений позволяет предположить, что уже в древнетюркское время сложилось представление о нескольких небесных сферах или, по крайней мере, о двух — «высоком небе» и «ближнем небе».

---

[14] Подробнее см.: С. Г. Кляшторный. Руническая эпиграфика Южной Сибири. Наскальные надписи Тепсея и Турана. — СТ. 1976, № 1, с. 69.

[15] См. также: А. Н. Кононов. Способы и термины определения стран света у тюркских народов. — ТС-1974. М., 1978, с. 73.

[16] Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.—Л., 1950, с. 230.

[17] Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken. Bd 1—2. Wiesbaden, 1958: Bd 1, с. 52, 60; Bd 2, с. 528. Полный титул этого кагана восстанавливает А. Бомбачи: Ellig Külüg Šad Baga Yšbara-kagan (A. Bombaci. On the Ancient Turkish Title «Šad». Gururājamanjarika. Napoli, 1974, с. 191). В Бугутской надписи он именуется Нивар-каганом (С. Г. Кляшторный, В. А. Лившиц. Открытие и изучение древнетюркских и согдийских эпиграфических памятников Центральной Азии. — Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978, с. 55—56).

[18] ДТС, с. 312, 411—412; Клосон, 620, 708—709; Дёрфер, II, 577—585; III, 640—641.

Земля представлялась создателям текстов четырехугольным (квадратным) пространством, населенным по краям народами, враждебными тюркам. Для обозначения границ мира в рунике последовательно употреблялся термин buluŋ 'угол': tört buluŋ qop jaγy ermis «[все народы, жившие по] четырем углам [света], были [им, т. е. тюркским каганам] врагами» (КТб, 2, ср. БК, 24). В памятниках уйгурского письма наряду с термином buluŋ для обозначения стран света употреблялось слово juŋaq 'сторона', 'направление': buluŋ juŋaq barča bütürü qarardy (Suv., 617) «углы и страны света все стали совершенно мрачными» (МПДП, с. 183). Ышбара-каган упоминает в письме «четыре моря», лежащие за пределами обитаемой суши, т. е. окружающий землю абсолютный предел мира [19]. Возможно, именно таким пределом мыслилось море, упоминаемое как крайний предел тюркских походов на восток (юго-восток) (Тон 19, КТм, 3). Центром мира была «священная Отюкенская чернь», населенная тюрками, резиденция тюркских каганов, откуда они ходили походами «вперед», «назад», «направо» и «налево» для покорения «четырех углов света» [20].

Горизонтальная космологическая модель мира, представленного в виде четырехугольного плоского пространства, окруженного морями, вряд ли имманентна в собственно тюркской мифологии, как, впрочем, и описанный памятниками космогенез [21]. Эта модель, известная в Центральной Азии и Сибири [22], имела самое широкое распространение в примитивных и развитых обществах древности и исторически недавнего прошлого [23]. Ее отражение в надписях — одно из свидетельств многообразия культурных связей древнетюркского общества.

Вместе с описанием макрокосма в надписях существует иная горизонтальная картина мира, излагающая ситуационное (маршрутное) описание ландшафта с его орогидрографией, без указания границ ойкумены. Универсальным обозначением в схеме описания является сочетание *йер суб* 'земля-вода' (или *йер* 'земля'), выступающее в памятниках как общее (оппозиция «голубому небу»), сакрализованное (см. ниже) и терминологическое понятие. В пределах ландшафтной схемы *йер суб* воспринимается как плоскость,

---

[19] Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten. Bd 1, c. 52.

[20] О соответствии направлений и стран света см.: А. Н. Кононов. Способы и термины, с. 74.

[21] О бытовании в различных культурах подобного космогонического мифа см.: M. Eliade. The Myth of Eternal Return. N. Y., 1954 (Bollingen Series. T. 46).

[22] О северных пределах распространения «четырехугольной» модели мира см.: Г. М. Василевич. Эвенки. Л., 1969, с. 210.

[23] Е. М. Мелетинский. Поэтика мифа. М., 1976, с. 215; см. также: Каталог гор и морей (Шань хай цзин). Предисл., пер. и коммент. Э. М. Яншиной. М., 1977, с. 13.

обязательно атрибутируемая вертикалью — сакрализованной горной вершиной (*ыдук баш*) или целой горной системой (*ыдук Отюкен йыш* 'священная Отюкенская чернь'; *Кёгмен йер суб* 'Кёгменская страна').

С ландшафтным описанием непосредственно соотнесена третья, этнополитическая картина мира, маркированная этно- и, изредка, антропонимией («страна Капаган-кагана и народа тюрков-сиров», «Уйгурская земля», «страна народа аз»). Эта картина отражает неразрывную предметно-чувственную связь людских сообществ, организованных по генетическому принципу, с их «собственной землей». В этнополитической схеме пространство наделено эмоционально активными свойствами: оно может быть враждебным или спасительным в зависимости от того, «свое» оно или «чужое», оно является единственно пригодным или совершенно непригодным для того или иного племени; оно не только сакрализуется, но и определяется как племенное божество («священная Земля-Вода тюрков», КТб, 10—11) — и тем самым вводится в мифологию [24].

Миф о космической катастрофе в памятниках Орхона представлен намеками, в постулируемой связи между неурядицами среди людей и потрясениями в окружающем мире. Всякое нарушение мирового порядка влечет за собой потрясения в государстве: teŋri jer bulγaqyn üčün jaγy bolty (КТб, 44; БК, 29—30) 'так как небо и земля пришли в смятение, он (народ токуз-огузов) стал нам врагом'. Еще худшие последствия, гибель государства, могут повлечь за собой два события — мятеж бегов и народа или бедствие, когда небо «давит», а земля «разверзается» (КТб, 22). Здесь мятеж приравнен к космической катастрофе, представление о которой выражено традиционной формулой мифологического повествования.

Более полный вариант мифа о космической катастрофе или один из подобных мифов содержится в древнетюркской «Книге гаданий» (XV, 20—22), где говорится, что тогда «наверху была мгла, внизу был прах», звери, птицы и сыны человеческие «сбивались с пути». Такое состояние длилось три года и прекратилось «по милости Неба», из чего следует, что сама катастрофа представлялась небесной карой. Отметим, что здесь, как и в повествовании о сотворении мира, люди названы kiši oγly 'сыны человеческие'. Это редко встречающееся в текстах выражение, по всей вероятности, может быть расценено как архаичное и терминологически шаблонное для стиля космогонического мифа [25].

---

[24] См. также: С. Г. Кляшторный. Представления древних тюрков о пространстве. — ППиПИКНВ. 1975, ч. 1, с. 29—30.

[25] Об общем архаизме языка рунических памятников см.: Э. Р. Тенишев. О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников. — Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л.,

Мифы о богах и божественных силах представлены в памятниках крайне ограниченно; чаще всего упоминается имя божества с указанием на его действия или в связи с определенной ситуацией. В текстах орхонских стел названы лишь три божества — Тенгри, Умай, Ыдук Йер-Суб. Явное выделение Тенгри и универсализм его функций побуждают некоторых исследователей к оценке древнетюркской религии как особой, близкой к монотеизму веры, которую можно обозначить термином «тенгриизм», оговаривая, впрочем, наличие в ней более древних напластований. Так, по мнению Г. Дёрфера, «древнетюркская религия может быть разделена на три слоя: тотемистический, шаманистический и, sit venia verbo, тенгриистический» (Д ё р ф е р, II, 580).

В орхонских памятниках нет намеков на специфические функции или сферу власти упоминаемых там божеств, нет прямых указаний на признаки, классифицирующие пантеон. И. В. Стеблева предприняла попытку соотнести древнетюркские божества между собой, расположив их по «уровням»: высший уровень — Тенгри, следующий уровень — Умай, третий уровень — Йер-Суб, четвертый уровень — культ предков. Отношения между объектами первого и второго, первого и третьего уровней — «верх—низ», «небо — земля» [26]. Достаточно доказательно здесь лишь помещение Тенгри во главу пантеона [27].

Между тем в сибирско-центральноазиатской религиозной мифологии существовала своя органично присущая ей система классификации пантеона, определяющая ее теологию и эсхатологию. В основе этой системы лежит трихотомическое деление макрокосма на Верхний, Средний и Нижний миры, между которыми распределены все живые существа, все боги и духи. Трихотомическая концепция дополняла существовавшие горизонтальные модели мира вертикальной моделью, и ее создание отнесено теперь к глубочайшей древности — в эпоху верхнего палеолита Сибири [28]. Еще в недавнем прошлом представление о трех мирах было известно у тюркских, монгольских и тунгусских народов, оно достаточно полно описано в этнографических работах [29].

1976, с. 165. Выражение «сыны человеческие» там же (с. 167) отнесено к «поэтическим формулам».

[26] И. В. С т е б л е в а. К реконструкции, с. 213—217.

[27] См. цитированные работы Ж.-П. Ру и Л. П. Потапова.

[28] Б. А. Ф р о л о в. Палеолитическое искусство и мифология. — У истоков творчества. Новосибирск, 1978, с. 114. О трихотомической структуре космоса в сравнительной мифологии см.: Е. М. М е л е т и н с к и й. Поэтика мифа, с. 207—208.

[29] См., например: А. В. А н о х и н. Материалы по шаманству у алтайцев. Л., 1924 (СМАЭ. Т. 4. 2), с. 1—16; Л. Э. К а р у н о в с к а я. Представления алтайцев о вселенной. (Материалы к алтайскому шаманству). — СЭ. 1935, № 4—5, с. 160—183; Н. А. А л е к с е е в. Традиционные религиозные верования якутов в XIX—начале XX в. Новосибирск, 1975, с. 111—128;

Рунические тексты не содержат прямых указаний на концепцию «трех миров» у тюрков VI—X вв. Если противопоставление неба и земли позволяет с относительной уверенностью предположить существование в древнетюркской мифологии двух групп божественных сил, то все же отсутствие упоминаний Нижнего мира заставляет искать другие указания для проверки гипотезы о связи древнетюркских религиозных воззрений с интересующей нас трехчленной моделью мира. Таким указанием могло бы стать выявление в древнетюркских текстах наиболее важного и яркого персонажа Нижнего мира, его владыки — Эрклига (монгольская форма Эрлик-каган была позже воспринята тюркскими языками Сибири, см.: К л о с о н, 224).

Владыка преисподней (tamu < согд. tmw' 'ад') древнетюркских буддийских переводных текстов VIII—X вв., Эрклиг-хан, выступает здесь, в отличие от других главных божеств, в тюркском лексическом обличье, не являющемся калькированным переводом иноязычного термина [30]. Однако этого факта было бы достаточно для утверждения, что Эрклиг присутствует и в собственно древнетюркской мифологии. Однако возможности поиска Эрклига в древнетюркских рунических памятниках отнюдь не безнадежны.

Самой ранней фиксацией этого мрачного божества пока может считаться упоминание его имени и функций в восьмой строке первого памятника Алтын-кёля; этот текст является эпитафией кыргызского кагана Ынанчу Алп Бильге (Барс-бега, ср. КТб, 20) и достаточно точно датируется 711—712 гг. «Нас было четверо высокородных, — повествует от имени покойного автор эпитафии, — Эрклиг разлучил нас. Увы!» [31] Эрклиг, похитив душу кагана, разлучил его с братьями. Наряду с Эрклигом здесь упомянуто другое божество ада, дух внезапной (скорой?) смерти Бюрт и «его младшая братия». Еще одно упоминание Эрклига в памятнике Ихе-Асхета (VIII в.), к сожалению, не может быть интерпретировано, так как надпись повреждена [32].

Вновь упомянут Эрклиг лишь в памятнике, созданном через два столетия после стелы с Золотого озера, — в своеобразной

Г. М. В а с и л е в и ч. Эвенки, с. 210—256; И. А. М а н ж и г е е в. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины, с. 52.

[30] Ср., например, в 25-й строке фрагмента T II V 36 из Яр-хото: erklig qan-nyŋ jarlyqu arqulaju turur eviŋde 'приказ Эрклиг-хана будет сеять раздор в твоем доме' (W. B a n g, A. v. G a b a i n. Türkische Turfan-Texte. I. — SPAW. 1929, c. 246). Прообразом Эрклига в буддизме являлся индийский Яма (см.: A. v. G a b a i n. Alttürkische Grammatik. 3. Aufl. Wiesbaden, 1974, c. 325).

[31] С. Г. К л я ш т о р н ы й. Стелы Золотого озера. — Turcologica. К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова. Л., 1976, с. 261—264.

[32] Ср.: С. Е. М а л о в. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.—Л., 1959, с. 46.

«энциклопедии» древнетюркских верований и суеверий, «Книге гаданий» (*Ырк битиг*), которую правильнее было бы назвать «Книгой притч» [33].

Это уникальное произведение древнетюркской словесности было записано руническим письмом на китайской бумаге в марте 930 г. одним из младших клириков манихейской обители Великого облака со слов его наставника для военачальника Ит-Ачука, старшего брата писца [34].

Рукопись, обнаруженная А. Стейном в знаменитой пещерной библиотеке Дуньхуана [35], замурованной в конце X в., ныне хранится в Британском музее (Or 8212). Впервые она была издана В. Томсеном [36]. Его издание, к сожалению без факсимильного воспроизведения всего текста, до настоящего времени остается единственно приемлемым для изучения памятника, так как, совмещая транслитерацию с транскрипцией и фиксируя пунктуационный знак-разделитель, В. Томсен в то же время сохранил все описки и ошибки писца (переписчика?), частично оговорив их. В новых изданиях транслитерация либо недостаточно последовательна (Оркун II, 73—91), либо вовсе игнорируется (МПДП, 80—92), несмотря на признанную условность многих мест транскрипционного текста.

Ырк битиг по-праву считается одним из труднейших для понимания древнетюркских текстов. Перевод почти каждой из шестидесяти пяти притч, содержащихся в ней, представляет немалую сложность, а во многих случаях и посейчас остается предположительным.

Опыт критического анализа существующих чтений и переводов предпринят Дж. Клосоном [37]. Поправки к чтению и переводу отдельных притч сделаны С. Тезджаном (притча L) [38], Ж.-П. Ру (притча V) [39], Дж. Гамильтоном (колофон, притчи

---

[33] О слове *yrq* и его этимологии см.: W. Bang, A. v. Gabain. Türkische Turfan-Texte. I, с. 242—243. Там же (с. 241—242) о двух других восточнотуркестанских находках того же жанра, относящихся, однако, к древнеуйгурской переводной литературе.

[34] J. Hamilton. Le colophon de l'Irq bitig. — Turcica. T. 7. 1975, с. 7—19.

[35] Л. И. Чугуевский. Дуньхуановедение. — ППВ-1968. М., 1970, с. 241—259.

[36] V. Thomsen. Dr. M. A. Stein's Manuscripts in Turkish 'Runic' Script from Miran and Tun-huang. — Samlede Afhandlingen. T. 3. København, 1922, с. 226—254. Ниже во всех неоговоренных случаях цитаты приводятся по этому изданию.

[37] G. Clauson. Notes in the «Irk Bitig». — UAJ. Bd 33. 1961, H. 3—4, с. 218—225.

[38] S. Tezcan. Tonyukuk yazıtında birkaç düzeltme. — TDAY. 1975—1976. Ankara, 1976, с. 177—178.

[39] J.-P. Roux. À propos des osselets de Gengis Khan. — Tractata Altaica. Wiesbaden, 1976, с. 175—178.

XVI, XL) [40] и М. Эрдалем (альтернативные чтения отдельных слов по всему тексту [41]. И. В. Стеблева наряду со стилистической и литературоведческой оценкой текста воспроизводит транскрипцию и дает перевод памятника, основываясь на издании С. Е. Малова (с учетом чтения и перевода Х. Оркуна), но со своей строфической разбивкой каждой притчи, призванной подтвердить ее мнение о стихотворной форме произведения [42].

Исследователи памятника единодушно указывают на его теснейшую связь с «орхонской» культурной традицией, проявившуюся не только в «шаманском» (по выражению С. Е. Малова) содержании, но также и в языке и композиционно-стилистических особенностях «Книги». В то время как А. фон Габэн отмечает воздействие манихейской и даже христианской литературы на формальные элементы текста [43], И. В. Стеблева видит некоторое, весьма общее, влияние манихейских идей также и на содержание памятника, проявившееся в противопоставлении добра и зла [44]. Дж. Гамильтон, напротив, полагает, что прототипом древнетюркской «Книги гаданий» были популярные на территории Восточного Туркестана в VIII—IX вв. тибетские (resp. индийские) наставления о приметах и поверьях, содержащие сентенции того же типа, что *Ырк битиг* [45]. Так или иначе, в «Книге» собраны притчи, распространенные в древнетюркской среде и отражающие простонародные поверья.

Имя Эрклига упомянуто в «Книге» трижды (притчи XII, LV, LXV) и во всех трех случаях осталось не опознанным издателями памятника. Наибольший интерес представляет первое из этих упоминаний:

(XII) (e)r: (a)bqa: b(a)rmyš: taγda; q(a)ml(a)myš [46] t(e)ŋride: (e)rk-l(i)g: tir: anča: biliŋl(e)r: j(a)b(y)z: ol

Перевод С. Е. Малова: «Говорят: Муж пошел на охоту. В горах он колдовал (молился): в небе полновластный! Так знайте — это дурно!»

---

[40] J. Hamilton. Le colophon; он же. Sur deux présages de l'Irq bitig. — Quand le crible était dans le paille. . . Hommage à Pertev Naili Boratav. P., 1977, c. 247—254.

[41] M. Erdal. Irk Bitig üzerine yeni notlar. — TDAY. 1977. Ankara, 1978, c. 87—119.

[42] И. В. Стеблева. Древнетюркская Книга гаданий как произведение поэзии. — История, культура, языки народов Востока, М., 1970, с. 150—177. О композиции и литературной форме «Книги гаданий» см. также: И. В. Стеблева. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в раннеклассический период. М., 1976, с. 115—126.

[43] A. v. Gabain. Die alttürkische Literatur. — PhTF. T. 2, c. 215—216.

[44] И. В. Стеблева. К реконструкции, с. 222—223.

[45] J. Hamilton. Le colophon, c. 9—10. Ср. также: A. Arlotto. Old Turkic Oracle Books. — «Monumenta Serica». Vol. 29. 1970—1971, c. 685—696.

[46] Так у С. Е. Малова и Дж. Клосона, У. В. Томсена, Х. Оркун и И. В. Стеблевой: q(a)m(y)lmyš, что делает перевод малоубедительным.

Явное противоречие между сентенцией («это дурно») и содержанием моления заставило Дж. Клосона предложить весьма натянутый перевод: «. . . в горах он совершал магические действия и [провозгласил свою] независимость от небес» [47]. Между тем алогичность переводов связана со стремлением перевести по буквальному значению собственное имя божества.

Предлагаемый нами перевод: «Рассказывают: муж-воин отправился на охоту. В горах он камлал, [говоря]: Эрклиг — небесный (бог)! (букв.: Эрклиг на небе!). Так знайте — это грешно!»

За грех здесь почитается отнесение Эрклига, владыки подземного мира, к божествам Верхнего мира, а сама притча ясно указывает на противопоставление Верхнего и Нижнего миров в религиозно-этическом плане.

В притче LV трудность понимания связана, как отметил Дж. Клосон [48], с прочтением двух слов: törät- и jitiglig. Первое слово, törät- 'создавать', С. Е. Малов читает как türt- ('натирать', 'намазывать' — ДТС, 599), толкуя это слово как «убеждать» (у В. Томсена — «подстрекать»), что семантически неоправданно. Слово jitiglig (в сочетании aty jitiglig) С. Е. Малов толкует как «лошадь в парадной сбруе» (со ссылкой на чагат. jetek $<$ перс. jadaq), что малоубедительно [49]. Между тем у Махмуда Кашгарского (III, 18) jitig ~ jetik 'умный', 'знающий', 'зрелый'; jetik er 'зрелый мужчина' (ДТС, 259). Слово at в этом контексте означает не «конь», а «имя», «репутация», «слава» (ср. at kü «слава»; aty kötrülmiš «прославленный» — ДТС, 65).

Приведем перевод С. Е. Малова (от которого перевод И. В. Стеблевой отличается лишь стилистически):

«Говорят: сын героя-мужа отправился в военный поход. Говорят, что находящиеся на поле сражения ораторы убеждают: если [воин] вернется домой, то сам придет прославленным и радостным, а лошадь его будет ведомой стремянными под уздцы [парадной верховой лошадью]. Так знайте — это очень хорошо».

Уточненное чтение текста позволяет предложить следующую транскрипцию и перевод, весьма отличающийся от цитированных выше:

(a)lp: (e)r: oγly: süke: b(a)rmyš: sü: jirinte: (e)rklig: s(a)bčy: tör(e)tmiš: tir: (e)biŋ(e)rü: k(e)ls(e)r: özi: at(a)nmyš: ögr(ü)nčülüg: (a)ty: jetiglig: k(e)lir: tir: (a)nča: biliŋl(e)ri (a)nyγ: (e)dgü:

«Рассказывают: сын героя-воина пошел в поход. На поле боя Эрклиг сделал [его своим] посланцем. И говорят: когда он возвращается домой, то сам он приходит знаменитым и радостным со славою [мужа], достигшего зрелости. Так знайте — это очень хорошо!»

---

[47] G. Clauson. Notes, c. 220.
[48] Там же, с. 224.
[49] Там же.

Смысл сентенции предельно прост — лишь приняв участие в бою и проявив воинскую доблесть, юноша получает право зваться мужчиною. Герой притчи поразил на поле боя столь много врагов, что назван посланцем владыки преисподней. Здесь фиксируется глухой отзвук древнейшего обычая инициаций, отделявшего возрастную группу подростков — юношей от взрослых воинов и охотников.

В притче LXV слово «erklig» упомянуто в заключительной сентенции: (a)nč(i)p: (a)lqu: k(e)ntü: ülügi: (e)rklig: ol:, переведенной В. Томсеном так: «Итак, каждый является хозяином своей судьбы».

С некоторыми стилистическими отличиями этот перевод повторяют Х. Оркун, И. В. Стеблева, Дж. Клосон; близкий перевод находим в ДТС (с. 625, статья ülüg): «все властны [распоряжаться] своей долей» (ср. также: ДТС, с. 301, статья alqu). Иначе переводит С. Е. Малов: «Так могущественна различная судьба каждого!» (МПДП, с. 91). Перевод С. Е. Малова, несомненно, ближе к древнетюркской концепции судьбы (доли, рока), обозначенной термином «ülüg».

Именно судьба предрешает успех или гибель героев древнетюркских памятников, и эта судьба связана с волеизъявлением божественных сил. Рассказывая о своих заслугах перед тюрками, Бильге-каган так объясняет их причины: teŋri jarlyqazu qutym bar üčün ülügüm bar üčün ölteči bodunyγ tirigrü igi(d)tim 'по соизволению Неба, так как я обладал [божественной] благодатью и [предначертанной] судьбой, я возродил к жизни готовый погибнуть народ!' (КТб, 29). Всесилие судьбы, предначертание звучит и в строках эпитафии Кули-чора, заключающих повествование о его гибели: ülüg anča ermiš erinč 'судьба его, надо думать, была такова!' (КЧ 23; ср. К л о с о н, 142).

Поэтому наиболее адекватным в контексте *Ырк битиг* и в связи с концептуальным значением термина ülüg представляется следующий перевод:

«А участь всех и каждого [в руках] Эрклига! (букв.: есть Эрклиг, т. е. загробный мир)».

Одной из самых важных для понимания древнетюркской мифологии является в *Ырк битиг* притча XIX. Приведем в транскрипции ее начало: aq: (a)t: q(a)rš(y)syn: üč: boluγta: t(a)lup(a)n: (a)γ(a)nqa: ötügke: ydmyš tir.

В переводе С. Е. Малова, принятом Дж. Клосоном с оговоркой, что рассказ в целом непонятен [50], вся притча такова: «Белый конь, выбрав из трех перерождений (?) своего противника (?), направил к покаянию и мольбе. Не бойся! Хорошенько молись. Не ужасайся! Хорошенько умоляй! Так знай: это хорошо!»

[50] G. C l a u s o n. Notes, c. 221.

Рассказ действительно непонятен и находится в противоречии со всеми притчами о животных, содержащимися в *Ырк битиг*.

Вероятнее всего причиной кажущейся нелепости текста здесь является орфографическая небрежность писца; младший клирик не всегда соблюдал орфографические правила и допускал в письме немало ошибок, что отмечено (и частично исправлено) В. Томсеном и Дж. Клосоном [51]. По принятой в рунике орфографической манере, в то время как инициальные и медиальные гласные *a/e* обозначались на письме факультативно, любой финальный гласный в орфографически отработанных текстах чаще всего был выражен графически. Однако в рукописи *Ырк битиг* наиболее частой ошибкой писца как раз являются немотивированные пропуски и замены знаков (ср., например, в двадцатой притче, стк. 31: odγur вместо несомненного здесь odγur(u) [52]. Поэтому наряду с чтением aq: (a)t возможно и чтение aq: (a)t(a).

Маловероятна предложенная С. Е. Маловым (со знаком вопроса) трактовка термина «boluγ» как «перерождение». Этот буддийский термин часто встречается в текстах из Восточного Туркестана, но он всегда передается словом azun ~ ažun (согд. ''zwn) (ДТС, 73, 74). Поэтому предпочтительнее иное толкование слова, более оправданное словообразовательной функцией аффикса -γ/-g «место бытия, существования», т. е. «мир» (< bol- 'быть, существовать'; ср. bolmaq 'становление', 'бытие', 'существование' — ДТС, с. 112). С учетом предлагаемых толкований перевод приобретает бо́льшую ясность:

«Рассказывают: белый отец, выбрав в трех мирах своих противников (по вере?), принудил их к покаянию и молитве, [приговаривая] „Не бойся! Молись хорошенько! Не страшись! Умоляй хорошенько!“ (Так) рассказывают, и знай — это хорошо!»

Упоминаемый здесь «белый отец» не может быть никем иным, как одним из «чистых» священнослужителей (arуγ dintar), «совершенных» (tükällig) и «избранных» (adynčy), т. е. высших иерархов манихейской общины [53], одетых согласно уставу в белое одеяние и белую митру [54]. Поименование «отец» обыденно в тюркской манихеике для этого круга лиц; ср., например: adynčyγ

---

[51] Дж. Клосон полагал, что значительное число ошибок и непоследовательностей в рукописи свидетельствует о том, что имеющийся экземпляр является копией, а не авторским оригиналом. См.: G. Clauson, Notes, с. 218—219.

[52] V. Thomsen. Dr. M. A. Stein's Manuscripts, с. 239.

[53] Ср., например, терминологию манихейской покаянной молитвы: Л. В. Дмитриева. Хуастуанифт (Введение, текст, перевод). — Тюркологические исследования. М.—Л., 1963, с. 217—228; Y. P. Asmussen. Xuastvanift. Studies in Manichaeism. Copenhagen, 1965, с. 167—237.

[54] M. Maillard. Les religions de salut occidentales. — L'Asie Centrale. Histoire et civilisation. P., 1977.

yduq qaŋymyz 'наши избранные святые отцы' [55]; ajaγlyγ atlyγ qaŋym mani burχanym 'О мой почитаемый и именитый отец-проповедник Мани!' [56]. Древнетюркское qaŋ 'отец' в восточнотуркестанской уйгурике встречается, как правило, лишь в ранних манихейских текстах VIII—IX вв., а позднее было вытеснено синонимичным ata [57].

В притче, таким образом, содержится своего рода повествование о «борьбе за веру» в самых высших сферах языческого мира древних тюрков, о манихейской миссии, перенесенной в Верхний, Средний и Нижний миры, населенные шаманскими духами и божествами, о подчинении и обращении к новой вере их обитателей — противников религии Мани. Известно, что манихейство охотно включало в свой пантеон «обратившиеся» местные божества, воспринимая вместе с тем и связанные с ними представления. В самом манихействе не существовало понятия «трех миров», его теология и эсхатология базировались на других принципах, главными из которых были «две основы» и «три эпохи», нашедшие терминологическое выражение в древнетюркской лексике (iki jyltyz, üč öd — МПДП, 118, 122).

Таким образом, можно с полной определенностью констатировать, что в древнетюркских рунических текстах неоднократно упоминается владыка Нижнего мира, мира мертвых, Эрклиг, «разлучающий» людей и посылающий «вестников смерти» в мир живых людей. Именно Эрклиг, определяя долю каждого, обрывает жизнь и забирает душу. Тем самым независимо от толкования термина boluγ в «Книге гаданий» представляются достаточно оправданными: а) включение трихотомического деления мира в реконструируемую нами религиозную мифологию древних тюрков и б) классификация древнетюркского пантеона по принципу, присущему самой древнетюркской мифотворческой идеологии.

Верховным божеством древнетюркского пантеона является Тенгри (Небо), божество Верхнего мира. В отличие от неба — части космоса, оно никогда не именуется kök («голубое небо», «небо») или qalyq («небесный свод», «ближнее небо»). Именно Тенгри, иногда вкупе с другими божествами, распоряжается всем происходящим в мире и, прежде всего, предопределяет судьбы людей: Тенгри «распределяет сроки (жизни)» (КТб, 50); однако при этом рождением «сынов человеческих» ведает Умай, а их смертью — Эрклиг; Тенгри дарует каганам мудрость и власть, дарует каганов народу, наказывает согрешивших против каганов и даже, «прика-

---

[55] W. Bang, A. v. Gabain. Türkische Turfan-Texte. III. — «Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung», Bd 2. Lpz., 1972, с. 202.

[56] Там же, с. 184.

[57] A. v. Gabain. Das Leben im uigurischen Königreich von Qočo (850—1250). Wiesbaden, 1973, с. 72.

зывая» кагану (jarlyqa-), решает государственные и военные дела [58]. Согдоязычная Бугутская надпись, эпитафия одного из сподвижников Таспар-кагана (ум. в 581 г.), упоминает о постоянных вопросах кагана, обращенных к богу (богам?) при решении государственных дел [59]. Тенгри неявно антропоморфизован — он наделен некоторыми человеческими чувствами, выражает свою волю словесно, но свои решения осуществляет не прямым воздействием, а через агентов — «природных агентов» и людей. Более явно персонифицировано Небо в мифологии западнотюркских племен Хазарского каганата. Описывая события 80-х годов VII в. — крещение албанским епископом Исраэлем части хазар [60], — армянский автор Моисей Каганкатваци называет главным богом северокавказских хазар Тенгри-хана, которого представляют как «чудовищного громадного героя», «дикого исполина», посвящают ему высокие деревья и приносят в жертву коней [61]. Аналогичные черты почитания Неба наблюдатели отмечали и у восточных тюрков: ежегодно весной на реке Тамир в центре Монголии тюркские каганы совершали жертвоприношение (заклание лошадей и овец) божеству Небу [62]. А Махмуд Кашгарский, правоверный мусульманин, сокрушается о тюрках-«неверных», которые называют словом «Тенгри» «высокие горы» и «большие деревья» (МК, III, 418). Именно на высокой горе совершали моления «духу неба» восточнотюркские каганы и «народ» [63].

---

[58] Подробнее см.: J.-P. Roux. L'origine céleste; он же. Tängri; R. Giraud. L'empire des Turcs célestes. P., 1960, с. 102—107.

[59] С. Г. Кляшторный, В. А. Лившиц. Согдийская надпись из Бугута. — «Страны и народы Востока». Вып. 10. М., 1971, с. 140.

[60] М. И. Артамонов (История хазар. Л., 1962, с. 184) относит дагестанских гуннов, вассалов хазарского кагана, к болгарским племенам (савирам, барсилам). С. А. Плетнева (Хазары. М., 1976, с. 33—34) называет их савирами. По мнению К. Цегледи, северокавказские гунны были последним остатком гуннской державы Аттилы (выступление при обсуждении доклада «Древнетюркская мифология», прочитанного автором этих строк 23.XI.1978 в «Обществе Кёрёши Чома» в Будапеште).

[61] История агван Моисея Каганкатваци, писателя X в. Пер. с армянского К. Патканьяна. СПб., 1861, с. 193—194, 197—198, 200—202; The History of the Caucasian Albanians by Movses Dasxuranci. Transl. by C. J. F. Dowsett. L., 1961 (London Orient Series. Vol. 8), с. 160—168. О дате посольства епископа Исраэля (682 г.) см.: С. Т. Еремян. Может Каланкатуйский о посольстве албанского князя Вараз-Трдата к хазарскому хакану Алп-Илитверу.— ЗИВАН. Т. 7. Л., 1939, с. 129—155; V. Minorsky. A New Book on the Khazars. — Oriens. T. 11. 1958. P. 2, с. 125—126.

[62] P. Pelliot. Neuf notes sur des questions d'Asie Centrale. — TP. Vol. 26, 1929, с. 214—216; Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten. Bd 1, с. 10; Bd 2, с. 500—501.

[63] P. Pelliot. Neuf notes, с. 213. Детальные совпадения ритуального характера показывают, что албанский епископ и китайский информатор повествуют об одной и той же религии, об одном и том же культе, сохранившемся как в Центральной Азии, так и у западнотюркских племен и носившем черты глубокой (гуннской) древности.

Другим божеством была Умай, богиня плодородия и покровительница новорожденных, олицетворяющая женское начало. Христианский наблюдатель, албанский епископ Исраэль, именно ее, по всей видимости, именует Афродитой, когда упоминает жрецов этой богини у западных тюрков VII в.[64]. В древнеуйгурских текстах X в. она названа edgülüg Uma-qatun «благодетельная Ума-царица» и включена в буддийско-тюркский пантеон [65]. Вместе с Тенгри она покровительствует воинам. Так же как каган подобен по своему образу Тенгри (teŋriken), его супруга-царица подобна Умай (Umajteg ögim qatun 'моя мать-царица, подобная Умай', КТб, 31). Здесь содержится явное указание на миф о божественной супружеской чете — Тенгри и Умай, земной ипостасью которой и является царская чета в мире людей[66]. Возможным иконографическим воплощением этого мифа является сцена, изображенная на Кудыргинском валуне, где тюркские воины поклоняются чудовищно громадной и грозной личине (Тенгри-хан), женщине в трехрогом головном уборе и богатом наряде (Умай) и их отпрыску [67].

---

[64] История агван, с. 202.

[65] F. W. K. M ü l l e r. Uigurica. II (Fr. T. III. M. 225, 4—5). — APAW. 1910. № 3, с. 53. Ср. неточное замечание Л. П. Потапова: «В памятниках уйгурской письменности Умай как божество уже не встречается» (Умай — божество древних тюрков, с. 279, примеч. 55).

[66] Осмысление связей внутри пантеона как кровнородственных (ср., например: «Бюрт и его братия» в надписи Алтын-кёля) или супружеских характерно для мифологического мышления. См., например: Е. М. М е л е т и н с к и й. Поэтика мифа, с. 199—201, 207.

[67] Об изучении и интерпретации изображений на Кудыргинском валуне см.: Г. В. Д л у ж н е в с к а я. Еще раз о Кудыргинском валуне (К вопросу об иконографии Умай у древних тюрков). — ТС-1974. М., 1978, с. 230—237. О типологии и генетических связях древнетюркских трехрогих головных уборов см.: Е. E s i n. Bedük Börk. The Iconography of Turkish Honorific Headgears. — Proceedings of the IX-th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Naples, 1970, с. 94—104. Возможной иконографической аналогией «кудыргинской Умай» является изображение женской головы в трехрогом головном уборе на обломке каменной плиты, найденное в 1969 г. в Южном Казахстане близ оз. Бийликуль; см.: А. Г. М е д о е в. Гравюры на скалах. Сары-Арка, Мангышлак. Ч. 1. А.-А., 1979, табл. 57; С. М. А х и н ж а н о в. Об этнической принадлежности каменных изваяний в «трехрогих» головных уборах из Семиречья. — Археологические памятники Казахстана. А.-А., 1978, с. 65—79. Древнетюркские женские изваяния в трехрогих коронах выделены В. П. Мокрыниным (О женских каменных изваяниях Тянь-Шаня и их этнической принадлежности. — Археологические памятники Прииссыккулья. Фрунзе, 1975, с. 113—119).

Представляется также важным замечание С. В. Иванова о существовании у различных тюркских племен архаических представлений о «великой созидательной и жизненной силе, пребывающей на небе». «Эта жизненная сила и была, видимо, олицетворена позже в образе Умай в связи с процессом антропоморфизации различных явлений природы. Обращает на себя внимание, что Умай вооружена луком и стрелой, которой она поражает злых духов, угрожающих жизни и здоровью людей, а может быть, и жилищу» (С. В. И в а н о в. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л., 1979, с. 68).

Главным божеством Среднего мира была «священная Земля-Вода» (yduq jer sub). В орхонских надписях это божество нигде не упомянуто обособленно, но вместе с Тенгри и Умай (или только с Тенгри) оно покровительствует тюркам и наказывает согрешивших. В енисейских надписях герой эпитафии, ушедший в Нижний мир, вместе с атрибутами Верхнего мира — солнцем и луной, от которых он «удалился» и которыми «не насладился», называет также «мою Землю-Воду» (jerim subym), т. е. Средний мир, покинутый им (МЕПТ, № 11, с. 31; № 45, с. 81). По сообщениям иноземных авторов, божество Земли у тюрков было объектом особого культа. Так, Феофилакт Симокатта пишет, что тюрки «поют гимны земле» [68]. Моисей Каганкатваци упоминает хазарских «чародеев», «призывающих землю», жертвоприношения земле и воде [69]. В китайских источниках священная гора, почитаемая тюрками VI в., названа «богом земли» [70]. Культ священных вершин был частью общего культа Земли-Воды у древнетюркских племен [71].

Наиболее трудным является объяснение функций и места в пантеоне двух божеств, упомянутых в *Ырк битиг*: ala atlyγ jol teŋri [72] (притча II) и qara (atlyγ) jol teŋri (притча XLVIII). В буквальном переводе «бог путей на пегом коне» и «бог путей на вороном (коне)». Последнее обычно переводится как «черный бог путей» или «бог черного пути», но более вероятно допустить здесь пропуск слова «atlyγ», так как полная модель имени представлена в притче II. Перевод «бог судеб» (МПДП, с. 85) не обоснован аналогиями. Дж. Клосон [73] предлагает чтение jul teŋri 'бог ручья', что, однако, мало соответствует подвижности обоих божеств, не локализованных в каком-либо определенном месте, их связи с конем. Между тем Моисей Каганкатваци прямо называет

---

[68] Феофилакт Симокатта. История, с. 161.

[69] История агван, с. 193—194.

[70] Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten, Bd 1, c. 10.

[71] П. Пельо полагал, что божество Земли персонифицируется в древнетюркском божестве Отюкенской черни, которое в свою очередь идентично Этюген, богине Земли у монголов (P. Pelliot. Neuf notes sur des questions d'Asie Centrale. — TP. Vol. 26, 1929, c. 218—219). Развивая ту же гипотезу, Э. Лот-Фальк отождествила Этюген с Умай (E. Lot-Falk. A propos d'Ätügän, déesse mongole de la Terre. — RHR. T. 149, 1956, c. 168). Тождество древнетюркского божества Земли и Умай предположил Р. Жиро (R. Giraud. L'empire des Turcs Célestes. P. 1960, c. 106—107).

[72] Ср., однако: A. Bombaci. Qutlug Bolzun! A Contribution to the History of the Concept of «Fortune» Among the Turks. P. 2. — UAJ. Vol. 38, 1966, c. 19; автор, основываясь на семантике монгольского dzol 'счастье, успех', якутского džol 'счастье', а также на возможном толковании встречающихся в древнеуйгурских буддийских текстах парных сочетаний ed jol 'изобилие и счастье', at jol 'слава и счастье', atlyγ jolluγ 'знаменитый и счастливый' (ср. ДТС, с. 67: 'удачливый'), полагает возможным толковать jol teŋri как «божество счастья». Ср. также: jolluγ tegin (КТм, 13) 'счастливый принц', 'князь, обладающий счастьем'.

[73] G. Clauson, Notes, c. 223.

среди других божеств западных тюрков VII в. и «некиих богов путей» [74], что решает вопрос о правильности буквального перевода обоих названий в *Ырк битиг*. По наблюдению Л. П. Потапова, «шаманский образ божества дорог или путей, ездящего на пегом коне, сохранялся у телеутов до начала XX в. под названием *йер йол пайана* 'божество земных дорог (или путей)', причем вместо *пайана* нередко фигурирует в его названии термин *тенгере*» [75].

Еще одно упоминание *йол тенгри* содержится в древнетибетском памятнике. Распространенным жанром добуддийской тибетской литературы являются тексты, описывающие шаманские ритуалы, и «книги гаданий». В одной из тибетских гадательных книг, обнаруженной в той же дуньхуанской пещере Тысячи будд, что и *Ырк битиг*, сохранился фрагмент версии «Каталога княжеств» — полулегендарного списка земель и правителей древнего Тибета и его соседей; в их числе названы «восемь северных земель» [76]. Столица тех «северных земель» — замок Шу-балык (тиб. Šu-ba-ba-leg), где почитают «бога тюрков» (тиб. Drugu'i-lha) Йол-тенгри (тиб. Yol-tan-re ~ Yol-ten-re). Там правят князья Иркин (тиб. Hir-kin) и Таркан (тиб. Dar-kan); их советники — Тюргеш (тиб. Dur-rgyus) и Амача (тиб. A-ma-ča'); их слуги — Черный тюрк (тиб. Nag-drug) и Амача [77].

Несколько строк, сохранивших скорее эпическую, чем историческую традицию, тем не менее доносят до нас и отзвуки реальной этнополитической обстановки в тюркском Притяньшанье VIII—IX вв. Город и крепость Шу близ Баласагуна упоминает Махмуд Кашгарский, относя основание крепости к временам Зу-л-Карнейна (Александра Македонского), когда «города и страны вроде Тараза, Испиджаба и Баласагуна и прочих не были построены, все они построены позже» [78]. Титул *иркин* носили вожди племен, составлявших в VII—VIII вв. западное крыло «десятистрельного народа» (on oq bodun), т. е. тюркских племен Западнотюркского каганата [79]. Титул *таркан* был одним из выс-

---

[74] История агван, с. 194.

[75] Л. П. Потапов. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая. — Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. Л., 1977, с. 175.

[76] M. Lalou. Catalogue de principautés du Tibet ancien. — JA. T. 253. Fasc. 2, 1965, c. 192.

[77] Там же; G. Uray. The Old Tibetan Sources of the History of Central Asia Up to 751 A. D.: a Survey. — Prolegomena to the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia. Ed. by J. Harmatta. Budapest, 1979, c. 299—300.

[78] С. Волин. Сведения арабских источников IX—XVI вв. о долине реки Талас и смежных районах. — Труды Института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Т. 8. А.-А., 1960, с. 85.

[79] E. Chavannes. Documents sur les Tou-kiue (Turcs) Occidentaux. St.-Pbg., 1903 (СТОЭ. Т. 6), с. 27—28.

ших в военно-административной иерархии тюркских каганатов. Титул *амача* носили царские советники в древних государствах Восточного Туркестана [80]. Персонифицированный этноним *тюргеш* позволяет датировать тибетскую запись временем не ранее VIII в. Упоминание *йол тенгри* как главного бога западных тюрков могло бы стать поводом для пересмотра иерархического статуса этого божества, если бы представления тибетского автора о «северных землях» не были столь смутными. Все же можно отметить, что для иноземного наблюдателя образ *йол тенгри* был непосредственно связан с государственным культом тюрков.

Судя по функциям обоих *йол тенгри* в *Ырк битиг*, одно из которых дает человеку *кут* «(божественную) благодать, душу», а другое восстанавливает и «устраивает» государство (эль), они скорее всего посланцы небесного божества (Тенгри), непосредственные исполнители его воли. Рунические надписи дают много примеров того, что именно Тенгри ниспосылал благодать или «приказывал» и побуждал к созданию и воссозданию государства (*эля*) тюрков; само государство именуется в енисейской рунике ţeŋri el 'божественный эль' (МЕПТ, № 1, с. 12; № 3, с. 17). В случае правильности предполагаемой трактовки *йол тенгри* являются младшими божествами, младшими родичами Тенгри, которые, выполняя его волю, постоянно находятся в пути и связывают Верхний и Средний миры, так же как каганы, обращаясь к Небу с вопросами и мольбами (ср., например, цитированную выше Бугутскую надпись), осуществляют «обратную связь» Среднего мира с Верхним.

На шаманские функции каганов, лично общающихся с Небом, обратил внимание М. Мори [81].

Мифы о божественном сотворении государства и небесном рождении каганов, о небесном звере — первопредке династии или племени подробно исследованы Ж.-П. Ру [82]. В дополнение к изложенному там отметим позднее происхождение мифов о небоподобных и неборожденных тюркских каганах. Они возникают не ранее VI в. в уже сложившемся древнетюркском государстве и тесно связаны с мифом о происхождении тюркского эля. Согласно этому позднему мифу, именно Тенгри создал его около 535 г.; о пятидесятилетней давности события упоминает уже цитированное письмо тюркского Ышбара-кагана суйскому императору (585 г.) [83].

---

[80] G. U r a y. The Old Tibetan Sources, c. 301.

[81] M. M o r i. Historical Studies of the Ancient Turkic Peoples. Tokyo, 1967, c. 3—5.

[82] J.-P. R o u x. L'origine céleste, c. 231—241; о н ж е. Faune et flore sacrée, c. 227—406.

[83] Аналогичный процесс сложения «политизированной» мифологии можно проследить в ту же эпоху и в соседнем с каганатом Тибете; см.: A. M a c d o n a l d. Une lecture des Pelliot tibetain 1286, 1287, 1038, 1047 et 1290:

Орхонские надписи постоянно декларируют небесное происхождение каганского рода. Вместе с представлением о Тенгри и Умай как божественной чете, которая покровительствует каганскому роду, этот поздний мифологический цикл носил явственный отпечаток его рождения в классовом обществе и являлся несомненной частью государственного культа Тюркского каганата. Отдельные составные части этого культа: ежегодные жертвоприношения в «пещере предков», где в роли первосвященника выступал сам каган [84], почитание умерших предков-каганов, освящение каганских погребальных комплексов и каганских стел — все это упомянуто в рунических текстах или в сообщениях иноземных наблюдателей.

Мы не останавливаемся здесь на уже исследованных нами тюркских генеалогических мифах, включающих и повествование о «культурных героях-первопредках» (таков был Надулу-шад, принесший тюркам огонь; сам основатель рода, Ашина, отличавшийся «великими способностями») [85].

Итак, несмотря на фрагментарность сообщений рунических памятников, все они свидетельствуют о сложной и развитой мифологии древнетюркских племен, содержащей как весьма архаичные (тотемные генеалогические и космогонические мифы), так и сравнительно молодые пласты, формирование которых завершилось в древнетюркских государствах, с их четко выраженным элитарным и сакрализованным характером публичной власти.

СИГЛЫ ПАМЯТНИКОВ

БКб — памятник Бильге-кагану (большая надпись)
КТб — памятник Кюль-тегину (большая надпись)
КТм — памятник Кюль-тегину (малая надпись)
КЧ — памятник Кули-чору
Тон — памятник Тоньюкуку

ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ

МЕПТ — С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.—Л., 1962.
МПДП — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951.

essai sur la formation et l'emploi des mythes politiques dans la religion royale de Sron-bcan ngam-po. — Etudes tibetaines dédiées à la mémoire de Marcelle Labou. P., 1971, c. 166—189.

[84] P. Pelliot. Neuf notes, c. 212.

[85] С. Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 103—114; он же. Проблемы ранней истории племени тюрк (ашина). — Новое в советской археологии (Памяти С. В. Киселева). М., 1965, с. 278—281. В источниковедческом аспекте этот сюжет затронут турецким ученым Б. Огелем. См.: B. Ögel. Türk mitolojisi. Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar. Cilt 1. Ankara, 1971, c. 18—29.

Севортян — Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974.

Дёрфер — G. Doerfer. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd 1—3. Wiesbaden. 1963—1967 (Bd 1—1963; Bd 2 — 1965; Bd 3 — 1967).

Клосон — G. Clauson. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Ox., 1972.

МК — Mahmud al-Kašgarî, Divanü lûgat-it-türk. Çeviren B. Atalay. Cilt 1—3. Ankara, 1939—1941.

Оркун — H. N. Orkun. Eski türk yazıtları. Cilt 1—4. İstanbul, 1936—1941.

И. В. Кормушин

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДРЕВНЕТЮРКСКИМ РУНИЧЕСКИМ ПАМЯТНИКАМ. I

Среди крупных древнетюркских рунических надписей наибольшее значение как исторические источники имеют тексты памятников КТ, БК и Тон [1]. Первые два вообще явились ключевыми как в дешифровке самого сибирско-монгольского руноподобного (теперь уже прочно вошло в обиход: тюркского рунического, в отличие от германского рунического) письма, так и в интерпретации исторических сведений, содержащихся в них самих, а также в Тон, в других монгольских [2] и частично енисейских памятниках. Исключительность кошо-цайдамских [3] стел объясняется следующими факторами.

Во-первых, протяженностью и связностью текстов. Огромные, без преувеличения, тексты (свыше 2 тыс. слов) складываются в последовательный, связный, без ощутимых перерывов рассказ о множестве реальных событий.

Во-вторых, повторяемостью текстов. Оба текста написаны от имени одного лица — Бильге-кагана [4]. Большая часть текста КТ впоследствии была включена в текст БК; эпизоды, посвященные лично Кюль-тегину, его детству, его геройству в битвах (в строках с 30 по 51 КТ), в БК выпущены, а изложение событий (военные походы 700—716 гг. н. э.), которое велось в этом месте КТ от 1-го лица множественного числа («мы ходили войной на тех-то»), в БК ведется от 1-го лица единственного числа. По существу, в памятниках КТ и БК мы имеем дело с двумя редакциями одного текста.

---

[1] Данные о памятниках и расшифровку условных обозначений см.: ДТС, с. VII, XXII, XXVII—XXX.

[2] В статье везде в географическом смысле.

[3] По имени урочища Кошо-Цайдам в долине р. Орхон, где установлены памятники КТ и БК; см.: ДТС, с. XXII, XXVII.

[4] С небольшой вставкой в БК, написанной уже от имени сына Бильге-кагана, о чем особо ниже.

Повторяемость текстов КТ и БК на значительном протяжении придает необычайный авторитет, я бы сказал — незыблемость, самим текстам при всех научных упражнениях, как бы заранее сводя до минимума палеографические и филологические конъектуры. Кроме того, дублированность текстов позволяет восстановить некоторые несохранившиеся места (в каждом случае для одного из памятников по сохранившейся части другого), притом что и сохранность каждого из текстов относительно хорошая. В нескольких, но важных случаях более поздний текст БК предоставляет возможность «исправить» текст КТ.

В-третьих, довольно строгой литературной нормированностью языка памятников. Этот фактор, в общем, действителен и в отношении большинства остальных рунических памятников, но в сочетании с другими в КТ и БК он выступает ярче.

В-четвертых, внутренней организованностью текстов по определенным правилам. По-видимому, все тюркские рунические памятники эпиграфики построены по аналогичным или сходным правилам, но именно на больших и связных текстах КТ и БК могут быть с наибольшей ясностью выявлены эти правила и затем уже применены при истолковании ущербных, лакунарных или просто спорных для понимания текстов.

В-пятых, точной датированностью текстов и многих описываемых в них событий. На кошо-цайдамских стелах помимо тюркского находятся китайские тексты [5], составленные от имени императора Китая. В китайском тексте КТ содержится точная династийная дата «кай-юань, 20-й год», переводимая на нынешнее летосчисление следующим образом: 20-й год от начала периода правления, для которого императором избран девиз кай-юань; данным девизом обозначались годы правления императора Сюань-цзуна начиная с 712 г., таким образом 712 + 20 дает 732 г. н. э. В тюркском тексте КТ в конце надписи перечислены три даты — смерти принца, совершения поминального обряда и освящения надписи и заупокойного храма — в счислении по животному циклу; последнее событие отнесено на «год обезьяны», а 732 г. также является «годом обезьяны».

Многие события, о которых говорится в тексте надписей, датированы путем указаний типа: «когда Кюль-тегину (или: „когда мне“, т. е. Бильге-кагану) было столько-то лет, произошло то-то и то-то». Благодаря упоминанию о возрасте Кюль-тегина в момент смерти и возможности вычислить дату его смерти (а следовательно, и рождения) по современному летосчислению через китайскую династийную дату все относительные хронологические указания текстов также получают абсолютную датировку (с точ-

[5] В. П. Васильев. Китайские надписи на орхонских памятниках в Кошо-Цайдаме и Карабалгасуне. — СТОЭ. Вып. 3. 1897, с. 1—36.

ностью до года при переводе на современный календарь). Всего в текстах КТ и БК содержится полтора десятка дат. Хронологическая и событийная канва, обозначенная в надписях КТ и БК, совпала в ряде существенных моментов с рассказами китайских государственных хроник.

В отношении многих остальных рунических памятников можно сказать в общем, что содержащиеся в них различные даты по счислению животного цикла, упоминания возраста тех или иных лиц, а также всевозможные недатированные события получают достоверную хронологическую оценку в том случае, когда их удается соотнести с событиями, описанными в КТ и БК.

Таковы основные свойства текстов памятников КТ и БК, которые определяют исключительную ценность историко-филологического материала, предоставляемого ими в распоряжение исследователя, и выделяют их среди всех остальных рунических памятников, в том числе среди так называемых «больших» памятников, включая даже наиболее значительный по объему и содержанию «большой» памятник Тон.

Как указывалось выше, в рассматриваемых памятниках яснее, чем в других, проявляется внутренняя организация текста. Выявлению правил построения данных текстов благоприятствуют и все прочие позитивные факторы: нормированность языка, протяженность текстов, их связность и т. д. Однако если многие обстоятельства способствуют текстологическим штудиям, то есть нечто, что отчасти затрудняет их, что связано с пониманием, говоря общо, жанрового статуса текстов.

Тексты памятников КТ и БК являются поминальными надписями на стелах погребально-мемориальных комплексов, созданных соответственно в честь наследного принца Кюль-тегина и его старшего брата, правившего кагана Бильге. Жанром некролога определяется содержание текстов: сказать «доброе слово» о покойных. Этот бытующий и по сию пору обычай говорить об умершем только хорошо связан, как известно, с системой древнейших представлений о загробной жизни, о переселении душ покойников в иной мир, об их могуществе и способности влиять на дела «нашего» мира и необходимости вследствие этого оказывать им определенные ритуалом почести и знаки внимания. Живые славят дела покойных в «этом» мире, удостоверяя тем самым свою лояльность по отношению к ним; души покойных, ублаготворившись сказанным и сделанным в их честь, покидают (во многих верованиях обычно на 40-й день после смерти, отсюда известное празднование «сороковин») мир живых и, «не причинив вреда», «не взяв с собой кого-л.» и т. д., благополучно уходят в загробный мир. Таким образом, законы жанра определяют содержание некролога как «доброго слова» о жизни и делах покойного. При этом особенностью большинства древнетюркских эпитафий является то, что они

писаны от лица самих покойных, представляя как бы их собственную речь о своих заслугах (таковы БК, Тон, О, МЧ и многие енисейские). В свете сказанного о «присутствии» душ покойных в течение некоторого времени, до окончательного ухода в загробный мир, среди живых их «собственное» слово в погребальном обряде не может считаться неожиданным. В некоторых надписях, например в БК, О, есть вставки в текст или добавочные надписи от лица живых. КТ, по-видимому, один из немногих памятников, который написан как слово о покойном от лица живого.

Указанный характер содержания древнетюркских эпитафий очевиден в текстах КТ и БК: здесь приведены пространные жизнеописания Кюль-тегина и Бильге-кагана, воздана хвала их мудрости и геройству. Однако более близкое изучение текстов ясно показывает, что их содержание выходит за рамки некролога, хотя бы и весьма подробного, и имеет внушительное политическое звучание. Причем такое звучание приобретается не просто в силу большой общественной значимости деяний «героев» надписей, объясняемой их самым высоким положением в социальной иерархии; авторы текстов ставили перед собой определенную сверхзадачу. С учетом задачи и сверхзадачи содержание эпитафийных текстов можно обозначить как сочетание историографических повествований с этико-политическими прокламациями. Последние обращены прежде всего к правящему классу — к различного ранга бекам-князьям, предводителям родо-племенных объединений — и имеют целью убедить беков в исторической обусловленности и тем самым законности власти каганов, а также в обоюдной выгоде установленного порядка союзно-вассальных отношений. Обе эти политико-идеологические сентенции получают обоснование и иллюстрируются в историографических повествованиях. Повествования, несмотря на количественное преобладание и сюжетно-организующее значение в композиции текста, играют все же, несомненно, подчиненную по отношению к прокламативной части роль.

Стремление во что бы то ни стало убедить тех, к кому обращена надпись, — может быть, не столько убедить, сколько заставить проникнуться убежденностью автора, что не одно и то же, но равнозначно по цели — естественно приводило к необходимости воздействовать не только на разум, но и в неменьшей степени на чувства читателя. Данная установка реализовывалась в особом эмоциональном построении текста, насыщении его метафорами, сравнениями, гиперболами и другими тропами.

Весь текст и КТ, и БК разбивается на повествовательные циклы. Я применяю этот термин, предложенный И. В. Стеблевой [6], в ином,

---

[6] И. В. Стеблева. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в раннеклассический период. М., 1976, с. 8—9.

чем у нее, значении: для обозначения более крупных кусков текста, чем ее повествовательные циклы. И. В. Стеблева указывает, что Большая надпись в честь Кюль-тегина характеризуется тем, что «в ней содержится шесть вполне самостоятельных рассказов, последовательно расположенных один за другим» [7]. Вот именно эти «рассказы» мне показалось более целесообразным обозначить термином «повествовательный цикл».

Ниже дается перевод первого цикла (в собственной редакции), остальные циклы будут ради краткости экономно пересказаны.

Первый повествовательный цикл

($КТ_1$) «Когда наверху было создано голубое небо, а внизу бурая земля, между ними были созданы сыны человеческие. Над сынами человеческими воцарились мои предки Бумын-каган, Истеми-каган. Воцарившись, они взяли в управление себе государство народа тюрок и установили в нем законы власти. (2) Все четыре страны света были им врагами; поведя войска, они захватили все народы четырех стран света, все их покорили, имевших головы они заставили их склонить, имевших колени они заставили опуститься на колени. Вперед (т. е. на восток), вплоть до Кадырканской черни, назад (т. е. на запад), вплоть до Железных ворот, они расселили свой народ. Между двумя этими границами (3) царили они так — устраивая коренных тюрок, не имевших над собой властителя и племенной организации. Они были мудрыми каганами, они были храбрыми каганами, их приказные (т. е. военачальники и управители) тоже были мудрыми, храбрыми, а их беки — предводители племен и их народ были верными. Вот так они взяли в управление государство, а взяв в управление государство, установили законы власти. Прожив полную жизнь, они (4) скончались».

Далее в тексте говорится, что отдать траурные почести этим каганам пришло много народов: восточное государство Бёклийской степи, табгачи, тюпюты, апары, пурумы, кыркызы, союз трех племен курыкан, союз тридцати племен татар, кидани, татабийцы — столь славные каганы были они. Затем в конце 4-й рунической строки словами: «После этого их младшие братья стали каганами, их сыновья стали каганами» — начинается новый повествовательный цикл.

Таким образом, мы можем выделить следующие элементы первого повествования: а) воцарение кагана (каганов); б) деяния военные и государственные; в) морально-этическая характеристика деятельности каганов и их личности; г) смерть и оказание траурных почестей.

---

[7] Там же, с. 15.

Попутно заметим, что, рассказывая о своих легендарных предках, Могилян (Бильге-каган) упоминает реальную личность — Бумына, основателя Тюркского каганата (ум. в 552 г. н. э.). Такое непосредственное приближение исторической фигуры к событиям «начала мира» могло иметь только один смысл: оно должно было указывать на исконность, вечность власти правящего рода. Называя Бумына и Истеми своими родственниками, Могилян подчеркивал чисто генеалогическую (кровную, а потому неоспоримо законную) связь нынешней династии (отца Могиляна, дяди Могиляна и его самого) с Бумыном. Последнее могло иметь значение как в идеологическом плане — с точки зрения утверждения «законности» воцарения отца Могиляна, так и, несомненно, в плане политическом — для подкрепления гегемонистских притязаний данной династии в отношении ряда бывших вассалов династии Бумына. (Нет, не случайно так подробно перечисляются иностранные участники траурных торжеств первокаганов!)

Второй повествовательный цикл начинается с самого конца 4-й строки и продолжается по 10-ю. Деяния потомков первокаганов характеризуются негативно. И сами каганы, и их подчиненные и вассалы неразумны, немудры и неверны. В результате подстрекательской политики табгачей, вызывавших распри среди правящей верхушки и вооружавших друг против друга народ и правителей ($КТ_6$), тюркский народ потерял свою государственность, лишился самоуправления (букв.: «потерял свое устроенное государством государство, лишился своего возведенного в каганы кагана» — $КТ_{6-7}$) и стал зависимым от кагана (императора) Китая. В течение пятидесяти лет (с 630 г.) продолжалась эта зависимость. Затем глухо говорится, по-видимому, о восстании 679 г., после подавления которого положение тюрков еще более ухудшается. С фразы о вмешательстве богов, возвысивших для спасения тюрков отца Могиляна (11-я строка), начинается третий повествовательный цикл. Хотя во втором цикле нет формального упоминания о смерти предшествующих каганов, рубеж между вторым и третьим циклами выражен достаточно ясно.

Третий повествовательный цикл — строки 11—16 — посвящен отцу Могиляна. Здесь говорится о постепенном росте его дружины (сначала с ним было 17 мужей, затем 70, потом 700) — сюжет, используемый и в Тон. Заметим важное расхождение между этими памятниками: Тоньюкук говорит о том, что Ильтериш был шадом и лишь при его, Тоньюкука, прозорливости был провозглашен каганом ($Тон_6$); Могилян же сообщает, что его отец «сразу» был каганом, что он «устроил» тёлисов и тардушей и дал им ябгу и шада (вероятно, ранги наместничества), что означало, по моему мнению, включение этих народов непосредственно в феодально-родовой домен правящего дома. Перечисляются народы, с которыми воевал отец, указывается число походов — 47 и сражений — 20.

Упоминанием о смерти отца и водружении ему балбала — предводителя токуз-огузов Баз-кагана — заканчивается третий цикл.

Здесь уже повествовательный цикл как композиционное целое дополняется следующими формальными приметами: в конце цикла подводится суммарный итог военных походов. Подобный же суммарный итог есть и в четвертом повествовательном цикле (стк. 16—24), посвященном каганству дяди Могиляна, и в пятом повествовательном цикле (стк. 25—29), посвященном нынешнему, продолжающемуся в момент рассказа, правлению самого Могиляна.

Шестой повествовательный цикл посвящен непосредственно Кюль-тегину — младшему брату Могиляна — и занимает 20 рунических строк ($КТ_{30-50}$). Границы его ясно обозначены упоминанием о смерти Кюль-тегина в начале и конце цикла. В цикле содержится (сохранилось) семь относительных дат: первая — «. . .когда умер мой отец, Кюль-тегин остался семи лет» ($КТ_{30}$; вычисляется 691 г.), последняя — «. . . когда Кюль-тегину было тридцать один год» ($КТ_{42}$; вычисляется 715 г.). Любопытно заметить, что и далее, в строках $КТ_{43-50}$, речь идет о событиях, которые происходили лишь до 716 г., что подтверждается сравнением с параллельным местом в $БК_{29-34}$. Кюль-тегин оказал великую услугу своим соплеменникам, защитив ставку в войне с огузами в 715 г. (716 г.?) ($КТ_{50}$; в $БК_{32-33}$ просто говорится, что войско трех огузов решило напасть на ставку). После этого (но не в результате данной войны) Кюль-тегин умирает. Как уже было сказано выше, это произошло в 731 г., т. е. еще через пятнадцать лет. Хочу обратить внимание, что в литературе данное обстоятельство не рассматривалось особо. Между тем дать сколько-нибудь приемлемые объяснения тому, что жизнеописание Кюль-тегина обрывается почти на половине, затруднительно. В БК шестой цикл, посвященный там самому Могиляну, продолжается еще 17 строк (занимая $БК_{24-50}$) и содержит дополнительно шесть относительных дат, из которых две последние — «хронологический» итог жизни Могиляна: он сообщает, что 19 лет он был шадом, а 19 лет — каганом.

За шестым повествовательным циклом обоих текстов следуют так называемые «малые» надписи. В БК «малая» надпись расположена на правой узкой боковой грани (если смотреть на широкую лицевую грань). В КТ надписи боковых граней перепутаны местами, что совсем несложно установить из содержания самого текста КТ — по последовательности относительных дат: «когда Кюль-тегину было 26 лет. . .» ($КТ_{35}$), «когда Кюль-тегину было 27 лет. . .» ($КТb_2$) [8], а также благодаря сверке с аналогичным текстом в $БК_{24-34}$. Порядок следования текста на гранях определяется порядком следования строк: в КТ и БК строки идут сверху вниз и

[8] Литерами *a* и *b* со времен В. В. Радлова обозначаются соответственно левая и правая боковые грани памятников.

10 Заказ № 1873

справа налево. Поскольку текст на левой боковой грани продолжает содержание текста широкой лицевой грани, то началом может быть текст либо на лицевой грани, либо на правой боковой. Первоначально В. В. Радлов, В. Томсен и П. М. Мелиоранский определяли начало всего текста на широкой грани. Однако в последнее время в тюркологии сложилась практика, когда повествовательный цикл, содержащийся на правой боковой грани, или так называемая «малая» надпись, рассматривается как введение к «большой». Думается, это ошибочная практика, не принимающая в расчет не только фактическое положение данной части текста в общей структуре надписи [9], но и не учитывающая весьма явных, на мой взгляд, резюмирующих черт его содержания.

По формальным приметам содержания «малая» надпись оформлена как повествовательный цикл. Начинается она с фразы о воцарении Могиляна. Далее следует обращение к феодальной верхушке государства с церемониальным перечислением по рангам, начиная с ближайшей родни кагана — его младших братьев. Затем в общей форме говорится о размерах империи («на востоке, на юге, на западе, на севере. . . столько народов я подчинил») и в общей же форме сказано о размахе военных предприятий Могиляна («на восток я ходил войной до Шантунга, на юг до „девяти эрсенов“» и т. д.). После этого в строках с 4-й до 8-й КТ (=$БК_{3-7}$) излагаются весьма примечательные суждения относительно выгодного для тюрков характера взаимоотношений с Китаем. Остановимся на этой части текста подробнее. Сначала дадим некоторые поправки и толкования к переводу начальной фразы отрывка.

($КТa_4$) ötü͡k(ä)n: j²išda: jig: idi jo͡q: (ä)rm(i)s: il tuts(ï)q: jir: ötü͡k-(ä)n: j²iš (ä)rm͡(i)š: bu jirdä: ol(u)r(ï)p: t(a)bγ(a)č: bod(u)n: birlä: ($КТa_5$) tüz(i)lt(i)m. «Раньше в Отюкенской черни не было хорошего властителя, но землей, способной хранить племенной союз, была именно Отюкенская чернь. Воцарившись на этой земле, я уладил дела с народом табгач».

В переводе С. Е. Малова (и основывающихся на нем толкованиях и «дочерних» переводах) есть две неточности. Приведу его перевод полностью: «(Во время этих походов) в Отюкэнской черни не было хорошего (т. е. настоящего) владыки, но Отюкэнская чернь была (именно) страною, в которой (можно было) созидать племенной союз. В этой (то) стране засев (т. е. основавшись), я связал свою жизнь (и жизнь народа) с народом табгач» [10]. Первая неточность касается понимания временного периода, когда в Отюкенской черни не было «настоящего владыки». Предыдущая фраза

[9] Как мне кажется, чисто психологически невозможно было бы в тексте КТ перепутать местами надписи узких граней, если бы одна из них была начальной.

[10] С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951, с. 34.

говорит о широкой географии походов Могиляна. Но увязывание следующей фразы с предыдущей путем добавления: «(Во время этих походов). . .» — неверно, так как фраза об отсутствии властителя выражена в форме на *-мыш*, что точно указывает на прошлое, свидетелем которого не был Могилян, либо на которое он не мог влиять и потому не причисляет себя к его действующим лицам, т. е. по логике ситуации речь идет о времени до воцарения Могиляна (что обозначено в моем переводе словом «раньше»).

При указанной поправке становится ясным, что в заслугу себе Могилян ставит перевод подвластных ему племен и центра государства — ставки — на земли Отюкена. Последнее — о ставке — ясно из выражения bu jirdä olurïp, в котором глагол olur- 'садиться, оседать' в применении к действиям кагана всегда имеет значение «садиться на трон, начинать царствовать, воцаряться». Следовательно, в данном контексте выражение «воцарившись на этой земле» можно без натяжек понимать как «основав центр своего государства с начала царствования на этой земле».

В последней фразе цитируемого перевода С. Е. Малов следует собственной предположительной разбивке на слова, которую он в транскрипции давал со знаком вопроса: «. . .тӱзältім (*так П. М. Мелиоранский. А нельзя ли*: äт öз iлтiм?)». Буквальный перевод: «с народом табгач я зацепил [свое] тело». Выходит все же несколько искусственно и синтаксически (прицеплять что-либо к чему-либо — вряд ли здесь уместно дополнение с послелогом *бирлä*, выражающим инструментальное либо совместное значение), и семантически («прицеплять тело» > «связывать жизнь» — ?).

Думается, все же следует вернуться к рассмотрению данной группы букв как пассивного по форме, медиального по значению глагола tüzül- 'улаживаться (о делах в государстве)' (см. ДТС, 602 и 603), т. е. буквальный перевод фразы: «с народом табгач я „уладился“ (или: уладил дела)» [11]. С другой стороны, первоначальный перевод В. В. Радлова: «я заключил с китайским народом договор» [12] — домысливает конкретное содержание фразы, не равное ее языковому значению.

Далее содержание текста посвящено анализу взаимоотношений с Китаем.

«($КТа_5$) У народа табгач, дававшего [окружавшим его народам] без печали столько золота, серебра, хмельных напитков, шелка, речи всегда были сладкие, а дары — мягкие. Обманывая сладкими речами и мягкими дарами, он так приближал к себе далекие на-

---

[11] Предложенный И. В. Стеблевой перевод «с народом табгач я сравнялся (?)» (И. В. Стеблева. Поэтика древнетюркской литературы, с. 11), ориентированный на прямое (непереносное) значение глагола, не дает осмысленного перевода, как это и следует из знака вопроса автора.

[12] В. В. Радлов и П. М. Мелиоранский. Древнетюркские памятники в Кошо-Цайдаме. — СТОЭ. 4. СПб., 1897, с. 38.

роды, они же, после того как поселялись вблизи него, усваивали там дурные знания. (КТa_6) Людей добромыслящих, истинных героев он не мог стронуть с места, и даже если кто-то ошибался, то его племя, его народ вплоть до его свойственников не преступали границы. Дав обмануть себя его сладкими речами и мягкими дарами, ты во множестве погибал, тюркский народ. Когда часть тебя, тюркский народ, говорила: „не на юге, в Чугайской черни, на северной (КТa_7) [13] равнине поселюсь я", — то эту часть тюркского народа дурные люди в этом случае так наставляли: „если быть далеко, плохие дары даст [народ табгач], если рядом быть, хорошие дары даст" — так наставляли. Люди, не понимающие мудрости, восприняв эти речи, уходили близко к нему, и ты во множестве погибал».

Хочу обратить внимание, что именно здесь заканчивается применение формы на *-мыш*. Иногда данное обстоятельство затушевывается вкраплением в данный отрывок (дважды) формы *öлтиг* 'ты умер, погиб', не имеющей «заглазного» значения. Однако необходимо помнить, что в языке памятников форма на *-мыш* еще не имела личного спряжения и употреблялась в функции финитного глагола только в 3-м лице единственного числа [14]. Поэтому во 2-м лице она заменялась нейтральной в отношении модальности претеритной формой, которая в таком контексте брала на себя передачу указанной модальной функции. Если принять сказанное, станет ясно, что содержание только что приведенного отрывка относится ко времени до самостоятельного правления Могиляна и составляет контрастный исторический фон по отношению к его предприятию по перебазированию центра кочевой империи в Отюкен. Фраза же об этом предприятии на указанном фоне получает развитие в следующих строках.

«(КТa_8) Если, тюркский народ, ты пойдешь в те земли [вблизи народа табгач, см. предыдущий текст, КТa_7], ты непременно погибнешь. Если ты, живя в Отюкенской черни, [только] посылаешь караваны [за данью], у тебя совсем нет забот. Если ты живешь в Отюкенской черни, то ты непременно будешь жить, сохраняя свой вечный племенной союз».

Именно в приведенном отрывке излагается политико-стратегическая концепция «отстояния» тюрков от Китая. Учитывая связь этого отрывка с фразой о переводе Могиляном своей ставки в Отюкен, можно уверенно сказать, что, следовательно, данная сентенция принадлежит лично Могиляну. Поскольку с «отстоянием» или приближением к Китаю Могилян постоянно связывает

[13] Мне кажется, что здесь *тӳн jазы* употреблено не как топоним, а как нарицательное обозначение северных отдаленных земель по отношению к пограничной к Китаю Чугайской черни.

[14] В. Г. Кондратьев. Очерк грамматики древнетюркского языка. Л., 1970, с. 33.

коренные вопросы жизни и смерти тюркского народа, постольку указанная мысль является одной из центральных и наиболее общих и приобретает поэтому значение политического кредо (или даже политического завещания — для текста БК).

Представляется, что в силу рассмотренного общеоценочного характера содержания «малых» надписей они, скорее всего, являются не вводной, а итоговой частью текста памятников, его седьмыми повествовательными циклами.

Завершаются седьмые циклы характерной для конца повествовательного цикла приметой — упоминанием о сооружении погребального комплекса, датах смерти, похорон и т. д. В БК по сравнению с КТ перед заключительным формальным элементом цикла содержится небольшое добавление с повторением общей положительной оценки царствования, а также с сообщением об обмене брачными союзами с каганом тюргешей, что приравнивалось к мероприятиям общеполитического характера.

Таким образом, в КТ Могиляну посвящены 5-й и 7-й циклы, а в БК — 5-й, 6-й и 7-й. Пятые циклы кратко сообщают о воцарении, о походах против конкретных народов и положительном их значении, а также о суммарном итоге — 22 сражения. Наиболее подробно рассказывается о войнах в цикле 6-м БК (цикл 6-й в КТ посвящен Кюль-тегину), где приводится и «окончательный» итог — 31 сражение. Седьмые циклы содержат общую панораму походов, общую оценку царствования и общую политическую концепцию.

Таким образом, крупные структурные части текста, «рассказы», посвященные определенной эпохе или времени правления определенного кагана, обладают рядом сходных черт в организации своего содержания. Это выражается в том, что во всех таких рассказах выделяются начало и конец, а также событийная часть. А потому предпочтительнее было закрепить это в термине «повествовательный цикл».

Повествовательные циклы по естественному движению рассказа от начала к концу выдержаны в плане реальной очередности событий. В общей структуре текста циклы также сменяют друг друга от более ранних исторических эпох и личностей к более поздним. Это и создает хронологическую последовательность содержания текстов, являющуюся важнейшей предпосылкой использования их как исторических источников.

Д. М. Насилов

АЛТАИСТИКА XIX в.

Рассматривая даже в общих чертах историю алтаистики до XX в., историю дорамстедтовской алтаистики [1], можно представить сложный и противоречивый путь становления этой науки. Здесь и медленное, постепенное накопление и освоение фактического языкового материала, и весьма неопределенные исходные теоретические позиции первых исследователей алтайских языков, и своеобразие использования сравнительно-исторического метода в алтаистических штудиях, и разделение некогда общей урало-алтаистики на две самостоятельные отрасли — уралистику (финно-угроведение) и алтаистику. Основываясь на представленных вниманию материалах, которые, конечно, не дают исчерпывающую характеристику всего сделанного в алтаистике до начала XX в., можно все же наметить, как представляется, следующие этапы развития алтаистики этого периода.

До 20-х годов XIX в., т. е. до появления первых сравнительно-исторических работ, все сведения по алтайским языкам следует рассматривать как предварительный материал для позднейших лингвистических исследований. Это этап первого знакомства с новыми языками, первые отрывочные сведения (преимущественно по лексике) об отдельных языках и диалектах, первые попытки сближения языков, установления их связей на основе чисто внешних сравнений (установление очевидного родства), это попытки использовать полученные сведения для объяснения истории народов, говорящих на данных языках, это, наконец, первые шаги целенаправленного собирания лингвистического материала и предварительные его сводки.

---

[1] См.: Д. М. Насилов. Об алтайской языковой общности (к истории проблемы). — ТС-1974. М., 1977; он же. Из истории алтаистики. — СТ. 1977, № 3; он же. В. В. Радлов и проблемы алтаистики. — СТ. 1978, № 1; он же. Из истории алтаистики. — СТ. 1979, № 4; он же. Взгляды акад. Ф. И. Видемана и проф. М. П. Веске на урало-алтайскую проблему. — Финно-угорские народы и Восток. Тарту, 1978 («Ученые записки Тартуского гос. ун-та». Вып. 455. Труды по востоковедению. IV).

Работами В. Шотта начинается первый период поисков научных доказательств родства между отдельными группами алтайских языков, поскольку ученый не ограничивается внешними явными схождениями. Шотт пытается подойти к алтайскому материалу, опираясь на достижения сравнительно-исторической индоевропеистики. Ему не хватает фактов, его более интересует не само доказательство родственных связей, а нахождение общих корней, этимология грамматических показателей, их идентификация; он слабо владеет методикой исследования, работы изобилуют случайными сопоставлениями и т. п. За В. Шоттом идут А. Боллер, М. А. Кастрен, которые строже подходят к языковому анализу и методике исследований, детальнее вникают в сущность языков, но последний из них, владеющий громадным материалом, рано уходит из жизни, так и не успев сказать решающего слова в алтаистике.

Шлейхеровский период развития индоевропеистики не находит адекватного отражения в собственно алтаистических исследованиях. Научное сравнительно-историческое финно-угроведение начинается с первых систематических опытов праязыковых реконструкций[2]; в алтаистике к этому времени были только отдельные попытки реконструкций (В. Шотт, А. Боллер), все ее успехи были связаны преимущественно с «методом атомистической позвуковой этимологии. . . Вера в историческую реальность праиндоевропейского языка вдохновляла зачинателей и создателей классической индоевропеистики. Можно смело сказать, что без этой веры не было бы того великолепного откровения лингвистической мысли, которое мы называем сравнительно-историческим языкознанием»[3]. Как отметил А. Боллер, в алтаистике не было своего Боппа, думается, не оказалось в ней и своего Шлейхера.

В 70—80-годах XIX в. в языкознании укрепляются идеи младограмматизма с его повышенным вниманием к изучению живых языков. «Когда в конце прошлого столетия в языкознании возобладало направление так называемых младограмматиков и стали применяться более критические методы, требующие доказательств в форме звуковых законов, фонетических и семантических соответствий, уверенность в наличии родства между уральскими и алтайскими языками пошатнулась. В некоторых кругах сомневались даже в родстве языков внутри самой так называемой алтайской семьи, в то время как взаимное родство языков уральской семьи (финно-угорского и самодийского) стало считаться

---

[2] См.: G. Décsy. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965, с. 220—230; Д. В. Бубрих. Финно-угорское языкознание. — Финно-угорский сборник. Л., 1928, с. 87, с. 107—116.

[3] В. А. Виноградов. О реконструкции протоязыковых состояний. — Система и уровни языка. М., 1969, с. 31.

неоспоримым фактом»[4]. Если до сих пор, как указывалось выше, родство урало-алтайских и алтайских языков часто принималось за данное, а задача сводилась преимущественно к установлению всяких межъязыковых соответствий, то в эти годы появляются возражения по данному вопросу, зарождаются антигенетические тенденции, поэтому все яснее выступала задача доказательства схождений между языками через их генетические отношения. Так, например, Н. Андерсон (эстонский финно-угровед, 1845—1905) писал: «Я вовсе не протестую против возможности близко сопоставить все урало-алтайские языки, я добавлю даже, что многое говорит за данную гипотезу, но, несмотря на все это, я убежден, что целиком вопрос об этом родстве следует пока рассматривать как открытый. По крайней мере. . . ни в коем случае непозволительно смешивать возможность с действительностью»[5]. В этот второй период идет интенсивное накопление и изучение материала, особенно по тюркским и монгольским языкам. Появляется «Фонетика» В. В. Радлова, первый опыт сравнительного и отчасти исторического описания звукового строя одной группы алтайских языков. Из работ алтаистического плана можно назвать публикации Ф. Мюллера, И. Грунцеля, В. Банга и конкретные исследования Г. Винклера.

Параллельно с генетическим подходом к проблеме взаимоотношения алтайских (урало-алтайских) языков развивался и типологический подход, идея которого содержалась уже в трудах Р. Раска. Как указывалось, здесь можно наметить две его разновидности. Для одних ученых типологическое сходство этих языков и набор сходных определенных типологических признаков (для многих — преимущественно синтаксических) служили доказательством родства языков (Ю. Клапрот, Ф. Видеман, Г. Чельгрен, Ф. Мюллер, Г. Винклер). Для последнего характерен всеобъемлющий типологический подход к языку в целом, а не только к синтаксическому уровню. Его труды — высшее достижение в этой области в XIX в. Для других ученых типологическая общность алтайских языков служила объяснением их схождений только на почве заимствований на разных языковых уровнях, но не генетических связей. Эта линия начинается с Абель-Ремюза,

---

[4] М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, с. 15—16.

[5] N. Anderson. Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen und indogermanischen Sprachen. Dorpat, (1879) 1891, с. 12; см. также: G. V. L. Gabelentz. Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Lpz., 1891, с. 164—168; П. М. Мелиоранский. Урало-алтайские языки. — Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауз и Ефрон. Т. 68 (XXXIV-а). СПб., 1902, с. 862—863; А. Руднев. Урало-алтайские языки. — Энциклопедический словарь. . . ин-та Гранат. Т. 42. М., (1917) 1927, с. 443²—446²; J. Szinnyei. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Lpz., 1910, с. 21.

продолжается она во многих работах современных алтаистов и отдельных «антиалтаистов».

Непосредственно с типологическим направлением связан всегда интересовавший алтаистов вопрос о соотносительном развитии алтайских языков. Его возникновение было стимулировано теорией агглютинации грамматических показателей, восходящей к Ф. Боппу, который опирался на историческую последовательность морфологических типов языков. Как известно, предполагалось, что древнейшую форму языков представляют изолирующие языки, из них развиваются агглютинирующие, а затем флективные, которые могут, однако, содержать в себе в пережиточном состоянии отдельные черты первых двух типов. Исходя из этого Ф. Бопп считал, что грамматические форманты флективных языков возникли на базе агглютинации и последующей фузии некогда полнозначных элементов. Особенно он отстаивал и доказывал происхождение личных глагольных показателей из личных местоимений. Подтверждение этой гипотезы и Ф. Бопп, и последующие ученые видели в агглютинирующих языках, в том числе, конечно, и в алтайских, поэтому в индоевропеистике много места отводилось обоснованию соответствий показателей самостоятельным элементам или выяснению былого значения последних [6].

На ученых, занимавшихся алтайскими языками и алтаистикой, эти теории оказали влияние в том плане, что делались попытки соотнести уровень развития агглютинации в данных языках с уровнем их абсолютного исторического развития. Естественно, что в первую очередь внимание обращалось на личные показатели глагола и на их соотношение с личными местоимениями. Видимо, далеко не случайно, что многие из упомянутых выше ученых считали своим долгом специальные исследования посвятить проблеме личных местоимений и личных показателей (конечно, этому способствовало и то обстоятельство, что в данном вопросе исследователь всегда имел под рукой исчерпывающий материал) [7].

---

[6] Об этом см.: Б. Дельбрюк. Введение в изучение языка. СПб., 1904, с. 44—88; А. В. Десницкая. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.—Л., 1955, с. 36—43.

[7] См.: W. Schott. Altaische Studien. IV. Heft. — APAW. (1859) 1860, S. 267—275; он же. Versuch über die Tatarischen Sprachen. B., 1836, c. 59—71; A. Boller. Die Conjugation in den finnischen Sprachen. — SBAW Wien. Bd 13. 1854, c. 494—539; Bd 14. (1854) 1855, c. 299—355; он же. Die Pronominalaffixe des ural-altaischen Verbums. — Там же. Bd 25. 1857, c. 3—59; W. Bang. Les Langues ouralo-altaïques et l'importance de leur étude pour celle des Langues indogermaniques. — Mémoires couronnés . . . publ. par L'Academie roy. de Belgique. Vol. XLXI. 1893, c. 9—19; он же. Beiträge zur Kunde der Asiatischen Sprachen. — T'P. Vol. 2. № 3, 1891, c. 9—12; он же. Mandschurica. I. Zum Pronomen der 1. und 2. Person. — Там же. Vol. 1. 1890, c. 329—331; A. M. Castrén. Über die Personalaffixe in den altaischen Sprachen. — Nordische Reisen und Forschungen. Bd 4. St.-

На основании таких наблюдений, с учетом действия гармонии, развитости падежной системы и т. п. выстраивался в общем такой ряд языков: на первом месте финно-угорские (в них, кроме того, сильны фузионные явления), затем тюркские, наконец, монгольские языки и маньчжурский язык. После трудов М. А. Кастрена тунгусские языки заняли место между финно-угорскими, монгольскими и тюркскими, поскольку в них аффиксация оказалась представленной шире, чем в маньчжурском, а бурятский язык приблизился к тюркским. Только в работах Г. Винклера использовались несколько иные критерии — соотношение с идеальным агглютинативным строем языка. В работах почти всех других ученых всегда подчеркивалось, что среди алтайских языков тюркские языки в своем историческом развитии ушли вперед от монгольских, а эти опережают тунгусские. В рамках урало-алтайских языков самыми развитыми и прогрессивными (в сторону флективности) оказывались финские языки. Здесь нет возможности рассматривать вариации данной схемы у различных ученых, хотя это было бы интересно с точки зрения использования отдельных фактов и их соответствующей интерпретации [8]. Отметим, что со временем исходные положения этих построений, видимо, забылись, но идеи о прогрессивном развитии тюркских языков по отношению к иным алтайским живут в современных исследованиях, причем их авторы очень часто не опираются на какие-либо константы, позволяющие делать такие выводы [9].

В XIX в. алтаистика в методическом отношении в значительной мере топталась на месте, уделяя большое внимание этимологизации разных показателей, нахождению для последних по различным алтайским языкам полнозначных слов, из которых они якобы развивались. Было весьма популярным нахождение первичных корней в многосложных словах и отождествление их с самостоятельными словами и т. п. Уже И. Шмидт отметил, что

Pbg., 1857, с. 151—222; J. G r u n z e l. Entwurf einer vergleichenden Grammatik der altaischen Sprachen. Lpz., 1895, с. 56—57; H. W i n k l e r. Das Ural-altaische und seine Gruppen. B., 1885, с. 25—28; Fr. M ü l l e r. Das Personal-Pronomen der altaischen Sprachen. — SBAW Wien. Bd 134, Abh. 1, 1896, с. 1—7. Фридриху Мюллеру (1834—1898), австрийскому ученому, ученику А. Боллера, принадлежит также обобщающий труд по языкам мира, в котором в разделе об урало-алтайских языках содержатся интересные типологические наблюдения по грамматическому строю агглютинирующих языков вообще; см.: Fr. M ü l l e r. Grundriss der Sprachwissenschaft. Bd 1—3. Wien, 1876—1887, особо — Bd 2, 1880.

[8] Ср., например, аргументы Э. Бюге, доказывающего в отличие от Г. Винклера близость тунгусских языков (преимущественно маньчжурского!) к тюрко-монгольским, а не к финским; см.: E. B ü g e. Über die Stellung des Tungusischen zum Mongolisch-Türkischen. 1. Halle, 1885.

[9] См.: Д. М. Н а с и л о в. В. Л. Котвич о способах действия в алтайских языках. — Проблемы алтаистики и монголоведения. Вып. 2. Серия лингвистики. М., 1975, с. 307—318.

«задача. . . языкознания состоит в том, чтобы показать, каковы были формы праязыка и каким путем из них возникли формы отдельных языков. Объяснить семасиологически значение словообразовательных элементов, присоединенных к так называемым корням, мы в большинстве случаев также не в состоянии. . . В этой области признание невозможности знать, как и подобает трезвой науке, делает с каждым годом успехи» [10]. Алтаистика в этом отставала. «Между тем, как исследования в области уральской ветви вот уже десятилетия ведутся научными методами, в литературе по алтайским языкам едва ли найдется нечто, научно приемлемое. Даже не установлено, действительно ли родственны между собой алтайские языки или их сходство восходит к взаимным заимствованиям. Вряд ли нужно доказывать, что урало-алтайские языковые связи не объяснены совершенно» [11]. Данная характеристика справедлива, в общем, для всех этапов развития алтаистики в XIX в.

Приходится слышать, что алтайская гипотеза, не будучи доказанной за 150—200 лет своего существования, либо поэтому вообще несостоятельна, либо просто не может быть доказана как таковая. В этом случае резонен вопрос: много ли было сделано за этот период для ее доказательства, много ли мы имеем фундаментальных работ в этой области, много ли ученых отдали всю свою жизнь доказательству данной гипотезы? По крайней мере в XIX в. их были считанные единицы!

---

[10] Цит. по: Б. Дельбрюк. Введение, с. 77.

[11] J. Németh. Türkische Grammatik. — «Sammlung Göschen», № 774. B.—Lpz., 1917, с. 7; ср.: он же. Специальные проблемы тюркского языкознания в Венгрии. — ВЯ. 1963, № 6, с. 126—127.

Д. М. Насилов

ТЮРК. -а- КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ НА ФОНЕ ДРУГИХ АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ

Семантика способов глагольного действия (далее — СД), выражаемых в алтайских языках аффиксально, довольно однообразна: интенсивность — учащательность — ритмичность, т. е. здесь передаются по преимуществу количественные модификации действия [1]. Возникает вопрос, являются ли эти значения исторически первичными или аффиксы имели и иные значения, указывая, например, на качественное своеобразие действия-состояния. Поскольку аффиксы СД неразрывно связаны с системой глагольного словообразования, для ответа на поставленный вопрос приходится обращаться к наблюдениям за использованием данных формантов в словообразовательных целях в различных лексико-грамматических группах глаголов.

Г. И. Рамстедт, выделяя в алтайском слове «основу» и «окончание», т. е. неизменяемую начальную часть слова и часть варьирующуюся, изменяемую и несущую какие-либо лексико-грамматические функции, среди «окончаний» находил два вида: основообразующие и словоизменительные (флексия) [2]. Однако в практике своих сравнительно-исторических штудий он не различал регулярно и четко эти две разновидности «окончаний», а среди первых — форманты слово- и формообразования, за что и подвергся критике со стороны Н. А. Баскакова, писавшего: «Что касается словообразования, то вся масса аффиксов . . . рассматривается автором без

---

[1] См.: Д. М. Насилов. Формы выражения способов глагольного действия в алтайских языках. — Очерки сравнительной морфологии алтайских языков. Л., 1978. О «качественной» и «количественной» аспектуальности см.: Ю. С. Маслов. Универсальные семантические компоненты в содержании грамматической категории совершенного / несовершенного вида. — Советское славяноведение. 1973, № 4.

[2] См.: Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. Русск. пер. под ред. и с предисл. Н. А. Баскакова. М., 1957, с. 26—27, 31; он же. Zur Verbstammbildungslehre der mongolisch-türkischen Sprachen. — JSFOu. 28, 3, 1912 (далее — Г. Рамстедт. Глаголообразование), с. 1—4.

дифференциации их на соответствующие типы и разряды, образующие своеобразные системы лексико-грамматических и функционально-грамматических категорий, специфичных для той или иной группы языков»[3]. Между тем если при синхронном описании алтайских языков такое различение допустимо, то при историческом исследовании подобное строгое противопоставление представляется неоправданным, ибо грани между такими формативами подвижны и возможны их взаимопереходы. Для алтайских языков, видимо, вообще целесообразнее исторически выделять разряд деривационных показателей как модификаторов смысловой стороны слов, которые противопоставлены реляционным показателям синтаксических связей слов[4]. Это особенно важно для алтаистических сопоставлений, когда смысловая и функциональная нагрузка деривационных формантов в отдельных языках и группах языков оказывается разноуровневой в силу неравномерности исторического развития языков, их разной настроенности по языковой детерминанте[5]. Признание аффиксов слово- и формообразования «принципиально различными группами или разрядами», с одной стороны, и сопоставление их систем лишь с «соответствующими в той или иной степени теми же системами» (разрядка наша. — *Д. Н.*) — с другой, заметно бы ограничивали сравнительно-историческое изучение алтайских языков. При удовлетворительных фонетических соответствиях и при выявлении единства значений и функций формантов в разных языках, восходящего к праязыковому состоянию, можно возводить аффиксы к единой праформе[6].

Развитие языка приводит к затемнению начальных словообразующих формантов, которые могут быть вычленены лишь в результате специального анализа и поисков первичного глагола. Образование какого-либо СД от глагола приводит к модификации лексического значения последнего, которая отражается также и в изменении его сочетаемостных способностей, в парадигматических сдвигах. Однако имеются случаи, когда между производящей и производной основой с показателем СД заметных различий в семантике не отмечается. Это объясняется либо затемнением лексико-грамматического (деривационного) значения данного форманта, либо явлениями междиалектной лексической интерференции, либо

---

[3] Н. А. Баскаков. Предисловие. — Г. Рамстедт. Введение, с. 20.

[4] См.: Г. П. Мельников. Алтайская гипотеза с позиций системной лингвистики. — Проблема общности алтайских языков. Л., 1971, с. 66—67; он же. Языковая стратификация и классификация языков. — Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969, с. 50.

[5] См.: Г. П. Мельников. Алтайская гипотеза, с. 70—71.

[6] См.: Д. М. Насилов. К проблеме тождества аффиксов в алтайских языках. — ТС-1975. М., 1978, с. 180—188.

межъязыковыми контактами. Поэтому не всегда удается реконструировать для какого-либо показателя его первичное (праязыковое) значение или определить его роль в производной основе. Такие случаи, довольно частые в морфологии алтайских языков, не могут быть, однако, опровержением принципиальной возможности исторического сравнения деривационных показателей в трех группах алтайских языков — тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских, а также попыток реконструкции архетипов, значений и функций на праязыковом уровне и определения их филиаций по группам языков (resp. в отдельных языках).

Ниже рассматривается в сравнительно-историческом плане «первичный», простой показатель СД -а- в тюркских языках в сопоставлении с гомогенными формантами других алтайских языков — монгольских и тунгусо-маньчжурских. При этом учитываются алтаистические штудии Г. Рамстедта, В. Котвича, Н. Поппе, К. Менгеса, И. Бенцинга, а также работы по тюркской морфологии и лексикологии (Э. В. Севортяна, Б. М. Юнусалиева, Л. Н. Харитонова, А. Н. Кононова, Б. А. Серебренникова, А. М. Щербака, Н. З. Гаджиевой, М. Рясянена и др.). Цель настоящей статьи — обосновать и развить высказанные выше теоретические положения об изучении алтайского глагола.

Статус аффикса -а, несмотря на многие попытки, в историческом словообразовании тюркского глагола полностью еще не определен. Многих исследователей смущает тот факт, что один гласный -а (так же, как -i) выступает в качестве самостоятельного аффикса. Г. Рамстедт ни в работе о монголо-тюркском глаголообразовании, ни в «Введении» не высказал определенной точки зрения на его историю. Рассмотрев случаи образования глаголов от имен при помощи -а, он в первой работе не исключал возможности гетерогенной природы -а [7] [результат исторического распределения имен и глаголов с исходом одинаковой основы на гласный; ассимилятивные явления (ср.: qana-'пускать кровь' при qan 'кровь' < < ? *qan-la-); отражение фонетического развития (-а < *-γa); пережиточная функция соединительного гласного (аналогическое образование, ср.: караим. *кэмиш-* 'уменьшать', уйг. *кеми-* 'уменьшаться' при *кэм* 'малый, недостаточный')]. Сходную точку зрения о гетерогенности показателя -а разделяет и Н. А. Баскаков, который считает его в системе словообразования «результатом контаминации фонетически различных аффиксальных образований» [8]. Однако Г. Рамстедт во второй работе высказался более осторожно, обратив внимание лишь на спорность пратюркской реконструкции *-а (~*-i) как отдельного форманта исключительно по общим сооб-

7 Г. Рамстедт. Глаголообразование, с. 77—79.
8 См.: Г. Рамстедт. Введение, с. 240, примеч. 165.

ражениям (обычно это «соединительные гласные») [9]. Тем не менее он вынужден был признать, что «глаголы на -а- в тюркском довольно многочисленны, и тюркологи единогласно принимают гипотезу существования глагольного суффикса -а- для производных образований» [10].

Аффикс -а, являющийся ныне непродуктивным, образовывал отыменные глаголы со значением признака процесса или его результата, названия процесса, результата, места и направления, орудия и формы в основном от имен с семантикой названия процесса, признака или результата, а также использовался при глаголах как показатель интенсивности и учащательности [11].

Э. В. Севортян рассматривает этот аффикс в качестве «одной из древнейших и пережиточных форм глаголообразования в тюркских языках» [12], которая позднее была вытеснена показателем -la и его производными. Важно подчеркнуть тот факт, выведенный из лексико-грамматического анализа глаголов с аффиксом -а, что функции последнего в основном аналогичны показателю -la [13], который, оставаясь наиболее продуктивным средством глаголообразования, «формирует значение производного глагола согласно одному из типов своих значений (а не по признаку глагольности вообще), совокупность которых и образует значение глагольности у аффикса *-ла-*» [14]. Таким образом, в историческом плане отмечается преемственность функциональной нагрузки этих двух показателей. Аффикс -а выступал среди деривационных формантов, трансформирующих определенный класс конкретных имен существительных (образования от имен с отвлеченно-абстрактным значением малочисленны и нехарактерны для этой модели; кроме того, по наблюдениям Э. В. Севортяна, абстрактные значения развились на базе конкретных. — Сев. АГ, 213) в класс глаголов различной семантики. По всей вероятности, данный аффикс не столько выступал в качестве формального показателя деривационного преобразования «имя → глагол», сколько являлся семантически необходимым для преобразования смысла «предметное значение → глагольное значение», ибо для тюркских языков формальное обозначение класса глаголов (глагольных представлений) не является абсолютно необходимым. Об этом говорят отмечаемые исследователями нередкие случаи так называемой глагольно-именной омонимии (глагольно-именной синкретизм), т. е. формального

[9] Там же, с. 179.
[10] Там же.
[11] Э. В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования. М., 1962 (далее — Сев. АГ), с. 203—230.
[12] Там же, с. 203.
[13] Там же, с. 214.
[14] Там же, с. 88.

совпадения глагольной и именной основ [15]. Характерно, что и в этом случае отмечается такое же семантическое отношение между именем и глаголом, как и при аффиксальном глаголообразовании: «господствующими являются названия процесса, признака процесса или результата. . .» [16]. Поэтому можно заключить, что процессы отыменного глаголообразования в тюркских языках в семантическом плане не претерпевали существенных преобразований в ходе обозримой истории данных языков. Э. В. Севортян показал также, что при сохранении семантических моделей происходили тем не менее сдвиги в направлении формального закрепления отыменного и отглагольного словообразования и дифференциации этих процессов благодаря более узкой специализации простых аффиксов или создания сложных (составных, фузионных) аффиксов. Такие процессы в сфере глагола свойственны не только тюркским языкам, но и другим алтайским, и даже — шире — урало-алтайским языкам, что отмечалось многими исследователями [17].

«Отношения орудия, предмета действия и пр. составляют преобладающие значения основ глаголообразования» [18]. Именно такие характерные смыслы, как «действовать чем-либо», «заниматься чем-либо», «применять что-либо», «использовать что-либо», «добиваться при помощи чего-либо», «являть что-либо», «быть чем-либо» и т. п., требуют в тюркских языках использования специальных деривационных морфем для своего выражения. В передаче многих указанных значений использовался и аффикс -а. Общим абстрактно-грамматическим значением, которое определяется в конечном итоге сущностью глагола, было в данном случае указание на динамическую природу явления, его процессный характер, ибо здесь всегда «выражается процесс, характеристика которого присоединяется к лексическому значению слова, поддающемуся выражению процесса» [19]. Представление о процессе, динамическом признаке связано с представлением о временной протяженности какого-либо явления, его длительности, типичности, множественности проявления. На этой основе можно попытаться реконструировать и более частное конкретное значение глаголообразующего форманта -а, которое, вероятно, будет также связано с наиболее

[15] Подробнее об этом см.: Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М., 1974 (далее — СЭСТЯ), с. 26—45.

[16] Сев. АГ, с. 419.

[17] См.: Г. Рамстедт. Введение, с. 218—219; В. Л. Котвич. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, с. 46—64; Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974, с. 330—335.

[18] Сев. АГ, с. 547.

[19] И. И. Мещанинов. Глагол. М.—Л., 1948, с. 180.

общим значением данной модели словообразования — процессуальным признаком, накладывающимся на семантику конкретного предметного имени. Таким частным значением могло быть значение «многократность», «повторяемость» [20]. Учитывая широкий семантический круг образуемых с помощью -а глаголов, можно было бы предположить, что его значением являлось только указание на глагольный характер производного слова, т. е. «признак глагольности». Однако от этого предположения следует отказаться по двум причинам. Во-первых, специальное обозначение глагола для тюркских языков, как уже указывалось, не является обязательным. Любой глагол, как непроизводный, так и производный, обладает признаком процессуальности, который органически входит в лексико-грамматическую природу этого разряда лексики. Тюркские языки, подчиняющиеся принципу экономии служебных элементов, используют деривационные показатели очень экономно. Г. Рамстедт отметил, что «имя может быть, так сказать, „конверсировано", т. е. применяться в роли глагола, и не будучи снабжено каким-либо особым окончанием» [21]. Во-вторых, соотношение «имя → производный глагол» семантически не одно-однозначно, поэтому значение глагола не есть значение имени + признак глагольности. Реализация словообразовательных значений здесь осуществляется через сложную систему смысловых трансформаций, конечным результатом которых является глагол с определенной семантической структурой, а не просто «оглаголенная» (только функционально) семантика имени с конкретным значением. Поэтому применение аффикса -а семантически обусловлено, и он реализует в данной словообразовательной модели свое деривационное значение; с формальной стороны наличие деривационного форманта -а сигнализирует об определенной модели, в которой может проявиться одно из словообразовательных значений.

Э. В. Севортян указывает для аффикса -а две функции: словообразовательную и грамматическую (выражение учащательности — интенсивности). «В глаголообразующем аффиксе -а- значение учащательности не получило значительного развития в эпоху, близкую к современной. Оно исчезло из тюркских языков вместе с потерей аффиксом -а- своей продуктивности» [22]. Б. А. Серебренников, рассматривая соотношение аналогичных значений у показателя -la, принимает, что деноминативный показатель -la восходит к многократному показателю -la [23]. Он восстанавливает семантическое развитие этого показателя от значения многократности

[20] Г. П. Мельников в одной из бесед с автором определил это значение очень удачно как «много-делание».

[21] Г. Рамстедт. Введение, с. 179.

[22] Сев. АГ, с. 229.

[23] Б. А. Серебренников. К истории суффикса деноминативных глаголов *-la* в тюркских языках. — СТ. 1972, № 5, с. 67.

11 Заказ № 1873

через ступень обозначения ослабленности действия к осмыслению его как чисто глаголообразовательного форманта, утратившего позднее в деноминативных образованиях свое собственное значение: здесь действует закономерность: «если какой-либо формант получает новое значение, то сфера его прежнего значения может сильно сузиться» [24]. Последнее объясняет, по мнению Б. А. Серебренникова, редкое использование показателя -la в качестве средства образования от глагольных основ многократных глаголов, форм учащательности.

Поскольку выше было указано, что семантический потенциал и функции аффикса -a и аффикса -la исторически совпадают, приведенные положения можно было бы распространить и на интересующий нас аффикс -a, т. е. принять вслед за Б. А. Серебренниковым направление его развития от формы многократности к показателю отыменного глагола вообще. В принципе такой путь развития аффикса -a подсказывается не только аналогией с аффиксом -la, но и картиной распределения его функций в сохранившихся почти во всех тюркских языках глаголах: многократных глаголов с -la — единицы на фоне всех случаев его словообразовательного использования. Однако, как нам представляется, при реконструкции значений этого аффикса следует учитывать ту особенность тюркских языков, которая выделяет их (а также и монгольские) среди прочих алтайских, — слабое развитие аффиксальных средств выражения СД глагола. Эта тенденция для тюркских языков не нова. Напротив, как свидетельствуют факты использования непродуктивного (точнее — мертвого) аффикса -a, и в древнейшей истории тюркских языков выражение многократного СД аффиксально не было широко развитым.

По мнению Э. В. Севортяна, этот аффикс потерял продуктивность уже ко времени первых письменных тюркских памятников [25]. Учитывая общетюркский характер образований с -a и их семантический спектр, можно заключить, что формант -a является древнейшим общетюркским показателем и что его функционирование относится к периоду праязыкового состояния, т. е. его можно рассматривать как праязыковой формант, частным грамматическим значением которого было значение «многократность» ~ «повторяемость» ~ «обычность» и, как вариант, «учащательность». Все эти значения процессны по своему содержанию, поэтому не удивительно, что аффикс -a связан функционально преимущественно с глаголом. При присоединении его к определенным типам имен, «поддающихся» (Мещанинов) приписыванию им глагольных признаков, происходило совмещение их семного содержания с значением «многократность» у аффикса -a, в результате чего образовывались глаголы от имен со своим особым семанти-

[24] Там же, с. 66

[25] Сев. АГ, с. 203, 221, 230.

ческим содержанием, которое только детерминировалось значением имени. Присоединение аффикса -а к глаголу, который по своей природе уже обозначает процесс, позволяло реализовать также значение «многократность», причем более явно, чем в первом случае, возникает глагол с многократным (либо учащательным) значением, однако и в данном случае происходит трансформация лексического значения, и производный глагол в этом плане не тождествен полностью глаголу производящему; мера их различия определяется каждый раз индивидуально на основе взаимодействия лексических значений основы и значений аффикса -а.

Если принять предлагаемую картину функционирования аффикса -а, то отпадает необходимость искать направление развития этого форманта на тюркском праязыковом уровне. Таким образом, его статус будет характеризоваться следующим образом: в тюркском праязыке в сфере глагола (т. е. выражения процессных, динамических признаков) имелся деривационный формант -а со значением «многократность», который выступал в деноминативных дериватах и в отглагольных, подчеркивая в последнем случае специально многократность, повторяемость, а также учащательность и интенсивность глагольного действия, т. е. он использовался здесь как показатель многократно-учащательного СД (итератив или мультипликатив). Иначе говоря, в сфере глаголообразования использовался не показатель многократного действия глагола, а формант, который и в том, и в другом (т. е. СД) случаях реализовал о д н о и т о ж е с в о е з н а ч е н и е «многократность», и тем самым «многократный» аффикс не приобретал н о в о й функции глаголообразования, а выполнял ее уже в праязыке. Следовательно, возникновение указанных функций относится к более раннему состоянию языка, возможно прототюркскому или еще более раннему, когда возникла необходимость формально закрепить данный деривационный процесс. Тогда низкую частотность проявления многократного значения у глаголов на -а можно легко объяснить неразвитостью использования аффиксальных средств выражения СД в тюркских языках, причины которой коренятся, видимо, в особенностях их грамматического строя и не получили пока удовлетворительного объяснения в традиционной тюркологии. Низкая частотность говорит, вероятно, не о потере аффиксом -а функции выражения многократного СД, а отражает общетюркскую тенденцию, которая проявляла себя уже и в период активного функционирования этого аффикса и, следовательно, связана также с самыми ранними этапами развития тюркских языков (вплоть до прототюркского).

С предлагаемых позиций появляется возможность по-иному рассмотреть функцию форманта -а, выступающего в других глагольных образованиях, помимо упомянутых. Одним из сложных и спорных вопросов в тюркологии и в алтаистике в целом является

вопрос о тождестве грамматических формантов, особенно тех, которые синхронно воспринимаются как омонимичные [26]. Часто это связывается со стремлением реконструировать полнозначное (или служебное) слово и только через него этимологически идентифицировать омоморфемы. Более сложным является непосредственное восстановление первичного значения морфемы и установление способов его реализации в различных грамматических категориях.

Конечно, семантическое сходство ряда синхронно функционирующих показателей не может быть прямым доказательством их генетической тождественности [27]. Однако если каждый из случаев их употребления может быть интерпретирован как конкретное проявление общего значения, вопрос о единстве данных морфем приобретает реальные основания.

Прежде всего следует рассмотреть сложный аффикс -aγan, в составе которого вычленяются форманты -a- и -γan. Этот аффикс употребляется в ряде современных тюркских языков [28]: в каракалпакском, ногайском (чаще в караногайском диалекте), в кумыкском он образует причастия настоящего или настоящего-будущего времени со значением обычного, привычного, постоянно совершающегося действия, например: к.-калп. *қашаған бийе* 'норовистая кобыла', 'тот, кто так и норовит убежать' (*қаш-* 'бегать, убегать'), *береген қолым алаған* 'дающая рука и брать любит', *береген* 'дающий постоянно ' (*бер-* 'давать', *ал-* 'брать'), *көреген* 'зоркий, наблюдательный' (*көр-* 'видеть'), *табаған* 'находчивый, удачливый' (*тап-* 'находить, приобретать'); ног. *келеген* 'постоянно приходящий' (*кел-* 'приходить'), *ятаган ер* 'место, на котором постоянно (обычно) лежат' (*ят-* 'лежать'); кумык. *тюз юрюйген сагъат* 'часы, которые ходят верно' (*юрю-* 'ходить'), *эсинден чыкъмайгъан* 'незабываемый, незабвенный' (*чыкъ-* 'выходить'), *паровоз къурагъан завод* 'паровозостроительный завод' (*къур-* 'строить'); в чувашском языке аффикс выступает в форме *-акан* ~ *-екан*, создавая причастия настоящего времени также со значением незаконченного, продолжающегося действия с оттенком его обычности, например: *пурӑнакан ҫурт* 'жилой дом' (*пурӑн-* 'жить'), *пӗлекен ҫын* 'знакомый человек' (*пӗл-* 'знать'); в нижнечулымском диалекте чулымско-тюркского языка отмечены единичные случаи употребления причастия настоящего-будущего времени на *-aγан*; в узбекском языке имеются отдельные субстантивированные или адъективированные образования с непродуктивным аффиксом *-ағон* со значением типично проявляемого действия-свойства — *билағон* 'знающий, зна-

[26] См., например: Г. Джураева. Об омонимичных аффиксах в узбекском языке. — СТ. 1975, № 1 с. 12—18.

[27] Б. А. Серебренников. Из истории звуков и форм тюркских языков. — СТ. 1974, № 6, с. 9.

[28] Сведения и примеры здесь и далее почерпнуты из грамматик и словарей тюркских и других алтайских языков.

ток' (*бил-* 'знать'), *топаған* 'находчивый, смекалистый' (*топ-* 'находить'), *олаған* 'обладающий хорошей хваткой (о собаке)', 'хапуга' (*ол-* 'брать'), *кулаған* 'смешливый, хохотун' (*кул-* 'смеяться'); в языке желтых уйгуров употребляется аффикс причастия настоящего времени *-оған* ~ *-уған* (Э. Р. Тенишев) — *аққуған су* 'текущая вода'. Образования с аффиксом -aγan известны в словаре Махмуда Кашгарского (XI в.), в сочинении Ибн Муханны (XIV в.), в памятниках староузбекского языка; их значения сходны с указанными выше, только Ибн Муханна подчеркивает интенсивно-учащательный характер совершаемого действия: «если же снабдить последнюю букву [глагольного корня] . . . полнозвучной фатхой... то это [будет служить] к усилению [этой формы], напр., 'берущий' — آلغان» [29].

П. М. Мелиоранский предложил интерпретировать показатель -aγan как интенсивную форму причастия на -γan, где показателем интенсивного значения выступает -a-, распространяющий исходную производящую основу глагола: «в турецком языке была и отчасти есть возможность образовывать от глагольных корней ряд „интенсивных" или „потентативных" [30] основ путем прибавления к корню в некоторых диалектах узкого, а в других широкого гласного звука» [31].

Таким образом, с точки зрения П. М. Мелиоранского, с помощью аффикса -a образуется новая основа глагола с интенсивно-учащательным значением, причастная форма от которой имеет значение интенсивно и активно проявляющегося в данный момент действия. Этимология, предложенная Мелиоранским, принята ныне рядом тюркологов. Как интенсивную форму на -a от исходного глагола + -γan рассматривают данное образование и А. Н. Кононов [32], а также К. Г. Менгес для каракалпакского [33], А. М. Щербак для староузбекского языка и языка восточнотуркестанских текстов X—XIII вв. [34]. М. Рясянен, не определяя специально се-

---

[29] П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900, с. 017.

[30] В данном случае речь должна идти, видимо, о другом омонимичном аффиксе -a — показателе возможности, который возводится к не сохранившемуся в современных тюркских языках глаголу u- 'мочь'; сложный аффикс -a + ma- (глагольное отрицание) < u- + ma- функционирует в турецком языке — см.: А. Н. Кононов. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956, с. 191.

[31] П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке, с. LXIV.

[32] См.: А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, с. 156.

[33] PhTF. I, с. 475.

[34] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 149; он же. Грамматический очерк языка тюркских текстов X—XIII вв. из Восточного Туркестана. М.—Л., 1961, с. 138.

мантики показателя -a (∼-i ∼-u), ссылается на мнения П. М. Мелиоранского и В. Л. Котвича о его интенсивном характере [35].

Н. К. Дмитриев, признавая за элементом -а- в кумык. *-агъан* некую «специальную функцию», не соглашается с П. М. Мелиоранским в вопросе распространения глагольных корней «интенсивной» формой на -а и предлагает сопоставить его с *-а-* в форме причастия будущего времени *-а-* + *-жакъ* [36].

Однако есть и иная этимология аффикса -aγan, которая предложена Н. А. Баскаковым: он рассматривает -а- как показатель деепричастия и весь показатель -aγan как результат стяжения аналитической формы -a + tur-γan, т. е. причастие на -γan от вспомогательного глагола tur- 'стоять' [37]. Действительно, в ряде тюркских языков отмечены данная аналитическая форма или восходящий к ней показатель -adïγan ∼ -atan ∼ -atïn, которые выражают совершающееся в данный момент длительное действие. Н. А. Баскаков выстраивает все эти формы в один ряд: -a + tur-γan > -a-tur-γan > -a-(tur)-γan/-a-t(ur → a)-γan/-a-tu(r)-γan > -aγan/-a-ta-γan/-atu-γun/-a-tï-γan > -a-tïn. Различный фонетический облик данных показателей в тюркских языках зависит, с его точки зрения, от своеобразия развития единой исходной формы -a + turγan. В основе последней лежит, как это видно, аналитическая форма длительного способа глагольного действия, типичная не только для тюркских, но и для других алтайских языков [38]. Грамматикализация компонентов аналитической формы СД и возникновение на базе этого синтетического показателя — явление, свойственное алтайским языкам, поэтому путь развития -a + turγan > > -adïγan/-ataγan/-atïn, предлагаемый Н. А. Баскаковым, правомерен. С помощью этих формантов образуются причастия настоящего длительного времени, которые могут выступать и в качестве сказуемых. Обращает на себя внимание тот факт, что в указанных аффиксах сохраняется реликт вспомогательного глагола tur- 'стоять' в виде -t- (ср. в связи с этим эволюцию показателя 3-го лица в глагольных формах: turur > -tur > -tï/-dï > -t) и кроме того рефлекс в некоторых языках узкого гласного (ср. к.-калп. -atïn). В то же время аффикс -aγan отмечен начиная с памятников тюркской письменности XI в. только в данном фонетическом облике, причем он сохраняется и в современных языках, где имеются упоминавшиеся аффиксы причастия или спрягаемой формы настоящего времени с -t- (в языках ногайском, каракалпакском, кумык-

[35] M. Räsänen. Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. — StO. 21. 1957, c. 152—153.

[36] Н. К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.—Л., 1940, с. 156—157.

[37] См.: Н. А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты. М.—Л., 1940, с. 111—112; он же. Каракалпакский язык. II. Ч. 1. М., 1952, с. 431.

[38] См.: Д. М. Насилов. Формы выражения способов глагольного действия, с. 126—127, 157, 160.

ском, чувашском). Имяобразующие функции этого показателя в азербайджанском и других тюркских языках подробно описаны Э. В. Севортяном [39].

Особенностью этой формы является также отмеченная в некоторых языках ущербная морфология: в чувашском, ногайском, каракалпакском языках она не имеет отрицательной формы с -ma- и по преимуществу выступает в атрибутивной функции. В кумыкском языке есть полная парадигма спряжения формы на -aɣan. П. М. Мелиоранский объясняет это морфологическим переразложением и опрощением показателя: «. . . надо предположить, что у кумыков сознание существования „интенсивной“ основы на *-а*, *-ä* утрачено и произошло уже неправильное отделение суффикса от корня, а именно, например, *jаз + аған* вм. *jаз + а + ған*, откуда и получился новый суффикс *-аған*, *-äгäн*» [40].

Интересно отметить также и тот факт, что в хакасском языке только от двух глаголов *пар-* 'идти', *кел-* 'приходить' причастие настоящего времени образуется с помощью показателя *-иған*/*-иген*: *париған кізі* 'идущий человек' [41], от прочих глаголов используются аффиксы, восходящие к аналитическим формам *-а* + *-четкен*, *-а* + *-дірген*, *-а* + *-одырған*, *-а* + *-турған*. Причастие на *-иған* также имеет только положительную форму. Два указанных глагола отличаются в этом языке аномалией и в образовании формы настоящего времени. Она образуется с помощью аффикса *-ир*: *пар-ир* 'он идет', *кил-ир* 'он приходит'; от прочих глаголов это время продуцируется сложным аффиксом *-а* + *-дыр*/*-дір*.

Наконец, некоторые тюркологи считают, что показатель причастия -ɣan присоединяется к форме деепричастия настоящего времени на -a или показателю настоящего времени на -a [42].

Итак, форма на -aɣan характеризуется рядом обращающих на себя внимание особенностей. Отметим следующие: а) ареал распространения ее ограничен (как живая форма только в части кыпчакских языков, в других языках как раритет [43]); б) форма фиксируется в письменных памятниках начиная с XI в.; здесь примечателен тот факт, что средневековые филологи указывают ее «интенсивно-длительное значение»; в) в современных тюркских

---

[39] Э. В. Севортян. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966 (далее — Сев. АИС), с. 319—322.

[40] П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке, с. LXIV, примеч. 2.

[41] Грамматика хакасского языка. М., 1975 с. 232.

[42] См.: В. Г. Егоров. Глагол. — Материалы по грамматике современного чувашского языка. Ч. 1. Морфология. Чебоксары. 1957, с. 216.

[43] Возможно, что в чувашском языке форма на *-акан* заимствована из кыпчакских языков (см.: В. Г Егоров. Глагол, с. 218—219; И. А. Андреев. Причастие в чувашском языке. Чебоксары. 1961, с. 127; Н. З. Гаджиева. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. М., 1975, с. 94—95).

языках (кроме кумыкского) форма на -aγan имеет обычно ущербную парадигму; г) в языках отмечаются синонимические образования разной степени семантической близости к ней, также передающие значение протекающего в данный момент действия или реализующегося постоянного признака-свойства; д) наличие в ряде тюркских языков субстантивированных слов с аффиксом -aγan.

Все эти факты свидетельствуют об особом статусе данной формы: в ней можно видеть весьма архаичное образование, состоящее из показателя «многократности» -a- и показателя отглагольного имени на -γan, а не новейшую стяженную форму, как это предполагает Н. А. Баскаков [44].

В. Котвич, вслед за Ж. Дени [45], обратил внимание на наличие и других параллельных аффиксов с -a и без -a [46]: -maq ~ -amaq, образующего отглагольные имена (тур. tut-a-mak 'ручка' < tut- 'держать'); -laq ~ -alaq (тур. topalak 'круглый'); -naq ~ -anaq (азерб. *сызанаг* 'прыщик' < *сыз-* 'просачиваться'); -raq ~ -araq (тур. tutaraq 'трут, фитиль'); -ǯaq ~ -aǯaq — показатель причастия будущего времени; -γač ~ -aγač (кирг. *көрөөгөч* 'зоркий' < < *көр-* 'видеть'). В этих аффиксах он отмечает -a, которое распространяет, возможно, производящую глагольную основу для выражения повторяющегося действия, семантика которого сказывается и в именных формах. Правда, некоторые из приведенных им аффиксов допускают иную членимость, например, -laq ~ -alaq может рассматриваться как именной показатель -(a)q, который присоединяется к отыменному глаголу на -la [47]; в -amaq, как это недавно предложил А. Н. Кононов, можно видеть масдарный аффикс -m с широким соединительным гласным -a- + аффикс уменьшительности -aq [48]. Тем не менее в части приводимых разными авторами примеров несомненно наличествует показатель -a, который выступает распространителем, или модификатором, исходных глагольных основ.

В. Котвич, признавая наличие в тюркских языках дуративного показателя -a (~ -ā), образующего вторичные («видоизмененные») глагольные основы, рассматривал -a в отыменных глаголах и -a в деепричастии настоящего времени как не связанные между собой форманты [49]. На связь интенсивно-дуративного -a и -a в указанном деепричастии обратил внимание Б. А. Серебренников,

---

[44] См.: В. Л. Котвич. Исследование, с. 359, примеч. 43.

[45] J. Deny. Grammaire de la langue turque (dialecte osmanlı), P., 1921, c. 563, 569, 581 и др.

[46] В. Л. Котвич. Исследование, с. 214—216.

[47] См.: Сев. АИС, с. 217—221.

[48] А. Н. Кононов. Актуальные тюркологические заметки. — СТ. 1975, № 2, с. 83.

[49] В. Л. Котвич. Исследование, с. 215.

допускающий путь развития форманта учащательности в показатель настоящего времени [50]. Если принять другую гипотезу Б. А. Серебренникова о возможности развития показателя учащательности в глаголообразующий аффикс (на примере аффикса -la — см. выше), то допустимо связать также и использование -a как словообразующего аффикса с другими упомянутыми функциями. Тем самым выстраивается целый ряд функций показателя -a в морфологической системе тюркских языков: образование отыменных глаголов, образование вторичных глагольных основ с учащательно-интенсивным значением, образование настоящего времени преимущественно со значением активно протекающего действия. Сюда же должно быть отнесено употребление -a в качестве показателя деепричастия сопутствующего действия, если признавать, что данная его функция отлична от использования в форме настоящего времени на -a, хотя некоторые тюркологи считают, что в основе последнего лежит именно деепричастный показатель [51].

Б. А. Серебренников рассматривает указанные выше значения тюркского аффикса -a как филиации значения собирательной множественности, полагая, что «возникновение новых значений совершается в рамках одного форматива» [52]. Поэтому исходным признается некое значение определенного типа множественности, которое реализуется первоначально преимущественно в сфере имен. Выше упоминалось, что в алтаистике не решен вопрос о соотношении именной и глагольной аффиксации и о переходе показателей одной категории в другую. Трудность исчезает, если признать, что формант -a, имея собственное грамматическое значение «многократность», реализует его в различных позициях, передавая определенные смысловые модификации производящей основы (и именной, и глагольной). Нетрудно видеть, что все приведенные случаи объединяет значение фреквентативности, или, употребляя термин Котвича, «дуративности».

Таким образом, образование глаголов от имен и образование глаголов с учащательно-интенсивным значением — суть две деривационные функции гомогенного показателя -a с общим значением «многократность»; эти функции дистрибутивно обусловлены и поэтому воспринимаются столь независимыми и несовместимыми друг с другом. В «Этимологическом словаре» Э. В. Севор-

---

[50] Б. А. Серебренников. Из истории звуков и форм, с. 12—13; см. также: Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974, с. 171—175.

[51] См., например: Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, с. 145—146; В. В. Решетов. Узбекский язык. — Языки народов СССР. Т. 2. Тюркские языки. М., 1966, с. 349.

[52] См.: Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования, с. 158—177. Ср.: А. М. Щербак. Очерки по сравнительной морфологии ю ркских языков (Имя). Л., 1977, с. 166.

тян неоднократно указывает на двоякое толкование образований с -а: либо как отыменных глаголов, либо как вторичных глаголов с учащательным значением, если удается восстановить первичный глагольно-именной омоморфный корень. Ср.: «*ере-* ~ *ери-* ['таять'] можно рассматривать как производный глагол от именной основы **ер* . . . или как вторичный глагол от **ер-* ~ **ир-*, наращенный показателем интенсивности или учащательности *-е-* ~ *-и-*» (СЭСТЯ, 290). С точки зрения глагольно-именного синкретизма в ранней истории тюркских языков, которую активно поддерживает Э. В. Севортян, именно указанная двойственность подтверждает единство деривационных значений показателя -а.

Среди примеров использования этого аффикса, отмеченных в памятниках древнетюркской письменности, можно указать на следующие образования, которые находят также корреспонденции и во многих современных тюркских языках (параллели см. в словарях Севортяна и Рясянена):

aγïna- 'биться, содрогаться' ~ aγna- 'то же' < aγïn- + -a < aγ- + + -ïn- + -a- < āγ- < *āŋ- 'опрокидываться' + гл. имя -ïn- + гл. аф. -a (СЭСТЯ, 69; RVEWT, 7);

amra- 'любить' < amïr < abïr 'мир, спокойствие' + гл. аф. -a, или < монг. *абрах* (СЭСТЯ, 59—60); отмеченная в манихейском гимне форма amïr- 'любить' [53] является результатом ложного членения формы причастия настоящего времени amrar < am(ï)ra- + -r;

aša- 'есть' < āš 'пища' + -a (СЭСТЯ, 211—212);

baša- 'делать надрезы' < baš 'рана' + -a;

boša- 'освобождаться' < boš 'свободный' + -a;

enä- 'метить, делать надрез' < en ~ in ~ im 'знак, метка' + -ä (СЭСТЯ, 277—278, 632—633);

esnä- 'дуть' < esin 'ветер' [*es- ~ *ös- 'дуть' + гл. им. -in] + -ä (СЭСТЯ, 533);

igä- 'точить' < *eg/*ek ~ *eg-/*ek- 'пилить, обтачивать' + -ä (СЭСТЯ, 327—328);

jalïna- 'пылать' < jalïn пламя [jal- 'воспламеняться' + гл. имя -ïn] + -a;

jelnä- 'набухать (о вымени)' < jelin 'вымя' + -ä;

jola- 'вести, сопровождать' < jol 'дорога' + -a;

küčä- 'принуждать' < küč 'сила, насилие' + -ä;

küzä- 'проводить осень' < küz 'осень' + -ä;

ojna- 'играть' < ojun 'игра' [*oj- 'играть' + гл. имя -un] + -a (СЭСТЯ, 436);

---

[53] См: W. B a n g, A. v. G a b a i n. Türkische Turfan-Texte. III. B., 1930, с. 12; ДТС, с. 41.

orna- 'размещать' < orun 'место' [*or- 'помещать' + гл. имя -un] + -a (СЭСТЯ, 478—479);

ota- 'зажигать' < ot ~ ōt 'огонь' + -a;

ota- 'лечить' < ot 'трава, зелье' + -a (СЭСТЯ, 482);

öčä- 'враждовать' < öč 'месть, гнев' + -ä (СЭСТЯ, 559);

önä- 'взмывать' < ön- ~ ȫn- 'подниматься' + -ä (СЭСТЯ, 532).

örtä- 'жечь, гореть' < ört 'огонь' [< *örüt < *ör- 'гореть' + гл. имя -üt (СЭСТЯ, 550—551)] + -ä;

qajna- 'кипеть, вариться'; 'кишеть' < qajïn- 'кипеть' + -a;

qana- 'кровоточить' < qan 'кровь' + -a;

qarša 'мерить пядью' < qarïš 'пядь' + -a;

qarta- 'бередить рану' < qart 'язва' + -a;

qata- 'присоединять' < qat 'слой' + -a ~ qat- 'смешивать' + -a;

qïna- 'делать ножны' < qïn 'ножны' + -a;

qïna- 'наказывать' < qïn 'наказание' ~ *qïn-'истязать' (ср. qïndur- 'терзаться', qïnïγ 'ревностный') + -a;

qora- 'терпеть убыток' < qor 'убыток, вред' + -a;

sïγta- 'плакать' < sïγït 'плач' [< *sïγ- ~ *sïγï- 'плакать' + + гл. имя -(ï)t] + -a (RVEWT, 415);

sïqa- 'гладить, проводить рукой' < sïq- 'давить' + -a;

suva- 'орошать, наводнять' < suv 'вода' + -a;

tara- 'рассеивать' < tar- 'распускать, разгонять' + -a;

ternä-'собирать' < terin 'сборище' [< ter-'собирать' + гл. имя -ïn] + -ä;

tölä-'окотиться (об овце)' < töl 'момент родов'; 'детеныш' + -ä (töl + -lä-? — RVEWT, 493);

tünä- 'ночевать' < tün 'ночь' + -ä;

ula- 'связывать, присоединять' < *ul 'связь' + -a (СЭСТЯ, 588);

una- 'соглашаться' < *on ~ *un 'благо, добро' + -a (СЭСТЯ, 597);

uza- 'тянуться, длиться' < *uz 'долгий, далекий' ~ *uz- 'удлиняться, протягиваться' + -a (СЭСТЯ, 571);

ülä-'делить, распределять' < *ül 'часть, доля' ~ *ül- 'делить' + -ä (СЭСТЯ, 629).

Примеры можно объединить в три группы.

Одну из них составляют образования от глагольных имен, производных от глаголов, которые самостоятельно функционируют начиная с исторического периода тюркских языков; например: jal- 'воспламеняться' (ДТС) > jal- + -ïn > jalïn 'пламя' > вторичный глагол jalïn + -a > jal(ï)na- 'пылать, воспламеняться' (ДТС). Значительное количество глаголов образовано от имен, которые в историческом периоде широко представлены в тюркских языках как непроизводные; например: boša- 'освобождаться' <

boš 'свободный' + -a. Третью группу составляют глаголы, производящие формы которых восстанавливаются только этимологически; например: ülä- 'делить, распределять' < *ül 'часть, доля' ~ ~ *ül- 'делить' + -ä. Сюда же, видимо, следует отнести те случаи, когда не удается пока установить производящую именную или глагольную основы, например: tuša- 'надевать путы' < *tul'a- (RVEWT, 501), хотя структурно форма tuša- предполагает возможность морфологического членения *tuš + -a; ср. tu- 'закрывать, преграждать' (ДТС); tuγ 'преграда, заслонка' (ДТС); tuzaq 'силок'; *туспа-* 'подвязывать' (РСл.). По-видимому, эти группы глаголов отражают хронологическую последовательность функционирования в тюркской грамматической системе аффикса -a как деривационного форматива, причем наиболее древним следует считать его использование в примерах третьего типа. Интенсивно-учащательное значение аффикса -a подтверждают лишь те образования, которые имеют параллель без этого форманта. Из приведенных выше примеров сюда относятся: igä- 'точить' — *eg-/*ek- 'пилить, обтачивать'; önä- 'взмывать' — ön-/ȫn- 'подниматься'; qajna- 'кипеть, кишеть' — qajïn- 'кипеть'; qata- 'присоединять' — qat- 'смешивать'; qïna- 'наказывать' — qïn- 'истязать'; sïqa- 'гладить' — sïq- 'давить'; tara- 'рассеивать' — tar- 'разгонять'; ülä- 'делить' — *ül- 'делить'; uza- 'длиться' — *uz- 'удлиняться'. Отдельные формы известны также из современных тюркских языков: узб. *бура-* 'крутить' < *бур-* 'поворачивать' (Сев. АГ, 230), *урна-* 'стараться' < *урин-* 'прилагать усилия' (там же); кирг. *саба-* 'бить, колотить' ~ узб. *сава-* 'сечь' — ср. алт. *сап-* 'бить, махать' (РСл.); узб. *сўра-* < *сўр-* 'спрашивать'.

Раннее затухание словообразовательной функции аффикса -a позволило шире использовать его в сфере формообразования в области глагольных временных форм, где этот аффикс сохраняет активность на протяжении всего обозримого периода развития тюркских языков прежде всего в качестве показателя общетюркского деепричастия на -a или форматива настоящего длящегося времени в определенном языковом ареале (в том числе в составе сложного аффикса -aγan и некоторых других).

Особым является вопрос о фонетическом облике данного показателя. Из тюркских языков только якутский отражает этот общетюркский показатель как долгий. Долгота представлена здесь и в живой глаголообразовательной модели (*ыараа-* 'тяжелеть' < < *ыар* 'тяжелый', *тууһаа-* 'солить' < *туус* 'соль'), и в омертвелых образованиях (*сабаа-* 'размахивать', *тутаа-* 'испытывать недостаток', *утаа-* 'опаздывать, медлить' — таких двусложных основ отмечено около 100) [54]. Учитывая, что значительное число якут-

[54] См.: А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков Л., 1970, с. 68—69; Л. Н. Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.—Л., 1954, с. 59—60, 126—128.

ских глаголов на *-аа* имеет общетюркские соответствия (ср. из приведенных выше примеров: aγïna- ~ як. *ааҥаа-* 'валяться, кататься'; aša- ~ як. *аhаа-* 'есть'; ojna- ~ як. *оонньоо-* 'играть'; tara- ~ як. *тараа-* 'расчесывать' и т. п.) и что функции аффикса *-аа* в якутском языке в сфере глаголообразования аналогичны рассмотренным, можно предположить первичную длительность этого аффикса. В. Котвич, касаясь данного вопроса, не пришел к однозначному выводу, допуская, что долгота возникла или по аналогии, или отражает развитие -ā < *-γa [55]. Возможно, что долготу аффикса -ā следует рассматривать на фоне других, составных глаголообразующих формантов, где отмечается длительность гласного (ср. также як. *-лаа*, *-таа*, *-саа*, *-рғаа*), и формообразующих аффиксов (ср. туркм. *-āп* — деепричастие, як. *-ааччы* — имя деятеля и т. п.). В значительной мере решение этого вопроса зависит также от признания того факта, что в тюркских языках могли существовать исторически аффиксы, состоящие из одного гласного. Как указывалось, Г. Рамстедт выражал сомнения по этому поводу. То же решение предполагается и на общеалтайском уровне.

Поскольку функционирование аффикса -а можно отнести к пра-(~прото-?)тюркскому уровню, необходимо обсудить возможность наличия параллелей в общеалтайском плане. Г. Рамстедт, рассматривая тюркский г л а г о л о о б р а з у ю щ и й аффикс -а, не находил к нему монгольских и тунгусо-маньчжурских параллелей [56]. Однако когда он приводил показатели формообразования глаголов, а также именные аффиксы, то отметил соответствия тюркскому -а и в других алтайских языках [57]. Глагольные формы на -а он рассматривал как причастия настоящего времени: в тюркских языках это известная деепричастная форма на -а; в монгольских языках форма на -а ~ -е или -ai̯ ~ -ei̯; в тунгусо-маньчжурских языках этот показатель как самостоятельный утратился и восстанавливается в сложных (инкорпорированных) глагольных формах типа ма. ǯaƒana- 'пойти, чтобы взять' < *ǯaƒ- 'брать' + *na- 'выходить'; в корейском -а ~ -е образует одну из употребительных глагольных форм [58]. Аффикс -ai̯ выделялся Г. Рамстедтом и в ряде монгольких имен типа arai̯ 'мало' (ср. монг. aran, тю. az 'мало'), в тунгусских и тюркских языках он должен был бы иметь варианты -а ~ -ä или исчезнуть [59]. Хотя с фонетической стороны все приведенные показатели вполне сопоставимы, Г. Рамстедт не идентифицировал их.

---

[55] См.: В. Л. К о т в и ч. Исследования, с. 217—218.

[56] Г. Р а м с т е д т. Введение, с. 178—179; Г. Р а м с т е д т. Глаголообразование, с. 77—79.

[57] Г. Р а м с т е д т. Введение, с. 108—112; 182—183.

[58] Там же, с. 108 и сл.

[59] Там же, с. 182 и сл.

С нашей точки зрения, эти аффиксы сопоставимы и семантически, поскольку и причастно-деепричастную функцию, и функцию отыменного глаголообразования и образования именных основ адъективного и наречного типа, и функцию образования вторичных глагольных основ интенсивно-учащательного значения можно интерпретировать как филиации единой деривационной функции показателя, имеющего обобщенное грамматическое значение «многократность» (в указанном выше понимании). Иными словами, показатель с этим значением может проявлять себя в одном языке или в группе языков в качестве формативов ряда морфологических образований, и поэтому нет прямой необходимости считать родственными только гомогенные его функции. Таким образом, если для аффиксов имеются удовлетворительные фонетически межъязыковые соответствия, которые подкрепляются семантическим единством их функций, то, видимо, можно признать, что мы имеем дело с межъязыковыми отражениями одного и того же форманта. Это заключение будет справедливым и для групп языков алтайской языковой общности, в данном случае — для исследуемого деривационного показателя -a, общеалтайский характер которого впервые установил Г. Рамстедт, правда не для всех случаев его функционального использования.

По мнению Г. Рамстедта, в монгольских языках отсутствует соответствующий аффикс отыменного глаголообразования в форме -a, если не думать, что -a < *-γa. В то же время для монгольского аффикса фактитива -γa он отмечал тюркский рефлекс в форме -qa ~ -qï ~ -q [60]. Этой же точки зрения придерживается в общем и Н. Поппе, который видит также отражение мо. -γa < алт. *-ga в тюркских сложных аффиксах -γaq, -γan [61]. Г. Рамстедт, а затем и В. Котвич [62] хорошим соответствием тю. -a в деепричастии считали мо. -a ~ -e/-ai̯ ~ -ei̯ в отглагольном имени или причастии настоящего времени (Nomen imperfecti), которое имеет также вариант аффикса -γa. Относительно этого варианта Г. Рамстедт указывал, что здесь «-g- ~ (-γ-) не имеет никакого историко-фонетического значения, потому что он возник между гласными как заполнитель зияния» [63]. Такого же мнения придерживается и Н. Поппе: общемо. -*γa есть результат развития общеалт. *-a, где -γ- выступает заполнителем зияния между гетеросиллабическими гласными (Hiatustilger), поэтому вариантом этого аффикса является также общемонг. -*γai̯ ~ -*gei̯ [64]. Г. Д. Санжеев, при-

---

[60] Г. Рамстедт. Глаголообразование, с. 10—16.

[61] N. Poppe. Über einige Verbalstammbildungssuffixe in den altaischen Sprachen. — Orientalia Suecana. Vol. 21 (1972). Uppsala, 1973, с. 127—128.

[62] В. Л. Котвич. Исследование, с. 302—306.

[63] Г. Рамстедт. Введение, с. 109.

[64] N. Poppe. Introduction to Mongolian Comparative Studies. — MSFOu. 110, 1955, с. 273.

водя точку зрения Г. Рамстедта, не высказывает своего отношения к устанавливаемым последним алтайским соответствиям [65]. Итак, этот монгольский показатель отражается в доклассическом монгольском (до XVII в.) -γai̯, кв.-письм. мо. -'*a* ~ -'ai̯, клас. мо. -γa и п.-мо. -γa, монг. -*аа* ~ -*гаа*, бур. -*аа* ~ -*гаа*, калм. -*а* ~ -*ә*. «Причастие настоящего времени несовершенное выражает в монгольском такое действие, которое протекало в недавнем прошлом, но не было завершено и из-за своей незавершенности рассматривается как продолжающееся в настоящем» [66]: *яваа* 'идущий, продолжающий идти' < *яв-* 'идти', *байгаа* 'сущий, продолжающий быть' < *бай-* 'быть'. Семантика длящегося признака-действия в этих образованиях примечательна.

В монгольских языках наличествует еще один показатель, имеющий форму -γa. Это показатель каузатива, или побудительного залога. Он отмечен во всех монгольских языках, но его активность и универсальность различны. В монгольском он предстает наряду с вариантом -*аа* как дополнительно распределенная форма вместе с другими показателями каузатива -*уул* и -*лга*, а в диалекте минхэ монгорского языка -*ғa* — единственный формант этого залога [67]. Как указывалось, Г. Рамстедт сопоставлял мо. -γa только с тю. -q (ср. др.-тю. jaq- 'зажигать', но jan- 'гореть'). Однако определенные семантические основания и фонетические соответствия позволяют, видимо, расширить круг сопоставлений и ввести в него рассматривавшийся выше слово- и формообразующий тюркский аффикс -а.

Детальный анализ алтайских показателей каузатива, осуществленный И. В. Кормушиным, показал, что «монгольские и тунгусо-маньчжурские праязыковые формы совпадают с двумя наиболее древними тюркскими; эти формы, следовательно, можно считать общеалтайскими: **-б/пу-* и **-к/га-*» [68]. Поэтому, по схеме И. В. Кормушина, монгольский показатель каузатива -*γa* и варианты -*ха*, -*аа* возводятся к праформе **-к(г)-*.

Примеры из монгольских языков: п.-мо. ǯobaγā- 'мучить' < ǯoba- 'мучиться — монг. *зовоо-*, бур. *зобоо-*, калм. *зова-*; п.-мо. deptege- 'промочить' < debte- 'промокнуть' — монг. *дэвтээ-*, бур. *дэбтээ-*, калм. *девтә-*; п.-мо. surγa- 'учить' < sur- 'учиться' — монг. *сурга-*, бур. һурга-, калм. *сурh-*, монгор. *сурғa-*; п.-мо. butaraγa- 'разбить' < butara- 'разбиваться' — монг. *бутарга-*, бур. *бутарга-*,

---

[65] Г. Д. Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол. М., 1963, с. 137.

[66] Б. Х. Тодаева. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и морфология. М., 1951, с. 138.

[67] См.: Б. Х. Тодаева. Монгорский язык. М., 1973, с. 98—100.

[68] И. В. Кормушин. Каузативные формы глагола в алтайских языках. — Очерки сравнительной морфологии алтайских языков, с. 87; он же. Категория каузатива в алтайских языках. АКД. Л., 1968, с. 12—13.

калм. *бутрγ*^{а}- 'мельчить' (RKW, 63); п.-мо. unaγa- 'валить' < una- 'валиться' — монг., бўр. *унага-*, калм. *унhа-*, дун. *унаға-*; п.-мо. cadxa- 'насытить' < cad- 'насытиться' — монг. *цатга-*, бур. *садха-*, калм. *цадх-*.

Есть и семантические основания сближения показателя каузативности с показателем интенсивности-учащательности, поскольку за ними скрыто выражение общего значения «множественность», в данном случае множественность участников ситуации (субъектов-объектов) и множественность действий-состояний. Эта семантическая универсалия отмечена как для алтайских, так и для других языков [69].

Таким образом, в пределах тюркских и монгольских языков можно сопоставить между собой аффиксы деепричастия (тюркские языки), причастия настоящего (монгольские языки), каузатива (монгольские языки) — показатели морфологических категорий — и аффиксы глаголообразования (отыменного и отглагольного в тюркских языках и отглагольного в монгольских языках) — показатели деривационные. Фонетически они представлены так: тю. -a ~ -ā — мо. -γa ~ -ā. Характерно, что в обоих случаях деривационные функции этих показателей оцениваются исследователями или как малопродуктивные, или даже как непродуктивные и архаичные, мертвые.

Интересные соответствия дают и тунгусо-маньчжурские языки. Г. Рамстедт также устанавливал прямое соответствие фактитивно-каузативного аффикса -γa в монгольском языке с эвенкийским *-га*, который выступает «как в качестве компонента различных окончаний, так и сам по себе» [70]; ср. *-вкāн*, *-вкāт*. В эвенкийском языке аффикс *-га* образует «переходные глаголы от непереходных», т. е. имеет то же фактитивно-каузативное значение [71], например: *татыгā-* 'учить' < *тат-* 'учиться'; *итиγā-* 'устроить' < < *ити-* 'устроиться'; *балдивгā-* 'вырастить' < *балдив-* 'быть выращенным'. По наблюдениям И. В. Кормушина, это непродуктивный аффикс, число образований с ним около двадцати [72]. Он обратил внимание на вполне закономерное явление: некоторые производные формы соотносятся с исходными как интенсивные; в его списке их отмечено пять — *каптакā-* 'раскатывать тесто' < < *капта-* 'сровнять' (аффикс *-кā-* принимается в качестве варианта

[69] См.: И. В. Кормушин. Категория каузатива, с. 12; Б. А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике, с. 171—177; он же. Исторические загадки глагольного аффикса -štyr- в тюркских языках. — СТ. 1975, № 3, с. 17—22; Л. З. Сова. Функции суффикса -isa- в языке зулу. — Africana. 8. Л., 1971, с. 127—150.

[70] Г. Рамстедт. Введение, с. 156—157; см. также: N. Poppe. Über einige Verbalstammbildungssuffixe, с. 124.

[71] О. А. Константинова. Эвенкийский язык. Фонетика, морфология. М.—Л., 1964, с. 161.

[72] И. В. Кормушин. Каузативные формы, с. 64—65 (список XIII).

-гā); *колтого-* 'расколоть' < *колто-* 'расколоть, ударить кулаком'; *пэсигэ-* 'разрубить' < ср. *пэхи-* 'разорваться'; *улūвкэ̄-* 'обкормить' < *улū-* 'кормить'; *хокого-* 'сломать, наломать сучья' < *хоко-* 'ломать'; сюда можно добавить: *капугā-* 'сломать, отломать' < *капу-* 'сломать'; *нэптэкэ̄-* 'расстелить' < *нэптэ-* 'развернуть'; *ūвга-* 'влезть' < *ū-* 'войти' (ЭРС, 74); *икэкэ̄-* 'повторять, подпевать' < *икэ̄-* 'петь' (ЭРС, 72); *каһиɣа-* 'рвать, раздирать' < *каси-* 'рвать' (ТМС, 382); *луптуга-* 'выдернуть, выкорчевать' < *лупту-* 'вытащить' (ТМС, 512); *мэјкэ̄-* 'покачиваться' < *мэј-* 'качаться' (ТМС, 564); *тырэ̄гэ-* 'побить' < *тырэ̄-* 'жать' (ЭРС, 171).

В эвенском языке в части основ с *-га* отмечается соответствие (ср.: эвен. *иргэ-* ~ *иргъ-* 'выкормить' < *ир-* 'зреть'; *кабък-* 'ломать' и др. — по ТМС); ряд подобных образований отмечается и в маньчжурском языке (показатель *-кя* ~ *-гя* ~ *-хя*): *алякя-* 'поджидать' < *аля-* 'ждать'; *тувакя-* 'присматривать' < *тува-* 'смотреть' [73]; в нанайском (*дегди-* 'сжечь', но *дегдэ-* '1. гореть, 2. жечься' — Бенцинг); в других тунгусо-маньчжурских языках кроме таких соответствий аффикс *-га* восстанавливается и в составе сложных аффиксов [74].

В тунгусо-маньчжурских языках аффикс *-га* отмечается также в словообразовательной функции отыменного глаголообразования. В эвенкийском языке, где *-га* четко выделяется во вторичных глагольных основах, он образует глаголы, передающие действие, связанное с предметом, который обозначен в имени, а также глаголы—названия процесса [75]. Например, *касаɣа-* 'преодолеть препятствие' — ср. нег., ороч., ульч., орок., нан. *кас* (изобр.) 'через, поперек' (ТМС, 382); *инūгэ-* 'перевязать вьюк' — *инū* 'вьюк' (Вас. ЭР, 172); *асагā-* 'махать крыльями' — ср. орок. *χаса* 'крыло' (ТМС, 54); *тэвӯгэ-* 'погрузить' — *тэвӯ* 'груз, кладь' (Вас. ЭР, 417). Следует обратить внимание на возможность двоякого толкования некоторых из приведенных выше примеров в эвенкийском языке — в качестве либо отыменных глаголов, либо вторичных глаголов, что и наблюдается в грамматических описаниях. Так, О. А. Константинова форму эвенк. *колтогō-* 'расплющить кулаком' рассматривает как отыменный глагол от *колто* 'кулак' [76], И. В. Кормушин трактует ее как вторичную глагольную основу от глагола *колто-* 'ударить кулаком' [77]. Действительно, в ряде случаев наблюдается глагольно-именной омоморфизм,

[73] О. П. Суник. Глагол в тунгусо-маньчжурских языках. М.—Л., 1962, с. 118.

[74] См.: И. В. Кормушин. Каузативные формы, с. 67—68; Г. Рамстедт. Введение, с. 157; N. Poppe. Über einige Verbalstammbildungssuffixe, с. 124.

[75] См.: О. А. Константинова. Эвенкийский язык, с. 200.

[76] Там же.

[77] И. В. Кормушин. Каузативные формы, с. 64.

12 Заказ № 1873

ср. еще эвенк. *итиɣā-* 'наладить' — *ити-* 'устроиться' ~ *ити* 'обычай, порядок'; *инӣгэ-* 'перевязать вьюк' — *инӣ-* 'вьючить' ~ *инӣ* 'вьюк'; эвенк. *икэ̄кэ̄-* 'подпевать' — *икэ̄-* 'петь' ~ эвен. *икэ̄* 'песня, мотив'; эвенк. *хэлэкэ-* 'остаться лишним' — *хэлэ-* 'остаться лишним', но *хэлэкэ* 'избыток, остаток'. Возможно, что здесь представлены образования, различные по своему происхождению, в том числе исторически производные и поэтому этимологически членимые на морфемы (тогда совпадение глагола и имени случайное) [78]. В некоторых глагольно-именных формах могут отражаться и более ранние этапы развития тунгусо-маньчжурских языков и в целом языков алтайских [79]. Однако в рамках развиваемой здесь гипотезы решение указанных вопросов представляется неактуальным, ибо независимо от этого мы имеем использование единого показателя в одной из присущих ему деривационных функций.

Если на данном этапе согласиться с фонетическими отождествлениями Г. Рамстедта, В. Котвича и Н. Поппе, предложенными ими для рассмотренных выше показателей в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, то можно сделать такие выводы. В трех группах алтайских языков представлены межъязыковые альтернанты аффикса, имеющего глаголообразующую функцию, как отыменную, так и отглагольную, или внутриглагольную. В результате первой возникают глаголы действия, как правило конкретного, содержание которого определяется семантикой основы. Во вторичных глагольных основах проявляется отчетливо значение учащательно-интенсивное, а также значение фактитива-каузатива; оба эти значения суть филиации общего значения «многократность». Своим значением учащательности и интенсивности действия данный аффикс соотносится с другими показателями СД данной семантики в конкретных алтайских языках, а также со всей системой СД, выражаемых в этих языках синтетически. Учитывая общие закономерности, а именно непродуктивность деривационной функции и значительную близость семантики во всех группах языков, можно считать анализируемый показатель одним из архаичных во всех алтайских языках, а также рассматривать его как реализацию общеалтайского архетипа. Признавая историческую продвинутость тюркских языков, можно объяснить и фонетический рефлекс его там в виде -а ~ -ā (вопрос о долготе спорный), в то время как в монгольских и тунгусо-маньчжурских его рефлексы закономерны как -γa ~ -γā ~ -ā. Общеалтайский прототип тогда следует представить в виде *-γa ~ *-γā $\leqslant$ *-kā (вопрос о долготе не решается). Требует

---

78 См.: О. П. Суник. Глагол, с. 96—104.

79 См.: А. М. Щербак. К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках. — ВЯ, 1975, № 5, с. 18—29.

уточнения и характеристика консонантного начала аффикса. С одной стороны, если принять добавочный характер сонанта-γ-, ядром этого аффикса остается широкий гласный -а (возможно, долгий -ā); с другой стороны, по реконструкциям Г. Рамстедта, В. Котвича, Н. Поппе, И. В. Кормушина допускается вариативность -γa ~ -ka (причем Кормушин считает носителем значения консонант -k(°)) и за первичную форму, видимо, берется вариант *-ka. Поэтому щелевую реализацию консонанта можно признать вторичной. В. И. Цинциус отметила, что «большинство щелевых тунгусо-маньчжурских языков при сравнительном рассмотрении выступают как соответствия смычным и аффрикатам, причем некоторые щелевые (например, γ в эвенкийском и эвенском языках) не приобрели еще фонологической значимости» [80]; последнее обстоятельство позволяет ей считать эти щелевые как бы новыми образованиями. Остается невыясненным вопрос, допустимо ли распространить указанную особенность тунгусо-маньчжурских языков на общеалтайское состояние [81]. Определение консонантного начала аффиксов требуется и при рассмотрении других показателей глагольного словообразования, которые описываются ниже.

С семантической стороны, очевидно, возможно общеалтайскому деривационному показателю *-γa ~ *-γā ⩽ *-ka (?) приписать функцию выражения учащательности действия (итеративный СД) для праязыкового состояния отдельных групп алтайских языков.

Тюркские языки знают также отражение глаголообразующего показателя и в виде -γa. «Морфологически и семантически основы глаголов на *-га-* не отличаются от основ глаголов с аффиксами *-а-*» [82]. Модель с -γa представлена весьма ограниченным числом образований. В работе Э. В. Севортяна их выявлено по разным языкам около тридцати. В узбекском литературном языке отмечено 25 глаголов с показателями *-га* ~ *-ға* ~ *-қа*, включая сюда и образования неясного происхождения, в которых эти показатели определяются только внешне (например, *шиға-* 'плотно набивать; стегать плетью' — *шиға* 'дружно, обильно'; *ишқа-* 'тереть').

Аффикс -γa ~ -ka в тюркских языках проявляет себя, с одной стороны, как отыменный глаголообразующий формант: др.-тю. esirkä- 'жалеть, сожалеть' — esiz 'скверный, злой'; др.-тю. erinčkä- 'проявлять жалость' < erinč 'несчастье'; alqa- 'благословлять, восхвалять' < *al 'добрый, хороший' + -qa или

[80] В. И. Цинциус. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949, с. 248.
[81] Ср.: В. М. Иллич-Свитыч. Алтайские гуттуральные: *k', *k, *g. — Этимология. 1964. М., 1965, с. 338—340.
[82] Сев. АГ, с. 240.

*al- + -qa (СЭСТЯ, 137); emgä- 'мучиться' < *em 'мучение, беспокойство' + -gä (СЭСТЯ, 273); elgä- 'сеять' < el 'рука' (СЭСТЯ, 262); qïrγa- 'ругать, клясть' < qïr 'злобный'; qarγa- 'ругать, бранить' < изобр. qar + -γa (Сев. АГ, 243); узб. *иска-* 'нюхать' < *ис* 'запах' (СЭСТЯ, 382); узб. *лойқа-* 'мутнеть' — *лой* 'глина, грязь' ~ *лойқа* 'муть, ил'. Следует отметить, что иногда аффикс -γa употребляется при тех же основах, что и аффикс -a [83].

Поскольку отыменная словообразовательная функция показателя -γa аналогична показателю -a, то естественно ожидать, что будут совпадать и их функции при образовании вторичных глагольных основ. Действительно, в тюркских языках отмечается использование -γa в интенсивно-учащательном значении [84]. Э. В. Севортян рассматривает 12 примеров. В древнетюркских языках встречаются отдельные примеры: ïrγa- 'раскачивать, трясти' < *ir- 'качать' ~ *ir (СЭСТЯ, 661), qurγa- 'высыхать' — qurï- 'сохнуть' (ср. Сев. АГ, 241, где qur рассматривается как именная основа); узб.: *булға-* 'пачкать, марать' — *була-* 'пачкать', *бурка-* 'запутывать, укутывать' < *бур-* 'повертывать'; *илға-* 'цеплять' (*кўз илғамас* 'необозримый') < *ил-* 'нацеплять'; *силка-* 'трясти, махать' — *сила-* 'гладить'; *тойға-* 'скользить' < *той-* 'скользить'; *тўнка-* 'сваливать вину на кого-либо' — *тöн-* 'вертеться' (РСл., 1249); *сурга-* 'волочить, тащить' < *сур-* 'двигать, передвигать'; *тарқал-* 'расходиться' — *тарал-* 'распространяться, разноситься' (ср. Сев. АГ, 245); *мингаш-* 'садиться вдвоем на лошадь' — *мин-* 'садиться верхом' (Сев. АГ, 245); *чайқа-* 'полоскать' < *чай-* 'полоскать'.

И в том, и в другом случае аффикс -γa ~ -ka непродуктивен, «форма на *-га* потеряла свою продуктивность в эпохи, засвидетельствованные письменными памятниками на тюркских языках» [85].

Э. В. Севортян разделяет взгляд «относительно генетического родства глаголообразующих форм *-а-* и *-га-*. . . так как он обоснован не только фонетически, но и морфологически, о чем свидетельствует материал тюркских языков» [86]. Этот вывод хорошо согласуется с общеалтайской картиной и предлагаемыми реконструкциями архетипа аффикса. Объем образований с -а значительно шире, чем с показателем *-га*, что свидетельствует о большей активности модели с -а в тюркских языках. Обычно -а рассматривается как дальнейшее фонетическое развитие -γa, следовательно, -а отражает более новый этап глаголообразования, чем модель

---

[83] Там же, с. 241—242.
[84] Там же, с. 243—247.
[85] Там же, с. 240.
[86] Там же.

с -γа. Данное положение подкрепляется также и количественным соотношением производных форм с указанными формантами.

Между тем рассмотрение формы -а как производной, вторичной по отношению к -γа не предрешает вопроса о значимом компоненте в составе показателя. Как указывалось выше, формант -а активен в тюркских языках в сфере формообразования. Выступают в составе глагольных форм и аффиксы, где можно обнаружить элемент -γа (-γа-n — причастие; -γai̭ — модально-временная форма; -γа-k — отглагольное имя и др.). Их анализ здесь не проводится, однако общую оценку соотношения тюркских -а и -γа + С можно дать, учитывая их полную функциональную нагрузку.

Таким образом, можно реконструировать деривационный показатель *-а в тюркских и, по-видимому, монгольских языках. Н. Поппе, как указывалось, предполагал существование общеалтайского отглагольного имени на *-а [87]. Для тунгусских языков показатель в такой форме реконструировать не удается, хотя, по Г. Рамстедту, подобные именные формы в них имеются. Эти деривационные форманты в приглагольном употреблении выступали в качестве показателей СД, связанных с семантикой активно проявляющегося действия-процесса, т. е. с интенсивностью и учащательностью.

Во всех группах языков восстанавливается показатель *-γа как общеалтайский праязыковой формант. Значит, мы склонны признать в общеалтайском две серии аффиксов — с гуттуральным началом и без него. Рассмотрение их соотношения следует переносить в плоскость автономных праязыковых реконструкций различной глубины. В тюркских языках -а есть закономерное отражение и пратю. *-а, и общеалт. *-а, а также может отражать пратю. *-γа, связанное с общеалт. *-γа. Вопрос о долготе гласного пока неясен.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

азерб. — азербайджанский
алт. — алтайский
бур. — бурятский
др.-тю. — древнетюркский
дун. — дунсянский
калм. — калмыцкий
караим. — караимский
кв.-письм. мо. — монгольский квадратной письменности
кирг. — киргизский
к.-калп. — каракалпакский
клас. мо. — монгольский классический
кумык. — кумыкский
ма. — маньчжурский
мо. — монгольские языки
монг. — монгольский
нан. — нанайский
нег. — негидальский
ног. — ногайский
орок. — орокский
ороч. — орочский
п.-мо. — монгольский старописьменный
тур. — турецкий
туркм. — туркменский

---

[87] См.: N. Poppe. Introduction to Mongolian Comparative Studies, с. 273.

тю. — тюркские языки
узб. — узбекский
уйг. — уйгурский
ульч. — ульчский
эвен. — эвенский
эвенк. — эвенкийский
як. — якутский

Вас. ЭР — Г. М. Василевич. Эвенкийско-русский словарь. М., 1958.

РСл. — В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 1—4. СПб., 1893—1911.

ТМС — Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. 1—2. Л., 1975—1977.

ЭРС — В. Д. Колесникова, О. А. Константинова. Эвенкийско-русский словарь. Л., 1960.

RKW — G. J. Ramstedt. Kalmükisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.

RVEWT — M. Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969.

С. Ю. Неклюдов

МИФОЛОГИЯ ТЮРКСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ
(Проблемы взаимосвязей)

Одним из важных аспектов изучения тюрко-монгольских культурных отношений являэтся проблема религиозно-мифологических и фольклорно-мифологических взаимосвязей. По материалам как древних письменных памятников, так и современных этнографических описаний параллели в этой области (сюжетные, тематические, лексические) самоочевидны и обильны. В немногочисленных опытах обобщающего рассмотрения [1] подобная мифологическая общность обычно принимается как данность и не является объектом исторической интерпретации. Сведения же об отдельных этапах или этнорегиональных фрагментах культурных (в том числе и религиозно-мифологических) отношений тюркского и монгольского этносов можно почерпнуть из различных специальных исследований. Зачастую выявляемые при этом параллели носят лингвистический характер: определяется принадлежность (точнее, возводимость) слов к общему лексическому фонду, их переход из языка в язык. Для нашей темы данный момент весьма существен, ибо помимо типологических, системных схождений между тюркской и монгольской мифологиями [2] их подобие строится на общности терминологического характера, на наборе одних и тех же теонимов (или мифонимов), за которыми стоят одинаковые или слегка модифицированные понятия. (На некоторых схождениях и различиях я остановлюсь ниже.) Часто направленность миграции мифологических терминов прослежива-

---

[1] Следует вспомнить прежде всего работы Г. Н. Потанина, посвященные центральноазиатскому фольклору (Г. Н. Потанин. Очерки северо-западной Монголии. Вып. 2—4. СПб., 1881—1883 и др.), а также Уно Харвы (U. Harva. Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Porvoo—Helsinki, 1938).

[2] Я отдаю себе отчет в том, что «монгольская», а тем более «тюркская» мифологии существуют лишь как исследовательский конструкт, продукт высокой степени обобщения.

ется с достаточной степенью точности, иногда она гипотетична, однако давно сложившаяся картина — «от тюрок к монголам» — обычно не вызывает сомнений. Может быть, в отдельных случаях здесь сказывается бо́льшая разработанность материала и как следствие — более глубокий филологический опыт у тюркологии, чем у монголистики, а также бо́льшая древность тюркских письменных памятников по сравнению с монгольскими. К тому же выявление исторической динамики религиозно-мифологических воззрений не сводится к сумме этимологий «базовой» мифологической лексики. Здесь мы имеем дело с процессом несравненно более причудливым.

О синтезирующих процессах или об изначальной синкретической общности должна идти речь? Древность существования мифологической системы в доступных исторической реконструкции формах совершенно несоизмерима с давностью гипотетических праязыковых общностей (на нашем материале, во всяком случае), а поэтому поиски «общеалтайского» мифологического ядра при нынешнем уровне знаний вряд ли реальны. Можно только предположить, что подобное ядро — если оно существовало — было основой для возникновения форм мифологической общности, складывающихся в процессе разновременных культурных трансмиссий, имевших различные причины, различный характер, различную интенсивность и длительность. На протяжении всего исторического периода тюрко-монгольские народы жили в Центральной Азии и Южной Сибири бок о бок, в отношениях теснейших политических и культурных контактов; чрезвычайно частыми были факты этноязыкового симбиоза, креолизации, вплоть до частичной или полной ассимиляции. Постоянно, уже «на глазах истории», в областях со смешанным населением возникали зоны тюрко-монгольского двуязычия — идеальная среда для культурной диффузии, которая в силу «сверхпроводимости» кочевой среды могла иметь не только локальный, но и общерегиональный резонанс, что максимально облегчалось значительным типологическим сходством центральноазиатских культур.

Однако это сходство не означает полного тождества. Наличие двух отличающихся этнокультурных зон, предположительно интерпретируемых как древнетюркская и древнемонгольская, прослеживается на археологическом материале еще для I тысячелетия до н. э. [3]. В дальнейшем динамика исторических процессов в развитии Тюркского каганата (а также его «наследников» — уйгуров и кыргызов), с одной стороны, и предшествующих монголоязычных степных государств — с другой, была несколько раз-

[3] В. В. Волков. Улангомский могильник и некоторые вопросы этнической истории Монголии. — Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор, 1974, с. 69—72.

личной, различалась и их культурная ориентация, обусловленная противоположной («западной» и «восточной») продвинутостью этнических связей и «тылов» [4].

С другой стороны, для мифологической системы продуктивно противопоставление «степных» (скотоводческих, связанных с раннефеодальными и феодальными государствами Центральной Азии) и «лесных» (охотничьих, в основном южносибирских, базирующихся на родо-племенной идеологии) культур [5], хотя, конечно, граница между ними во многих случаях остается довольно зыбкой, условной, а маргинальная зона — весьма широкой, особенно если учесть феномен их тесной историко-географической взаимосвязи, их взаимопереходность и наличие множества промежуточных форм общественно-экономического уклада. Исторический парадокс, легко, впрочем, объяснимый, состоит в том, что ранние формы «степной» мифологии отчасти восстановимы по письменным памятникам многовековой древности, а стадиально гораздо более архаическая «лесная» мифология зарегистрирована лишь в недавних этнографических записях (XIX—XX вв.). Кроме того, и мифология центральноазиатских кочевых народов по современным записям несравненно архаичнее, чем исторически предшествующая ей религиозная система средневековых тюрок и монголов, сохранившихся в живом бытовании лишь небольшими фрагментами (например, поклонение единому небесному божеству у хакасов и монгоров [6]). Естественно, любые старые мифологические традиции прочнее удерживались там, где было минимально (или отсутствовало) влияние мировых религий: у ойратов, бурят, саяно-алтайских тюрок, якутов. Кстати, тюрко-монгольские мифологические связи в этих случаях особенно очевидны. На северо-западе Центральной Азии, на Алтае они объясняются не только наследованием общего культурного фонда, но и особенно интенсивными этническими контактами. В якутской же мифологии, очевидно, имеется весьма древний монгольский слой, являющийся наследием той субстратной этнической среды, с которой столкнулись тюркоязычные предки якутов при своем продвижении на север [7]. Вообще, в силу того, что данный ареал не был включен в культурно-политические процессы Центральной Азии,

---

[4] Первобытная периферия классовых обществ до начала великих географических открытий. М., 1978, с. 113, 137.

[5] U. Harva. Die religiösen Vorstellungen, с. 16.

[6] Л. П. Потапов. Древнетюркские черты почитания Неба у саяно-алтайских народов. — Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978 (далее в тексте — Л. П. Потапов); D. Schröder. Zur Religion der Tujen des Sininggebietes (Kukunor). — «Anthropos». Vol. 48. Fasc. 1—2, 1953 (далее в тексте — Д. Шрёдер), с. 218—220.

[7] Н. К. Антонов. Материалы по исторической лексике якутского языка. Якутск, 1971 (далее в тексте — Н. К. Антонов), с. 165.

этот материал весьма важен для реконструкции ряда компонентов «лесной» мифологии тюркских и монгольских народов.

В своем нынешнем виде «степная» мифология стоит гораздо ближе к «лесной», чем к средневековым государственным культам. Наиболее простое, хотя и далеко не исчерпывающее объяснение этому заключается в следующем. По-видимому, истоки и «лесной» и «степной» мифологии едины, однако в условиях более устойчивого родо-племенного уклада таежных жителей она сохранялась относительно неизменной, в степи же при государственно-консолидационных процессах она получала мощный стимул для весьма специфического развития. Таковым была централизация племенных культов, возводимых в ранг государственной религии (позднее подобный опыт в точности повторили маньчжуры; по нему отчасти можно судить и о характере тех процессов, которые протекали много сотен лет назад в раннесредневековых центральноазиатских государствах); присутствовала, очевидно, и ориентация на религии соседних государств (иранскую, китайскую) — вплоть до непосредственного влияния. Однако идеологической основой несомненно оставалось архаическое мифологическое мировосприятие, а ритуальная практика складывалась на базе шаманской (или близкой к шаманской) обрядности.

Логически естественны и понятны трансформационные переходы между мифом о происхождении земли (в мифологическом мышлении отождествляемой с территорией «своей» этнической группы) и мифом о происхождении государства, между этногоническим и социогоническим сюжетами, между антропогоническими (и генеалогическими) преданиями и позднейшими «царскими родословными», хотя во всех этих случаях далеко не всегда происходит прямой эволюционный процесс, простое превращение одного в другое; чаще, очевидно, имеет место влияние определенных тематических моделей. Сложнее обстоит дело с возникновением образов единого небесного божества (скорее всего восходящего к довольно аморфной и инертной фигуре «небесного хозяина», известной архаической мифологии) и единого земного божества (у истоков которого, возможно, стоял древний образ хтонической матриархальной хозяйки). Оба они, как и специфический характер их «дуального» противостояния и сопряжения, являются продуктом уже довольно сложной мифологической сублимации. При этом небо и земля мыслятся и непосредственным проявлением данных богов, и местом их обитания, а конкретные уранические и хтонические образы формируются под обоюдным влиянием понятий о находящемся на небе или на земле боге и о самих деифицированных частях космоса.

Скорее всего, формы породившей их архаической мифологии при этом оттесняются на периферию и продолжают свое существо-

вание в русле фольклорных традиций и народных верований, испытывая, конечно, и постоянное воздействие государственной религии. После ее падения (либо при распаде государства, либо при вторжении более мощной и жизнеспособной религии — буддизма, ислама, христианства) они вновь активизируются; потесненный же со своих позиций и лишенный прежней социальной основы государственный шаманистский культ архаизируется, поглощается народной религией, и весь этот комплекс сначала противостоит новой религиозной системе, а затем адаптируется ею, вступает с нею в синтез. Практически именно с продуктом подобного синтеза мы и сталкиваемся в современных этнографических и фольклорных материалах — будь то мифологические предания или шаманские и другие обрядовые тексты.

Культурные процессы «в степи» были чувствительны и для «лесной» мифологии. История тюрко-монгольских племен южносибирской тайги неотделима от истории Центральной Азии. Менялись (иногда неоднократно) и местожительство, и уклад племен, вчерашние охотники становились скотоводами и, напротив, скотоводам иногда приходилось переходить к охотничьему быту. Территории центральноазиатских «кочевых монархий», как правило, включали и Южную Сибирь с ее населением. Повороты культурной истории Центральной Азии, вплоть до распространения буддизма, несомненно отражались и на эволюции «лесной» мифологии, хотя степень подобного влияния была несравнимо меньшей, чем в народной религии степных кочевников. Наконец, существенно, что центральноазиатские культуры осваивали и передавали южносибирским народам элементы индо-иранской мифологии, причем глубина подобных проникновений могла быть весьма значительной.

Если предположить, что государственные шаманистские культы в пору своего расцвета находились в фазе максимального удаления от древних мифологических истоков, то их последующее падение и архаизация, синтез с периферийными формами «народной религии» должны были снова сблизить их с мифологической архаикой, в том числе и с мифологией «лесных» народов.

* * *

Вернемся к тюрко-монгольским мифологическим связям. Средневековые религиозные системы у народов Центральной Азии реконструируются по письменным источникам для орхонских тюрок [8], с одной стороны, и с другой — для Великой мон-

[8] См. статью С. Г. Кляшторного в настоящем сборнике, где дается ее рассмотрение и приводится литература по данной теме (далее в тексте — С. Г. Кляшторный).

гольской империи, причем они обладают чрезвычайным сходством, вплоть до лексических совпадений (в передаче имен и мифологической номенклатуры). Можно даже поставить вопрос об их принципиальном тождестве, о несколько различных модификациях единой в своих основах системы (в этом смысле религиозно-мифологическая традиция обладала межэтническими и межъязыковыми качествами). Отсутствие языкового материала [9] не дает возможности рассмотреть более ранние этапы ее истории, однако даже те скудные сведения, которые сообщают китайские летописи о культуре тюрко- и монголоязычных народов Центральной Азии, позволяют предположить ее относительную неизменность. Не исключено, что сложилась она еще в эпоху хунну и довольно точно воспроизводилась во всех последующих государствах Центральной Азии вплоть до Монгольской империи. Межэтнические переходы, при общем сохранении стабильности данной системы, обеспечивали некоторое ее варьирование и постоянное обогащение.

Еще у хунну и ухуань китайские источники [10] отмечают почитание духов предков, неба, земли, солнца, луны, звезд. В мифологический пантеон киданей (IV—XII вв.) входят олицетворения основных космических начал — Неба и Земли (что прямо совпадает с мифологической системой и орхонских тюрок, и монголов империи Чингисхана; причем киданьское божество земли имело облик старой женщины). Они ниспосылали мир, помогали в критических ситуациях. Много места в государственной религии киданей (ритуалы при вступлении на престол императора, при мобилизации и пр.) занимало солнце; луна же в число ведущих богов не включалась. Существовал еще ряд богов (огня, войны, металла), неперсонифицированных и персонифицированных, имеющих различные воплощения (в том числе в тотемных животных: в белую лошадь, в оленя), и множество духов, в частности духов предков, которым покровительствовал грозный дух священ-

---

[9] Редкое исключение — возводимый еще к эпохе хунну (III в. до н. э. и даже раньше) важнейший тюрко-монгольский теоним *тенгри* [«небо», «обожествленное небо», «небесное божество»; см.: G. C l a u s o n. An Ethymological Dictionary of the Pre-Thirteenth-Century Turkish. Ox., 1972, (далее в тексте — Дж. Клосон), с. 523б; ср. также: Древнетюркский словарь. Л., 1969 (далее в тексте — ДТС), с. 544], отождествляемый с хуннуским термином *ченли* (Г. С у х б а а т а р. К вопросу об этногенезе монголов. — Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии, с. 276) и имеющий более широкие параллели (шумер. *дингир* «небо»).

[10] См.: Н. Я. Б и ч у р и н (И а к и н ф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.—Л., 1950, с. 49—50, 144; см. также специальное рассмотрение данных материалов: Г. С у х б а а т а р. Хунну. Улаанбаатар, 1980, гл. 3; о н ж е. Сяньби. Улаанбаатар, 1971, гл. 3; о религии киданей см.: K. W i t t f o g e l, F ê n g C h i a - s h ê n g. History of Chinese Society Liao (907—1125). Philadelphia, 1949, cap. 6.

ной Черной горы (здесь отражается связь духов предков с локальными духами-хозяевами). Рассказывается, что у горы Муе, дух которой также относился к числу высших богов, первопредок на белом коне повстречал небесную деву, едущую на телеге, запряженной сивой коровой. Восемь их сыновей впоследствии стали родоначальниками племени, а ездовые животные, очевидно имеющие тотемную природу, были посвящены этим первопредкам и приносились им в жертву. По преданию, именно белую лошадь и сивую корову жертвовали некоему духу по прозванию Найха, имевшему вид черепа и принимавшему вид человека только на время общения с людьми — также своеобразное отражение культа предков [11].

О раннем периоде развития собственно монгольской мифологии можно составить представление по некоторым памятникам монгольской письменности (прежде всего — по «Сокровенному сказанию», XIII в.), а также по записям посторонних наблюдателей: иранского историографа при дворе Хулагидов Рашид ад-Дина (XIV в.), европейских путешественников (Плано Карпини, Марко Поло, Гильома Рубрука, Джона Мандевиля), армянских (Киракос Гандзакеци, Гетум Армянский и др.) и китайских историков.

Традиционный для кочевников Центральной Азии тип мифологической системы здесь сохраняется. Наблюдатели сообщают о поклонении Небу — *тенгри* [в монгольских источниках оно именуется Синим (Köke) или Вечным (Möngke)] и Земле (Iroga, Itoga, Natigai, Etügen [12]). Вступительная формула документов монгольских канцелярий XIII—XIV вв. «Силой Вечного Неба. . .» свидетельствует, что именно небо было верховным божеством, хотя Марко Поло и Джон Мандевиль в качестве такового называют только землю, «всемогущего бога природы» (это противоречие пока не получило удовлетворительного объяснения). Эпитет «вечное» указывает на безначальность, несотворенность Неба, которое в космогенезе само олицетворяет исходный созидательный принцип, будучи творцом всего сущего, владыкой мира, чьим волеизъявлением оказывается судьба человека, кем санкционируется и государственная власть (средневековые наблюдатели — с позиции монотеистических религий — даже усматривали в нем единого «бога сущего», наподобие христианского) [13]. Этот мифологический образ, почти или совсем не персонифицированный, —

---

[11] Я не останавливаюсь здесь на характеристике древнетюркской мифологии, что сделано в статье С. Г. Кляшторного (с. 117—138).

[12] Относительно тюркских параллелей см. ниже.

[13] Здесь и далее в рассказе о монгольской мифологии я придерживаюсь в основном пионерской реконструкции Д. Банзарова [Черная вера, или шаманство у монголов. — Собрание сочинений. М., 1955 (далее в тексте — Д. Банзаров)].

одновременно и само небо, и небо как божество, и божество неба — является носителем мужского начала (Небо-отец, Tngri ečige), а земля (божество земли, земля как божество) — женского (Земля-матушка, Načigai eke, Etügen eke). Ее основное качество — производительность, с культом земли были связаны праздники возрождения природы (весенний) и плодородия (осенний), существовавшие у кочевых народов Центральной Азии еще с эпохи хунну.

Можно ограничиться краткой характеристикой этих двух центральных мифологических тем: уранической и хтонической,— к тому же особенно показательных для иллюстрации древнейших форм тюрко-монгольской мифологической общности. Для последующих эпох она выглядит гораздо менее рельефной, хотя ее отзвуки сохраняются еще довольно долго — например, в родословных преданиях, вплоть до Абу-л-Гази.

Исламизация большей части тюркских народов, окончательное принятие буддизма почти всеми монгольскими — все это определило достаточно резкое культурное размежевание, хотя, конечно, тщательный анализ фольклорных текстов и народных верований позволяет выявить значительное количество мифологических параллелей.

Как уже упоминалось, общее для средневековых тюрок и монголов представление о неперсонифицированном мужском божественном небесном начале, не тождественном материальному небу, распоряжающемся судьбами людей, в позднейший период сохраняется лишь у хакасов (бельтиров, качинцев) и у монгоров (у которых оно противопоставлено множеству всевозможных богов и духов), причем наблюдается даже совпадение космологической формулы «Синее небо, черная земля»: бельтир. *кöк тигир, хара чир* (Л. П. Потапов, с. 59) — монгор. kuǵuo tieṅgere, xara gadzier (Д. Шрёдер, с. 218). Иного рода монгольские соответствия обнаруживаются у персонифицированного светлого божества Тенгри-хана, поклонение которому отмечено в VII в. у западных тюрок (савиров). По всей видимости, его огромные размеры являются отражением космических масштабов небесного бога, как бы остающегося тождественным самому небу, в то время как титул «хан» указывает на главенствующее положение (во вселенной? в иерархической системе богов?). Наименование «Тенгри-хан» (Хан Тенгри) встречается в монгольских шаманских текстах [14]; титул «хан» обычен для различных поздних ипостасей образа Вечного неба (Qan Möngke tngri, Qan Kisaγa tngri, Qan Ataγa tngri и т. д.); их постоянным качеством является

[14] Rintchen. Matériaux pour l'étude du chamanisme mongol. Wiesbaden. T. 1, 1959; т. 2, 1961; т. 3, 1975 (далее в тексте — Ринчен); т. 1, с. 27, 71, 94; т. 2, с. 119; т. 3, с. 12, 26, 40.

наличие «огромного яшмового тела» [15], на тождественность небу указывает и такая характеристика, как «обладающий множеством туч и десятком тысяч глаз» (Н. Н. Поппе, с. 159). Однако оформившийся в рамках средневековых государственных культов Центральной Азии с их ураническим монотеизмом и пантеизмом несколько умозрительный образ *тенгри* так и не стал главой какого-либо пантеона. Хотя в позднейших преданиях название *тенгри* иногда прилагается к верховному небесному божеству, оно все же скорее обозначает бога вообще, фигурируя в этом качестве также в буддийских, манихейских, мусульманских текстах, параллельно формам *байат*, *уган*, позднее — *бурхан*, *аллах* (см.: Дж. Клосон, с. 385; ДТС, с. 607). Место же верховного бога в тюрко-монгольской шаманской мифологии занимают другие персонажи (Ульгень, Хормуста), а термин *тенгри* закрепляется за классом небесных богов в исторически последующих политеистических религиозных системах (прежде всего у монгольских народов).

Утратившая под натиском ламаизма значение государственной религии мифологическая система средневековых монголов в дальнейшем претерпевает значительные изменения. Представление о множественности *тенгри* и их пантеоне, однотипное шаманскому многобожию якутов, алтайцев, шорцев, тувинцев, прямо связано с концепцией неоднородности неба, обладающего множеством ярусов (вертикальная структура), областей (горизонтальная плоскость) и состояний (суточных, сезонных, погодных — особенно в бурятской мифологии). Так, по монгольским поверьям, *тенгри* обитают на семнадцати небесах, в тридцати трех царствах, каждое из которых имеет своего хана [16]. Если распределение *тенгри* по слоям (теологический тип, более характерный для тюркской мифологии) в принципе иерархично, то связь с различными областями неба у монгольских народов отражает соответственно качественной противопоставленности сторон мифологического пространства (в том числе и небесных направлений) дихотомию светлого и темного, благожелательного и демонического: ср. монгольское выражение «тенгри (небо) благой стороны» (*сайн зүгийн тэнгэр*) для доброго духа и «тенгри (небо) дурной стороны» (*муу зүгийн тэнгэр*) для злого гения [17]. Отзвуком ранней стадии развития подобных представлений, очевидно, является наличие в монгольских шаманских текстах «западного

---

[15] Н. Н. Поппе. Описание монгольских «шаманских» рукописей Института востоковедения. — ЗИВАН. Т. I. Л., 1932 (далее в тексте — Н. Н. Поппе), с. 158, 162.

[16] А. П. Беннигсен. Легенды и сказки Центральной Азии. СПб., 1912, с. 8—9.

[17] Монгольско-русский словарь. Под ред. А. Лувсандэндэва. М., 1957 (далее в тексте — А. Лувсандэндэв), с. 440а.

тенгри» [18], а также «северного (заднего) *тенгри*» и «южного (переднего) *тенгри*» в бурятской мифологии [19], чему на смену позднее приходит противопоставление светлых (*сагаан*) западных и темных (*хара*) восточных *тенгри*, на мотиве вражды которых построено много фольклорно-мифологических сюжетов. Упоминание темных (*хар*) и в особенности светлых (*цагаан*) *тенгри* встречается и в монгольских шаманских призываниях, однако там они не составляют контраста.

При описании множественности *тенгри* используются различные числовые характеристики, среди которых важнейшей является «девять» [«9 *тенгри*», «9 великих *тенгри*», «9 сульде-*тенгри*» монгольских шаманских призываний (Д. Банзаров, с. 76—81)] и производные от него, в первую очередь «девяносто девять». Этот образ — «99 *тенгри*» — является, очевидно, общим наследием «лесной» и «степной» мифологической систем; ее соотношение и, возможно, параллельное бытование с представлением о едином обожествленном небе (когда-то было актуальным) остается не вполне ясным [20]. Представление о «33 *тенгри*» во главе с Хормустой возникает в русле раннего буддийского влияния (не позднее XV в.) как слепок с мифологического образа Индры и его окружения; в этом процессе также сыграли важную роль тюрко-монгольские (точнее, уйгуро-монгольские) культурные контакты. В ламаистской мифологии 33 *тенгри* — это «8 главных» (ср. 8 хранителей стран света), «11 свирепых», «12 сыновей солнца», «2 юных» [21]. В шаманских призываниях они иногда продолжают осмысливаться как «33 духовных светлых *тенгри*» [22], причем эпитет «духовные» (*номтӧ*) прямо указывает на принадлежность к буддийскому вероучению. Хотя оба представления («99 *тенгри*» и «33 *тенгри*») конкурируют, есть тенденция к их синтезу: так, иногда Хормуста оказывается главой 99 *тенгри* или — в бурятской мифологии — 55 западных *тенгри*. Вообще же количественные характеристики (группы и классы *тенгри*) довольно разнообразны, например: «99 *тенгри* Инар» [квалифицируемых как «темные» (*хар*); их название Б. Я. Владимирцов (с. 23) сопоставляет с шорским *ынар* «марево»], «77 нижних *тенгри*» со своим владыкой

---

[18] W. Heissig. Die Religionen der Mongolei. — G. Tucci, W. Heissig. Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart, 1970 (далее в тексте — В. Хайсиг), с. 355.

[19] И. А. Манжигеев. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. М., 1978 (далее в тексте — И. А. Манжигеев), с. 18.

[20] L. Lörincz. Die mongolische Mythologie. — AOH. T. 27. Fasc. 1. Budapest, 1973, c. 107, 108, 110.

[21] О. Ковалевский. Буддийская космология. Казань, 1837, с. 69—70.

[22] Б. Я. Владимирцов. Этнолого-лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском районах. — Северная Монголия. Ч. 2. Л., 1927 (далее в тексте — Б. Я. Владимирцов), с. 22.

Вечно-белым *тенгри*, «99 *тенгри* сульде», «12 *тенгри*» и т. д. (Б. Я. Владимирцов, с. 23). Обычно эти числа не имеют никакого конкретного наполнения, многие *тенгри* упоминаются то как один персонаж, то как целая группа; «5 *тенгри* молнии», «7 *тенгри* грома», «5 *тенгри* входа», «*тенгри* 4-х углов», «*тенгри* 8 границ», «9 *тенгри* гнева» и т. д. (В. Хайсиг, с. 354). Наряду с этим монгольские шаманские призывания упоминают несколько десятков различных имен и прозвищ, представляющих собой персонификацию областей и метеорологических проявлений неба, звезд и созвездий, направлений и стран света, природных и сверхъестественных сил, человеческих чувств и страстей, отдельных частей жилища и пр.; именами *тенгри* прямо становятся эпитеты неба (Синее, Всесильное, Могучее и пр. [23]); наконец, *тенгри* превращается в собирательное наименование божества вообще и в пантеон втягиваются духи самого различного происхождения: духи огня, домашние духи, охотничье божество Манахан и т. д. Иногда *тенгриями* называются и индо-тибетские ламаистские божества, чаще именуемые бурханами: Бисман-*тенгри* (Вайшравана), Очирвани-*тенгри* (Ваджрапани) и др.

Итак, множественность наименований неба связана с его многоаспектной концептуализацией: небо как персонифицированное (хотя бы отчасти) или неперсонифицированное божество с выраженными созидательными функциями и небо как важнейшая часть вселенной, причем следует учитывать и космологический аспект (место в статической модели мира и внешние признаки: нахождение сверху, синева, близость и дальность) и космогонический (отношение — пассивное и активное — к процессу творения). Верховные *тенгри* часто характеризуются как демиурги — их называют «создателями всего» (Н. Н. Поппе, с. 162, 163, 169 и др.); ими (или по их соизволению) рождены Чингис, Хубилай и другие канонизированные в монгольском шаманстве государи; им же [прежде всего Хормусте, но также и Будде, либо тому и другому (Н. Н. Поппе, с. 163, 165)] приписывается порождение самих *тенгри*. В других вариантах участие верховного *тенгри* в возникновении других *тенгри* (и даже знание об этом событии) прямо отрицается (т. е. утверждается самостоятельность появления того или иного божества), иногда же говорится о происхождении *тенгри* от матери Этуген и моря (Н. Н. Поппе, с. 160; образ всепорождающей земли? мирового океана как всеобщего начала?). В согласии с этими мотивами стоит часто употребимый по отношению к *тенгри* и восходящий к буддийской (в частности, иконографической) традиции эпитет «самовозникший» (ebesüben egüdegsen, тиб. rang bzhin, санскр.

---

[23] W. Heissig. Ein innermongolischen Gebet zum ewigen Himmel. — ZAS. Bd 8. Wiesbaden, 1974, c. 541.

13 Заказ № 1873

svabhava), соответствующий идее нерукотворности иконы, являющейся манифестацией того или иного божества. Неперсонифицированность *тенгри*, возможно, понимается как неуловимость внешнего облика («возникшие, не показывая себя») или даже его аморфность («не имеющие рук и ног»; см.: Н. Н. Поппе, с. 162, 163, 165); в последнем случае — распространенный сказочный мотив (вариант «чудесного рождения»).

В различных определениях неба у средневековых монголов Д. Банзаров (с. 54) усматривал противоположность «материального» (Синее) и «духовного» (Вечное) существ; идея деификации выражалась прежде всего во втором эпитете, опять-таки содержащем и некоторый космогонический аспект (изначальность, несотворенность неба). Но в поздней культовой литературе оба определения свободно совмещаются, давая устойчивое сочетание. В бурятской мифологии наблюдается тенденция к семантико-фонетическому расподоблению термина *тенгри*: *тэнгэри* для видимого дневного неба и *тэнгри* для класса небесных богов (И. А. Манжигеев, с. 73).

Более четкое небо «физическое» противопоставлено небу как божественному началу в монгольских терминах *огторгуй* и *тенгри*, из которых второй может в принципе охватывать оба значения, а первый обозначает преимущественно небесный свод, воздушное пространство, атмосферу. Это *огторгуй* также наделяется эпитетом «синее», упоминается его «центр» и т. д. [Ринчен, 1, с. 27, 83; монгорский аналог — гёĝuo опять-таки «синее» (kuĝuo), «находящееся сверху» (Д. Шрёдер, с. 218); ср. калм. tengᵊrīn aɣār «лазурь, высший небесный слой над облаками» [24]. Особый случай — в бурятской мифологии, где *огторго* обозначает ночное небо (И. А. Манжигеев, с. 61), определяемое как «цветное» (т. е. все-таки «зримое», точнее, «видимое снизу», но наделяемое прозвищем «батюшка» [*баабай* (Ринчен, 2, с. 1, 9); значит, речь идет не только о материальной части космоса, но и о божестве, причем божестве мужском, даже, возможно, имеющем черты прародителя, — вспомним то же прозвище у тотемного первопредка булагатов Буха-нойона].

Другой аспект противопоставления *тенгри* и *огторгуй* — известное еще по ведийской традиции (Атхарваведа, VI, 120, 1) разделение надземной сферы на две области: на «небо» и «атмосферу». Эта вертикальная структура космоса в восточномонгольской традиции описывается следующим образом: «Алое шелковое воздушное пространство (*огторгуй*), желтая золотая земля, синее серебря-

---

[24] G. J. Ramstedt. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki, 1935 (далее в тексте — Г. Рамстедт), с. 392а.

[25] С. Ю. Неклюдов, Б. Л. Рифтин. Мифо-эпический каталог как жанр восточномонгольского фольклора. — П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. М., 1979, с. 107—108.

ное небо (*тенгри*)» [25], причем *огторгуй*, расположенное между небом и землей и состоящее из воздуха, ветра, пыли и пр., в верхней своей части является местом пребывания луны, солнце находится выше — на небе (*тенгри*), а звезды — еще выше. Здесь представление о «двусоставности» небесной сферы смыкается с представлением о многослойности неба. Уместно вспомнить алтайскую мифологию с ее расположением луны на шестом слое неба, а солнца — на седьмом и также два неба в поверьях сагайцев: высокое, недостижимое и невидимое (Кудай) и близкое, видимое (*öркö тигир*), с радугой и звездами, достижимое шаманом (Л. П. Потапов, с. 57).

С эмпирейным верхним небом связан хорошо известный сказочно-эпическому фольклору мотив обитаемого «небесными людьми» (духами, возможно, и душами умерших) Верхнего мира; он присутствовал, очевидно, еще в древнетюркской мифологии (ср. встречающееся в манихейских текстах выражение tängri jer «небесная земля»). Представление о многоярусности неба (как и земли) обстоятельно разрабатывается в тюрко-монгольской шаманской мифологии: есть поверья о трех, семи (якуты), девяти (якуты, хакасы, монголы), семнадцати (монголы), восемнадцати (тувинцы), сорока девяти (калмыки), тридцати трех (калмыки, алтайцы), девяносто девяти (монголы, алтайцы, шорцы) ярусах-*тенгри*, на которых располагается молния, различные цветовые части радуги, небесные светила, боги; верховному божеству чаще принадлежит самый верхний ярус, там же зачастую находится небесное царство, собственно Верхний мир (например, по шорским или калмыцким поверьям) [26].

Вернемся, однако, к активным, созидательным функциям неба, в связи с которыми уместно остановиться на двух монгольских теонимах: *дзол* и *дзаячи* и их тюркских соответствиях. Древнетюркское Йол-тенгри (из «Гадательной книги») фигурирует как прозвище двух божеств или духов (С. Г. Кляшторный, с. 134); оно несомненно аналогично имени монгольского божества Дзол-тенгри или Дзол-дзаячи. В шаманских призываниях Дзол-тенгри упоминается вскоре после Дзаячи-тенгри (Ринчен, 1, с. 34, 55; 3, с. 21), иногда — параллельно неким J̌arγuči-tngri «Судья-тенгри» (Н. Н. Поппе, с. 190) и J̌il-un tngri, J̌il-un qaγan tngri (Ринчен, 1, с. 34, 55, 86). Этот последний представляет собой довольно точное подобие якутскому Джылга-хаану, древнейшему божеству рока и распорядителю душ рождающихся

[26] Г. У. Эргис. Очерки по якутскому фольклору. М., 1974, с. 124—125; И. Д. Хлопина. Из мифологии и традиционных религиозных верований шорцев. — Этнография народов Алтая и Западной Сибири, с. 70; В. Радлов. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. 9. СПб., 1907, с. 83, 384; У. Э. Эрдниев. Калмыки. Историко-этнографические очерки. Элиста, 1970, с. 240.

детей [27]; возможно, он связан с тем же спектром значений. Таким образом, речь идет о группе божеств судьбы, к которым относится и Дзол-дзаячи, олицетворяющий личную судьбу, долю, причем именно счастливую судьбу (Д. Банзаров, с. 78—79, 81). Его называют «умножающим счастье» (Ринчен, 1, с. 34). Итак, божество имеет три наименования (J̌ol tngri, J̌ol nemegülügči tngri, J̌ol ǰayaγači), однако если первое («Счастье-тенгри») выглядит как прямая деификация исходного понятия, то во втором («Счастье умножающий тенгри») уровень его персонифицированности падает практически до нуля (внутри эпитетной причастной конструкции оно выступает лишь объектом процесса). Что же касается третьего наименования, то, хотя его можно понять как «[бог] Дзол (Счастье) [из более широкой категории божеств] дзаячи» (Д. Банзаров, с. 78—79), оно все же вероятнее сложилось не путем слияния двух теонимов, а в результате именного словообразования от уже имеющегося в языке парного сочетания *зол заяа* («счастье, доля») — разумеется, с опорой на мифологическую семантику обоих компонентов. Уместно напомнить, что название *дзаячи* фигурирует и в качестве имени отдельного персонажа— одного из основных верховных *тенгри*, божества судьбы, понимаемой как небесное волеизъявление (Дзаячи-тенгри; именно им открываются, как было сказано, перечни божеств судьбы в культовой поэзии). При этом Дзол выступает как домашнее божество, весьма почитаемый онгон; один из его эпитетов — «старенький» (Н. Н. Поппе, с. 190). Он охраняет стада и имущество, защищает от злых духов, печется о здоровье, дарует счастье.

В монгольских языках *дзол* (*зол*) и означает «счастье, удача, успех», в том числе — «удачное путешествие» [28]; ср. значение «путь» у древнетюркского *йол* (и у его вариантов в современных тюркских языках). Здесь сохраняется отзвук мифологического мотива наделения лучшей долей, участью (частью) — вообще функция созидательного (обычно небесного) начала. Вспомним распространенные сюжеты о распределении демиургом среди живых существ различной участи во времена первотворения, с одной стороны, и о ниспослании человеку божеством его «индивидуальной» судьбы, иногда, кроме того, понимаемой как «душа». Отмечу универсальный круг мифологических ассоциаций: душа — жизнь — судьба, символически воплощаемых в образах

[27] Н. А. Алексеев. Традиционные религиозные верования якутов в XIX—начале XX в. Новосибирск, 1975, с. 98.

[28] Г. Рамстедт, с. 475б; А. Лувсандэндэв, с. 197; Бурятско-русский словарь. Сост. К. М. Черемисов. М., 1973 (далее в тексте — К. М. Черемисов), с. 285б. В якутском это слово представлено двумя формами: *суол* «путь» (соотв. древнетюрк. jol) и *дьол* «счастье» (от монг. ǰol), см.: St. Kałużyński. Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache. Warszawa, 1961, с. 47.

«нити» и «пути», также взаимосвязанных (вспомним Ариаднину нить!) [29], и, кроме того, сходную метафору «пути» в манихейских и буддийских текстах.

Отсюда семантический синкретизм понятий *дзаяа(н)* — *дзаячи* [*заяа(н)*, ǰayaγa(n), ǰayaγači; ср. монг. ǰayaγaqu «создавать, предназначать судьбу, ниспосылать» (в том числе душу) [30]]. Во-первых, это «творец», «создатель» [бур. *заягша* (К. М. Черемисов, с. 254а; И. А. Манжигеев, с. 52), калм. *заягч* (*заягъч*), *заяһач* [31], *заяч* (Г. Рамстедт, с. 464а)]; во-вторых, «судьба», «доля», «рок» [монг., бур. *заяан*, калм. *заян* (А. Лувсандэндэв, с. 195б; К. М. Черемисов, с. 524а; Калмыцко-русский словарь, с. 243б); ср. калм. *заяч* «знаток судьбы» (Г. Рамстедт, с. 464а)]; в-третьих, «душа» [монг. ǰayaγa «ниспосланная небом душа» (Банзаров, с. 57); бур. *заяаши* — одна из душ, первая, «хорошая» душа человека [32]; ср. монг. ǰayaγači «разумная природа человека, противодействующая нравственной порче» (К. Ф. Голстунский, с. 3, с. 462а), что весьма походит на позднее осмысление той же «хорошей» души]. Наконец, в-четвертых, небесное божество, категория божеств или духов. В целом этот семантический спектр соответствует якутскому *айыы* [33], а также другим тюркским терминам (*йайаан*, *йайачы*, *йайаған*, *чайаан*, *чайачы*, *чайакчы*, *дьайачы*, *дьайык*, *жасауши*, *ижатчи* и др.), основное значение которых, однако, «творец», «создатель» (Н. К. Антонов, с. 127—130). Некоторая отодвинутость на задний план этой «ядерной» семантики у монгольских народов связана, очевидно, все же не с «забвением» исконного смысла в силу заимствования самого термина (Н. К. Антонов, с. 129) — методологически данная гипотеза недостаточно обоснована, — а с несколько иным типом монгольской мифологической системы.

---

[29] С. Ю. Неклюдов. Душа убиваемая и мстящая. — Труды по знаковым системам. 7. Тарту, 1975, с. 66; он же. О функционально-семантической природе знака в повествовательном фольклоре. — Семиотика и художественное творчество. М., 1977, с. 206—207, 219—221. Если «путь» есть метафора «счастливой жизни — судьбы», то злые духи в монгольской шаманской демонологии, выступающие в качестве призрака, наваждения, демонов бешенства и других враждебных человеку сил, сбивающих его с пути (в прямом и переносном смысле), улавливающих его душу, прямо именуются «препятствие, помеха, препон» (*зэдгэр*, *түйдгэр*, *тодгор*; ср. тувин. *четкер*, алтайск. *дьеткер*). Этим образам эквивалентны «путевые вредители», олицетворение губительных препятствий на пути героя.

[30] К. Ф. Голстунский. Монгольско-русский словарь. Т. 1—3. Л., 1938 (далее в тексте — К. Ф. Голстунский). Т. 3, с. 461 б.

[31] Калмыцко-русский словарь. Под ред. Б. Д. Муниева. М., 1977 (далее в тексте — Калмыцко-русский словарь), с. 243 а.

[32] М. Н. Хангалов. Собрание сочинений. Т. 1—3. Улан-Удэ, 1958—1960 (далее в тексте — М. Н. Хангалов): т. 1, с. 372; т. 3, с. 394.

[33] Э. К. Пекарский. Словарь якутского языка. Вып. 1. СПб., 1907, с. 47—49.

За вычетом ряда преданий (прежде всего бурятских), варьирующих общесибирские космогонические сюжеты (о разрастающейся щепотке песка или комке глины, принесенных демиургом или его помощником со дна мирового океана), тема творения в ней вообще занимает очень мало места, будучи представлена лишь отдельными мотивами, слабо соотнесенными между собой [например, изначальная слитность земли и неба, при разделении которых рождается огонь (Д. Банзаров, с. 75)]. Акцент переносится, если так можно выразиться, из филогенетического аспекта в онтогенетический, и демиург выступает, скажем, не столько творцом человека вообще, сколько подателем душ [«создателем зародышей» — бур. *заяан* (И. А. Манжигеев, с. 52)] для каждого отдельно взятого человека и животного, покровителем акта оплодотворения [бур. Заяан Сагаан-тэнгри (с. 53)]. Это соотношение аспектов удачно демонстрируется параллелизмом эпического мотива, согласно которому герой является сыном матери-земли и отца-неба [34] (своеобразное отражение архетипа космического брака), и мифологических представлений о формирующем земном и одухотворяющем небесном началах, о душах «небесной» и «телесной», «материнской» и «отцовской» [35].

Итак, идея небесного покровительства может выражаться и как «творение», и как «одухотворение» («одушевление» в самом прямом смысле этого слова), и как «устроительство государства», и как «наделение судьбой» [ср. две ипостаси древнетюркского Йол-тенгри (С. Г. Кляшторный, с. 136)]. Все эти функции проявляются либо в виде эманации неба, прямого ниспослания небесной энергии и воли, либо выступают в качестве определенного персонажа, манифестирующего подобные проявления. Сама собой напрашивающаяся аналогия — архаический культурный герой, часто выступающий посредником-медиатором, посланником или сыном неба (небесного божества). Однако рассмотренные персонажи, осуществляющие актуальное и повседневное посредничество «шаманского» типа и далекие от «устроительской» деятельности во времена первотворения, скорее всего являются плодом относительно позднего (в стадиальном плане) мифотворчества.

* * *

В монгольской шаманской мифологии образ единого земного божества в позднейший период оказывается размытым, хотя и со-

---

[34] Монголо-ойратский героический эпос. Пер., вступит. ст. и примеч. Б. Я. Владимирцова. Пг.—М., 1923, с. 218.

[35] B. Rintschen. Die Seele in den schamanistischen Vorstellungen der Mongolen. — «Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients, 5. Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Völker», hrsg. von G. Hazai, P. Zieme. B., 1974, с. 497—498.

хранившим свою женскую природу (его эпитет — «матерью ставшая» [36]). Осмысленная в категории мифологической множественности, земля, как и небо, представляется многослойной, причем кардинальной числовой характеристикой, традиционно выступающей в паре с 99 слоями неба, является 77 слоев земли (одна из реализаций мифологической оппозиции в е р х/н и з: в противопоставлении «верхних» и «нижних» *тенгри* также могут использоваться числа 99 и 77). В шаманских гимнах говорится о множестве духов—хозяев земли. Это владыки различных мест, прежде всего гор и водоемов. Если функции единого небесного божества передаются теперь верховному *тенгри* (обычно — Хормусте; см. Д. Б а н з а р о в, с. 60), главе небесных богов, то богиню земли отчасти вытесняет Цаган Эбуген (Белый старец) — персонаж более позднего происхождения (Н. Н. П о п п е, с. 187). Однако и термин *Этуген*, известный во множестве фонетических вариантов и обозначающий божество земли или обожествленную землю, все же сохраняется в этом качестве в культовых текстах. Его параллели — древнетюркское Отюкен, географическое обозначение центра каганата (гора, горный лес), и якутское *утүгэн* «пропасть, бездна, преисподняя, подземный мир» [37], место обитания демонических богатырей *абаасы* [38]. Таким образом, земля как женское космическое производительное начало концептуализируется весьма отчетливо; достаточно просты и разнонаправленные семантические переходы, с одной стороны, к центральной местности «своей» государственной территории (которая с мифологической точки зрения не отличается от земли, обитаемой человеком; центр часто осмысливается как гора, мифологически опять-таки могущая быть тождественной самой земле), а с другой — к образу преисподней как «чрева земли».

Близкой аналогией монгольской Этуген является древнетюркская Умай, также обладающая многими чертами богини-матери, что дает дополнительное обоснование для ее сопоставления с древнеиндийской Ума (Г. Р а м с т е д т, с. 285б), образ которой связан с архаическими представлениями о матриархальной богине данного типа. Само слово *умай* связано со значениями «послед», «детское место», «матка», «утроба». Для монгольских языков обычно сочетание «материнская утроба» (*эхин умай*), мифологич. «материнская золотая утроба» (бур. *эхэйн алтан умай*). Оно наряду с синонимичным *эхын алтан тооно* фигурирует в бурятском космологическом мифе о плавающих в первобытном океане мужском и женском началах, чье соединение дало толчок процессу космогенеза (И. А. М а н ж и г е е в, с. 21; М. Н. Х а н г а л о в, 3, с. 11,

[36] Б. Я. В л а д и м и р ц о в, с. 23.

[37] Якутско-русский словарь. Под ред. П. А. Слепцова. М., 1972, с. 458 б.

[38] И. В. П у х о в. Якутский героический эпос олонхо. Основные образы. М., 1962, с. 148.

403) — сюжет, не подтвержденный более широкими монгольскими параллелями. Однако как персонифицированное божество Умай в монгольской мифологии не присутствует.

Итак, необходимо отметить, что при общности терминов и параллелизме образов наблюдается значительное расхождение. Если монг. Этуген суммирует черты божества земного, женского и плодородящего [у тюрок же это слово может расшифровываться как «центр земли», «гора» (правда, только в качестве географического названия в орхонских текстах), у якутов — как «пропасть», «преисподняя»], то Умай не имеет непосредственной связи с землей, хотя косвенно соотносима с ней [39], а потому в древнетюркской мифологической системе место земного божества занимает еще один образ — *йер-су*, божество (или божества) священной «земли-воды» (С. Г. Кляшторный, с. 134), деифицированная ландшафтная сфера, обязательно связанная с горой (С. Г. Кляшторный, с. 134), божество Среднего, но не Нижнего мира (И. В. Стеблева, с. 216). Существенно, что гора, при всех своих хтонических признаках, все же заключает в себе идею центральной надземной вертикали, в пределе — достигающей неба (вершина мировой горы совмещается с небесным центром). В известном смысле с землей она соотносима так же, как воздушная сфера («атмосфера») с небом: в обоих случаях устанавливается промежуточное звено между абсолютными космическими «верхом» и «низом». При этом в русле государственной религии обожествленный ландшафт обретает этнополитическую атрибуцию, ср. кит. *цзяншань* «страна» (букв. «воды-горы»). Обратим внимание на параллелизм «земли» и «горы» в китайском и тюркском терминах — в связи с космогоническим тождеством того и другого и со специфической ориентацией «ландшафтного» культа на возвышенности (естественные и искусственные). Ср. в монгольском шаманском призывании следующий набор: «Земля-мать, Вечное небо, Святая-главная государь-гора, Госпожа-матушка [о реке Хатун-Гол (Н. Н. Поппе, с. 197)].

Эквивалентом тюркского *йер-су* будет монгольское *хан гадзар-усун* («Государь земля-вода»), образ, фигурирующий в шаманских призываниях в паре с Вечным небом параллельно Этуген: «Вечное небо, мать Этуген... Вечное небо, государь земля-вода» (Ринчен, 1, с. 5, 34, 54, 57). Показательно, что далее может отдельно упоминаться «Владыка земель и вод Белый старец» [или «владыки земель и вод и Белый старец»? (Ринчен, 3, с. 21)]. Это дает основания заключить, что при сходстве реализуемых здесь мифологических идей данные образы не тождественны друг другу

[39] И. В. Стеблева. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы. — Тюркологический сборник. 1972. М., 1973. (далее в тексте — И. В. Стеблева), с. 215—216.

и передают целый спектр оттенков мифологической семантики: земля как единое неперсонифицированное женское космическое начало (мать Этуген), земля как опять-таки единое неперсонифицированное, но ландшафтное и притом мужское божество (Государь земля-вода), земля как совокупность обожествленных «мест» (земель и вод) или как множество локальных хозяев (этих земель и вод), что с мифологической точки зрения почти одно и то же, и, наконец, более позднее персонифицированное ландшафтное божество, владеющее этими землями и водами и всем, что на земле находится (горы, растения, животные), или возглавляющее сонм локальных хозяев (в чем опять-таки нет большой разницы). Очевидно, именно под влиянием этого образа определяется и мужская природа божества, именуемого «Государь земля-вода».

Кстати, множественность духов местностей (гор и водоемов) постоянно фигурирует в монгольских культовых текстах в качестве охранительных божеств и «благоподателей» (тиб. *дебджит*), что является «обращенной формой» по отношению к карающим функциям древнетюркского *йер-су*, как, впрочем, и любых других персонажей шаманской (или шаманизированной) религиозной системы: Тенгри, Умай (И. В. Стеблева, с. 215).

Сочетание *гадзар-усун* («земля-вода») встречается также, например, в «Сутре воскурения и жертвоприношения хозяевам неба и земли, местностей и вод» — обрядовом тексте, связанном, кстати, с молитвами священным насыпным холмам (*обо*) [40]. Пространственный охват достигается параллелизмом вертикальной оппозиции земля/небо и плоскостного ландшафтного комплекса «местности-воды», причем использованные здесь термины delekei «земля, мир» и γaǰar «земля, местность, почва» могут выступать как более поздние синонимы Этуген и отождествляться с ней (Б. Я. Владимирцов, с. 23).

* * *

Итак, на протяжении доступного наблюдению исторического периода последовательно менялась интерпретация основных мифологических тем и образов. В целом этот процесс можно определить как реархаизующий, так как хронологически предшествующие формации с их специфическим «монотеизмом» уранических и хтонических представлений несомненно являются типологически более зрелыми, чем сменившие их «политеистические» верования. Следует при этом учесть, что довольно смутные, почти или совсем неперсонифицированные образы обожествленных неба и земли вообще

---

[40] C. R. Bawden. Notes on the Worship of Local Deities in Mongolia. — Mongolian Studies. Ed. by L. Ligeti. Budapest, 1970, c. 64; Н. Л. Жуковская. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977, с. 137.

встречаются в архаической мифологии; именно они и могли стоять у истоков рассмотренной мифологической системы.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что эта мифологическая система, очевидно, является общей для всех центральноазиатских кочевых народов, начиная с хунну, и была представлена уже у таких древнемонгольских народов, как сяньби и кидань. В приведенных выше заметках была сделана попытка продемонстрировать на некоторых примерах межэтническую циркуляцию и несколько различную интерпретацию компонентов общего мифологического фонда. Уместно говорить не столько о взаимовлиянии тюркских и монгольских народов в этом регионе, сколько о единстве и преемственности мифологических традиций в сменяющих друг друга государствах, что было возможно и благодаря тому, что каждое из них охватывало примерно один и тот же конгломерат этнических компонентов, а формирование государственных шаманистских культов происходило с ориентацией на один и тот же уже освященный традицией образец.

Э. А. Новгородова

ПАМЯТНИКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ НА ТЕРРИТОРИИ МНР

Изучение раннемонгольского средневековья началось, как известно, в конце прошлого века после открытия древнетюркских монументов. И хотя с тех пор миновало почти столетие, в течение которого древнетюркские памятники многократно становились предметом пристального внимания ученых — монгольских, советских, китайских, турецких и западноевропейских, однако мы еще не имеем полной публикации всех открытых к настоящему времени памятников и материалов. Работы С. В. Киселева, Л. А. Евтюховой, Л. Р. Кызласова, Я. А. Шера, А. Д. Грача, Р. Ф. Итса, С. Г. Кляшторного, Э. Трыярского и др., раскопки в МНР, проведенные в разные годы Л. Йислом, Н. Сэр-Оджавом и В. В. Волковым, побуждают вновь вернуться к некоторым вопросам древнетюркского искусства. А открытие большой серии «оленных камней» и петроглифов бронзового и раннежелезного века ставит перед необходимостью рассмотреть генезис древнетюркского искусства в контексте с памятниками предшествующих эпох. Правда, рамки статьи не позволяют привлечь большой новый материал, мы используем его лишь частично, выбирая наиболее яркие и интересные, на наш взгляд, памятники архитектуры, скульптуры и графики.

Архитектура и скульптура Монголии в древности связаны столь органично, что порою неотделимы друг от друга. Уже в эпоху бронзы известны жертвенники в виде квадратных и прямоугольных выкладок из камней или курганов-керексуров, сочетающихся с рядами скульптур — «оленных камней». Раскопки показали, что чаще всего эти скульптуры устанавливались именно на жертвенных местах (возможно, поминальных памятниках) и реже были связаны с погребениями. То же можно сказать и о древнетюркских изваяниях. Ряды «оленных камней» — там, где удается проследить закономерность их расположения, — вытянулись с юга на север и обращены своей «лицевой» стороной на восток. Так же на восток «смотрят» и древнетюркские «каменные бабы».

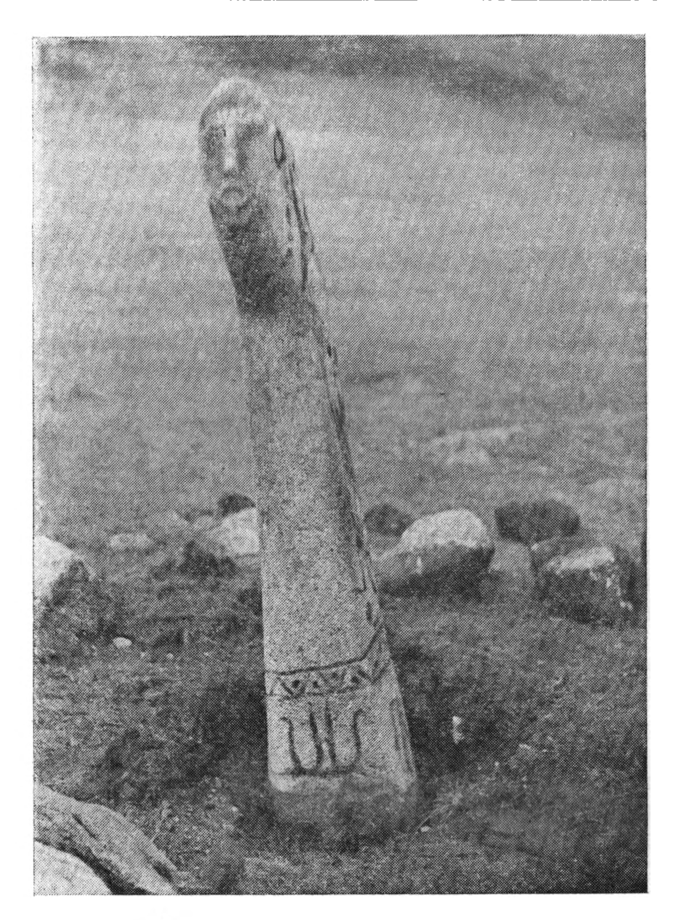


Рис. 1. «Оленный камень» из Агрын-бригады (Северная Монголия)

В последние годы В. В. Волковым открыто несколько «оленных камней», увенчанных скульптурными портретами. Наиболее интересное изображение высечено на стеле из Ушкийн-Увэра (Северная Монголия) [1]. Известно такое изваяние в Агрын-бригаде (Северная Монголия) (рис. 1) [2]. Автору этих строк удалось обна-

[1] В. В. Волков, Э. А. Новгородова. Оленные камни Ушкийн-Увэра (Монголия). — Первобытная археология Сибири. Л., 1975, с. 83, рис. 3.

[2] Б. И. Вайнберг, Э. А. Новгородова. Заметки о знаках и тамгах Монголии. — История и культура народов Средней Азии. М., 1976, с. 176, рис. 4.

ружить на юго-западе страны в Гоби-Алтайском аймаке стелу, на которой с одной стороны рельефно показан овал лица, а с другой — типично тюркская косичка. Судя по изображениям оленей «в летящем галопе» и по реалиям, висящим на поясе (ножи, кинжалы и боевые топоры карасукского типа эпохи бронзы), все эти памятники относятся к позднему этапу эпохи бронзы. Мы неоднократно отмечали на «оленных камнях» рельефные изображения серег, чаще всего в виде солнечного диска с лучами или без них. Отражение культа солнца, неба, небесного коня, оленя можно видеть едва ли не на каждом монументе скифского и доскифского времени.

В Гоби-Алтайском аймаке нами прослежена еще одна традиция, характерная именно для древнетюркского времени. В долине горной реки Бодончин-Гол, среди группы керексуров и каменных кольцевых выкладок протянулись два ряда «оленных камней» (всего их 12) — памятник, судя по рельефным изображениям оленей, коней и кабанов, типичный для эпохи бронзы. Все стелы обращены «лицевой» стороной на восток. В двух метрах от последнего «оленного камня» начинается ряд вертикально врытых «маяков», часть из которых специально обработана и отполирована. По форме они похожи на «оленные камни», но по размеру значительно меньше (высота их от 60 см до метра). На камнях этого ряда, также обращенных узкими, «лицевыми» сторонами на восток, мы не заметили никаких следов выбитых рисунков. Эти стоящие камни нельзя назвать «оленными», хотя они продолжают ряд стел и совершенно очевидно связаны единым комплексом. Для эпохи бронзы и скифского времени подобные ряды неорнаментированных камней, поставленных в один ряд с «оленными камнями», замечены впервые. Позднее же, во времена древних тюрков цепочки балбалов были распространены широко. Означают ли эти ряды камней на жертвеннике с Бодончин-Гола зарождение древнетюркского обряда, заключающегося в установлении балбалов, сказать трудно, хотя сходство поразительное.

Как видим, уже к концу II — началу I тысячелетия до н. э. в Западной Монголии намечается формирование определенных традиций, среди которых наиболее существенная — установка на жертвенных местах скульптурных монументов, изображающих мужчин с оружием. Кажется необъяснимым на первый взгляд исчезновение этой традиции в конце I тысячелетия до н. э. (в эпоху хуннов). На протяжении почти тысячи лет на территории Монголии не устанавливали каменных идолов, хотя, например, элементы «звериного стиля» все-таки частично сохранялись. Однако эта загадка может быть объяснена следующим образом. На западе Монголии в эпоху бронзы и раннего железного века обитали не монгольские племена, а европеоидные (не исключено, что частично это были ираноязычные народы, частично — прототюрк-

ские племена). Именно в этой среде зарождался «звериный стиль» и были распространены изображения колесниц. На востоке их современники, хоронившие покойников в «плиточных могилах», были носителями иного этноса и, что важно, — монголоидами. К концу I тысячелетия до н. э. племена хуннов продвинулись далеко на запад и северо-запад страны, подчинив своему влиянию остальные племена и утвердив свои нравы и традиции на этой территории. В среде подчиненных народов частично сохранялись и традиционные ремесла, орнамент и форма посуды, сохранились и элементы «звериного стиля». Но огромные монументы — двухметровые ритуальные изваяния, «оленные камни», которые в предшествующие времена возводились силами рода, при новых шаньюях не воздвигались. Напротив, порою «оленными камнями» забутовывали и укрепляли хуннские погребения, используя их как хороший строительный материал, и на какое-то время они утратили свое ритуальное значение.

Возродилась традиция высекания каменных статуй и установки их в жертвенных местах в древнетюркское время, причем интересно, что эта идея появилась в самом начале тюркской эпохи и широко распространилась на большой территории. Кстати, карта местонахождений каменных изваяний древнетюркского типа на монгольской земле накладывается на карту распространения «оленных камней». Скульптуры сидящих фигур, встреченные на восточной и гобийской территории, как правило, датируются более поздним временем, т. е. можно предположить, что первоначальным местом распространения «каменных баб» были все-таки западные и юго-западные районы.

Наиболее скромные архитектурные сооружения тюркского времени представляют собой каменные ящики и жертвенные места. О городах и поселениях известно очень немного. Однако и самого общего знакомства с тюркской архитектурой было бы достаточно, чтобы заметить, что даже при строительстве погребальных и жертвенных комплексов центр внимания был перенесен из-под земли на поверхность. Шла ли речь о дворцах или погребениях, правители всегда стремились воздвигнуть монументы, возвеличивающие память об их подвигах. Неудивительно, что древнетюркская эпоха в искусстве ассоциируется с каменными изваниями, которые сотнями и тысячами были рассеяны на обширной земле их обитания и которые повсюду сохраняли свои специфические черты.

Монгольские изваяния изображают мужчину в головном уборе, в халате с глубоким запа́хом слева направо и с широким поясом, сплошь покрытым бляшками. Непременным атрибутом является сосуд в правой согнутой в локте руке. Левая рука иногда сжимает кинжал. Так же, как и «оленные камни», древнетюркские статуи обычно ставились в оградках или около них в память об умершем. Как на ранних монументах («оленных камнях»), так и на

тюркских изваяниях показаны головные уборы, серьги, богатый пояс с оружием. Орнаментация поясов на изваяниях в разные эпохи различна. Что касается вооружения воинов, то в эпоху бронзы и в скифское время преобладали луки и стрелы, отсутствующие на каменных бабах.

Тюркские изваяния, так же как «оленные камни», не всегда можно назвать скульптурой. Лишь в редких случаях это был конкретный портрет. Как правило, на хорошо отесанном каменном столбе ваялась голова, шея и плечи. Иногда давались лишь общие очертания. Часто скульптурное изображение заменялось рисунком и резьбой. В таких случаях руки, детали халата, пояс и оружие были показаны рельефной линией. Исключение составляют каменные скульптуры на поминальных памятниках в честь каганов, их сподвижников и полководцев. Крупнейший и наиболее исследованный среди них — храмовой комплекс в честь принца и полководца Кюль-тегина (рис. 2—4). Этот памятник был исследован Н. М. Ядринцевым (1889 г.), Гейкелем (1890 г.), В. В. Радловым (1891 г.). Наконец, в 1957—1958 гг. в Кошо-Цайдаме работала чешско-монгольская экспедиция под руководством Л. Йисла и Н. Сэр-Оджава. Хотя в ходе раскопок была вскрыта лишь часть памятника в честь Кюль-тегина, однако по результатам можно судить о характере и архитектуре этого сооружения и предложить первый вариант его реконструкции (рис. 3). Территория размером 67,25×29,25 м была окружена мощной глинобитной стеной толщиною около метра. Прямоугольник, образуемый стеной, был вытянут с запада на восток. Стена поверху была крыта черепицей, снаружи ее окружал ров глубиной до 2 м, который прерывался лишь у самых ворот на востоке.

В центре двора помещалась дворцовая постройка. Она представляла собой небольшое квадратное здание (10,25×10,25 м), отличавшееся простой и четкой планировкой. Вся постройка была водружена на специально насыпанной земляной насыпи, образовавшей фундамент здания в форме усеченной пирамиды (цоколь — 13×13 м), поднимавший его более чем на один метр.

Фасад здания был обращен на восток, навстречу лучам восходящего солнца. На восток же были обращены и ворота. Стела с тюркским текстом была ориентирована своей широкой стороной также на восток. На восток смотрели статуи.

Внутри здания некогда были четыре центральные колонны. Между ними и находился алтарь, а на них, мы считаем, базировался верхний ярус крыши. На 12 внешних колоннах держался нижний ярус крыши. Колонны не сохранились. Они, видимо, были сделаны из дерева, что вполне соответствовало местным традициям. Остались на своих местах лишь каменные базы с пазами для закрепления колонн; они сохранились до настоящего времени. В общих своих чертах внешний вид дворца мало отличался от ти-

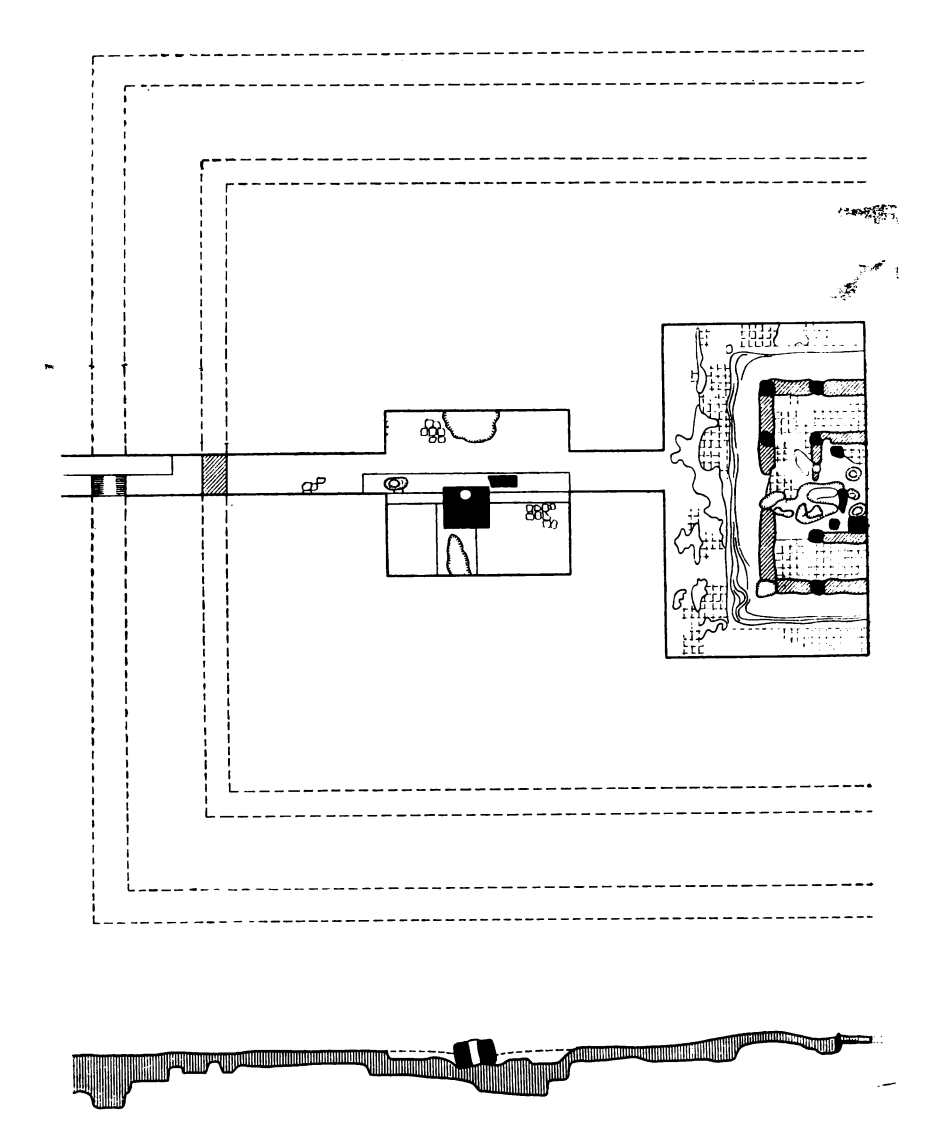
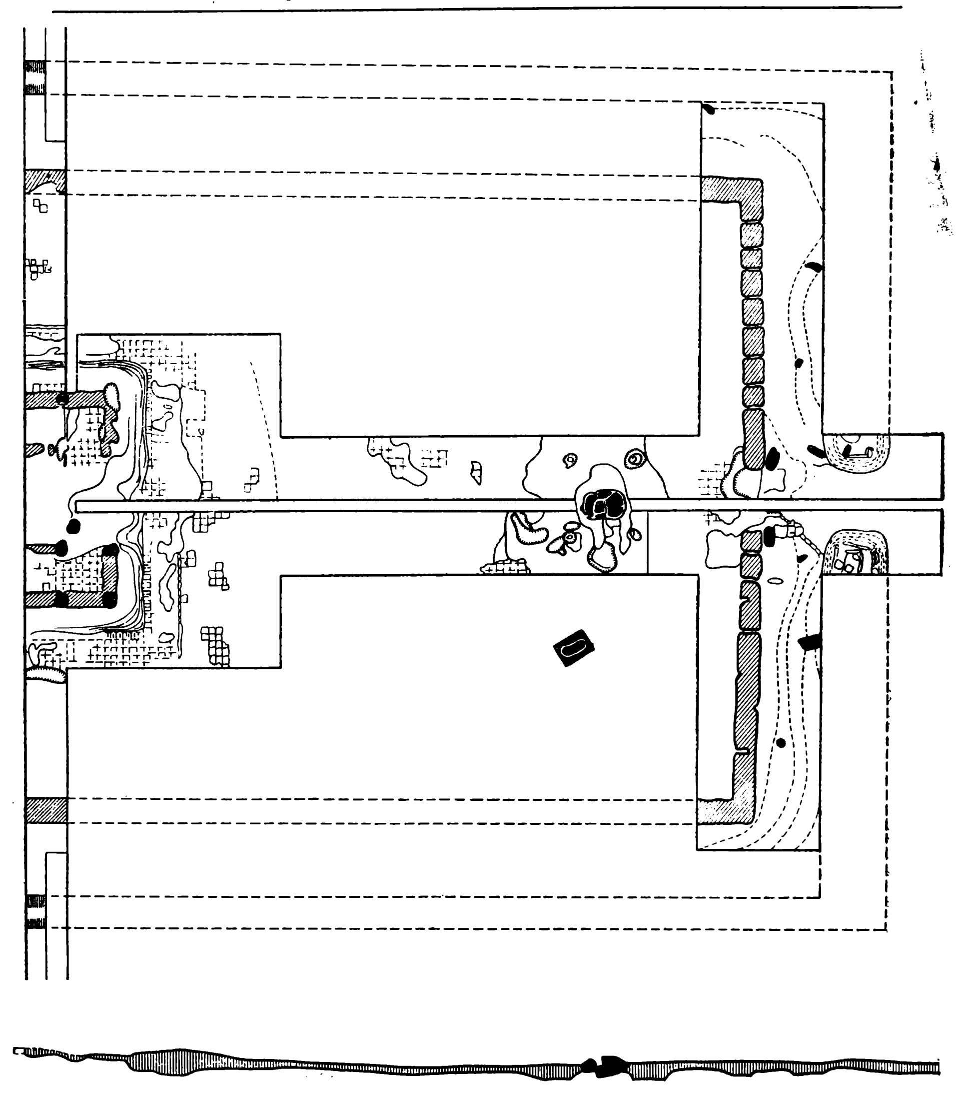


Рис. 2. План и профиль раскопа

пично буддийских храмов XVI—XIX вв. По планировке он повторял более древние сооружения, о чем можно судить, сравнив его с хуннскими языческими храмами.

Итак, можно допустить, что храм в честь Кюль-тегина имел внешний ряд колонн, на которых держался нижний ярус крыши,



памятника в честь Кюль-тегина

несший на себе тяжелую черепицу. На четырех центральных колоннах базировался второй ярус крыши. Именно здесь в полумраке храма — свет проникал только через дверной проем — и совершалось ритуальное захоронение урны с прахом великого полководца. Здесь-то в центре здания в глубокой яме был найден

14 Заказ № 1873

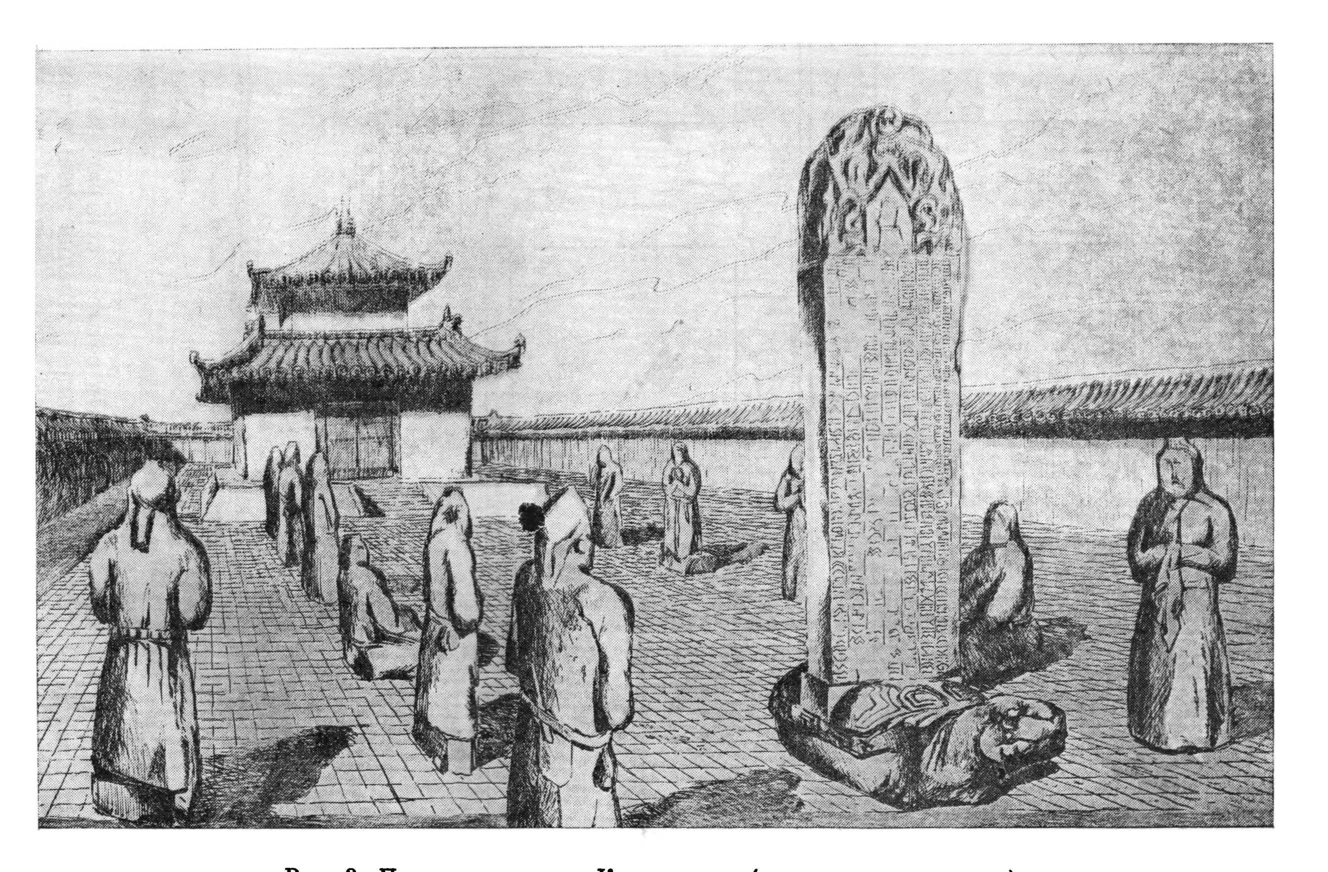


Рис. 3. Памятник в честь Кюль-тегина (реконструкция автора)

большой сосуд, над которым помещалась статуя сидящего Кюль-тегина. Рядом стояла статуя, очевидно, его жены.

Здание это имело бесспорно культовое значение. Оно было построено ради одного человека и принадлежало ему уже после его смерти. Росписи на стенах (до нас дошли лишь небольшие фрагменты штукатурки), о которых сообщает китайская хроника, восхваляли величие его подвигов, так же как и тексты на каменной стеле, поставленной недалеко от храма.

Как сам храм, так и площадь вокруг него не были местом официальных приемов или ритуальных торжественных церемоний.

Видимо, лишь один раз после окончательного сооружения комплекса по главной аллее двора прошла поминальная траурная процессия, в которой можно было увидеть и посла китайского императора, и представителей далеких забайкальских соседей — курыкан, кыргызов, огузов (имена представителей и названия племен упомянуты в надгробной стеле[3]).

Что же представляла собой эта внутренняя площадь двора? Вся ее поверхность была выложена квадратными кирпичами (0,33×0,33 м). До нас дошли лишь их остатки или следы глинисто-известковой обмазки между ними. На основании этих следов и воспроизведен двор на нашей реконструкции (рис. 3).

Широкая аллея, протянувшаяся с запада на восток, соединяла вход во дворец и большие ворота. Вдоль аллеи были установлены два ряда каменных статуй. Внутри двора по обе стороны от ворот, ширина которых равнялась 2,9 м, стояли мраморные фигуры баранов, обращенных головами друг к другу. Недалеко от ворот находился прямоугольный резервуар для воды. Здесь же экспедиция Л. Йисла и Н. Сэр-Оджава обнаружила и керамические трубы, предназначавшиеся для стока дождевой воды.

В восьми метрах от ворот, как раз перед входом во дворец, лежала каменная черепаха, служившая постаментом для стелы. Сама стела, которая содержит надгробные эпитафии на двух языках, сохранилась почти полностью (рис. 4).

В задней части двора, скрытый от глаз зданием, лежал (он и теперь лежит там же) большой каменный куб с круглым углублением наверху. Предполагается, что он предназначался для жертвоприношений.

Среди находок экспедиции Л. Йисла и Н. Сэр-Оджава едва ли не самыми интересными были скульптуры, обнаруженные в святилище храма. Это изображения принца и его супруги. Судя по обломкам, они были изображены сидящими, правая фигура — с традиционным сосудом в руке.

---

[3] W. Radloff. Die alttürkische Inschriften der Mongolei. St.-Pbg., 1895.

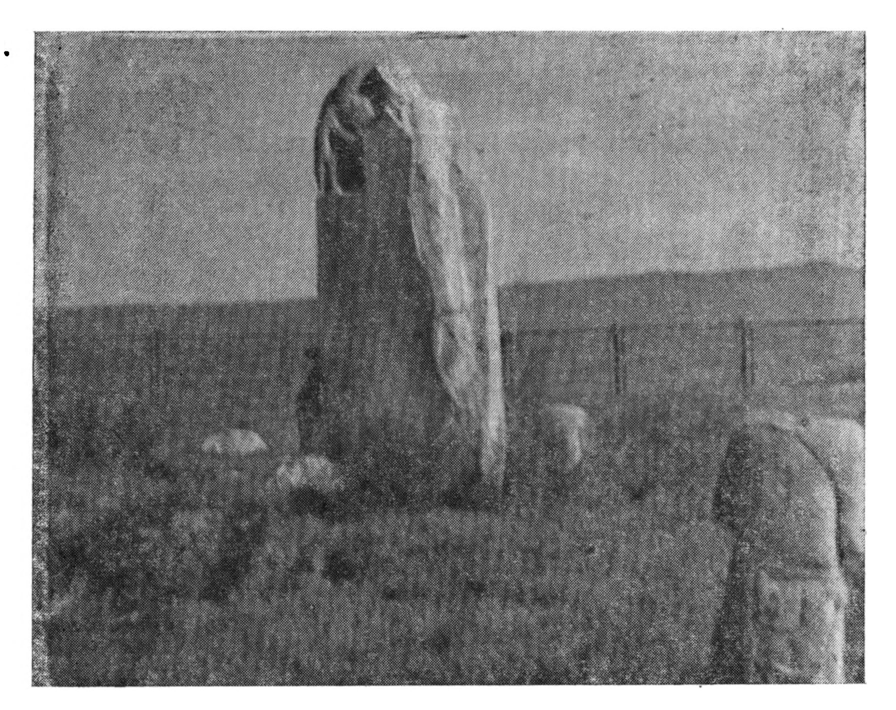


Рис. 4. Стела с надписями в честь Кюль-тегина

Изображение Кюль-тегина в высоком головном уборе передает индивидуальные черты сильного человека с решительно сжатыми губами и тяжелым волевым подбородком [4]. Скульптор не стремился польстить оригиналу, он не скрыл ни возраста (это действительно портрет человека сорока с лишним лет), ни неприветливости лица. Каменный лик впечатляет не красотой, а скрытой силой и энергией.

Второй мраморный портрет (вернее, обломок его — рис. 5), как теперь общепризнано, — изображение жены Кюль-тегина. Его отличают красиво и четко очерченные губы (подобный рисунок рта весьма характерен для монголоидных лиц), почти квадратный подбородок, нос с тонкими очертаниями ноздрей. Усталые складки морщин, идущих от крыльев носа, выдают не молодой уже возраст. Перед нами не нежная красавица, а умудренная жизнью женщина с сильным характером, непреклонная в своих решениях.

---

[4] L. Jisl. Kül-tegin anıtında 1958'de yapılan arkeoloji araştırmalarının sonuçları. — «Türk tarih kurumu basımevi». Ankara, 1963 (Belleten. Cilt 27.107), с. 387—410, рис. 11, 12.

Во всяком случае, эти уникальные портреты древнетюркской скульптурной галереи отличаются большой индивидуальностью.

Остальные монументы комплекса в честь Кюль-тегина — это каменные статуи вельмож, приближенных, возможно, дипломатов и послов, показанных стоящими, сидящими, коленопреклоненными. Эти уникальные скульптуры образуют длинный ряд между дворцом и черепахой. Хотя от тюркской эпохи до наших дней дошли сотни каменных изваяний, однако скульптурная группа Кошо-Цайдама отличается от всех остальных и тщательностью проработки деталей, и многообразием типов и, может быть, их особым назначением. К сожалению, они плохо сохранились и ныне все стоят без голов. Среди статуй особенно интересны три. Они высечены в полный рост, с руками, сложенными под грудью. У одной в руках сосуд, у другой — какой-то предмет вроде кнута (рис. 6). Две фигуры имеют левый запа́х халата и скрупулезно проработанный пояс со всеми деталями и свисающими ремнями. Третья фигура, стоявшая ближе других к выходу, значительно отличается от всех известных нам скульптур Монголии. Это мраморное изваяние показано в прямом платье без пояса с правым запа́хом. Своеобразная деталь — изящный платок в руках, ниспадающий мягкими складками. Пожалуй, это единственная из кошо-цайдамских фигур, которую по характеру одежды можно назвать не тюркской. Возможно, она изображает одного из китайских (по тексту — табгачских) послов и дароносцев, оплакивавших Кюль-тегина, рано отлетевшего на небеса.

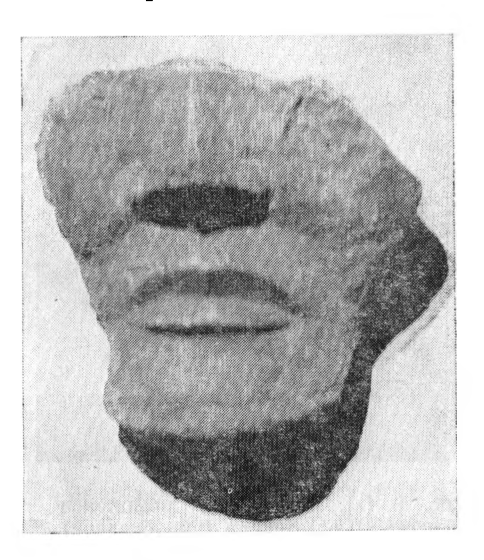


Рис. 5. Фрагмент мраморного изваяния из дворца Кюль-тегина

Вторую группу памятников древнетюркского искусства составляют петроглифы. Рисунки этой эпохи широко известны от Монголии до Туркестана, от Забайкалья до Южной Сибири и Якутии. Это рисунки, оставленные курыканами на р. Лене, кыргызами на Енисее, уйгурами в горах Алтая. Чаще всего петроглифы вырезались по камню острым предметом. По сюжету преобладают сцены охоты на диких животных, военные сцены с вооруженными воинами, всадниками в доспехах. Излюбленное изображение среди



Рис. 6 (а). Статуя из комплекса в честь Кюль-тегина (вид спереди)



Рис. 6 (б). Статуя из комплекса в честь Кюль-тегина (вид сзади)

тюркских петроглифов — конь с подтянутым животом, длинными сухими ногами, тонкой длинной шеей и легкой маленькой головой. Всадники вооружены луками и колчанами или — чаще — длинными копьями со знаменами. Четырехугольные знамена всегда нарисованы с длинными древками и тремя развевающимися кистями. В монгольских горах часто встречаются изображения всадников, выбитые тонкой или широкой линией. Таково, например, контурное изображение всадника, обнаруженное нами в горах Южногобийского аймака в Хатанбулаг-сомоне в местности Барунбичигт. О древнетюркском возрасте можно говорить на основании следующих деталей: плюмаж, выстриженная грива, круглые сбруйные бляхи на лошади. Характерна также посадка всадника боком, с развернутым анфас туловищем. (Эта поза сохранилась у скотоводов Монголии вплоть до наших дней.) Одна рука всадника держит повод, другая опущена.

Наряду с легковооруженными всадниками, у которых были только лук и стрелы, у тюрков немалую роль играла и тяжеловооруженная кавалерия. О том, как выглядела эта армия, мы

узнаем из письменных источников, а в настоящее время также и по наскальным гравировкам.

Самым интересным памятником среди петроглифов тюркской эпохи является сцена военного похода, выбитая в горах Монгольского Алтая (рис. 7).

Этот памятник был открыт нами летом 1972 г. севернее г. Кобдо, в широком ущелье Сальхадын-Бильчерын-застын, на южном склоне горы Хар-хад (Эрдэнэ-бурэн сомон). Скала с изображениями всадников сложена из светло-коричневого песчаника. Петроглифы выбиты на единственной в этих горах большой отполированной природой поверхности. Рисунок, высеченный в верхней части скалы на высоте более 10 м от ее подножия, отчетливо виден снизу.

На этой отвесной скале выбиты конь, олень, барс, козлы, бараны и пять всадников в доспехах и шлемах. Всадники вооружены копьями, воины и кони защищены броней. В верхней части писаницы выбиты конь и олень, перед ними два тяжеловооруженных всадника с копьем, а сзади пеший воин со сложносоставным луком. Наконец, еще два всадника в доспехах высечены в нижней части писаницы. Они расположены друг над другом, головы их повернуты вправо. Изображение не завершено: один из всадников показан без брони, хотя выбито копье, что свидетельствует о тяжелом вооружении, а фигуры человека и коня имеют такой силуэт, будто они покрыты броней, только не показаны ее детали, как у остальных.

Кроме всадников на этой же скале выбиты фигуры диких козлов-янгиров и баранов-архаров.

Осмотр памятника не оставляет сомнений в том, что не все фигуры выполнены одной рукой и одновременно. Прежде всего выделяется группа козлов, баранов, барса, оленя, верблюда, изображения которых представляют собой сплошной силуэт. Три янгира — и это особенно важно — перекрыты сверху фигурами всадников. О более поздней дате последних в данном случае свидетельствует и более светлый «загар» рисунка.

Все рисунки выбиты или сплошным силуэтом (животные), или — по контуру (тяжеловооруженные всадники). Среди силуэтных изображений выделяются две группы. Первая — козлы, бараны и верблюд, вторая — конь с крючкообразно загнутым хвостом и олень.

Силуэтные рисунки первой группы (дикие козлы и бараны), не имеющие специфических черт, могут быть сравнимы с петроглифами разных эпох, но тем не менее они не древнее скифо-тагарского времени (так как верблюд показан с уздечкой) и старше той эпохи, когда были выбиты вооруженные всадники. Вторая группа — конь и олень. По стилю изображения конь значительно отличается от коней, закованных в броню: иная линия изгиба шеи, другая морда, иначе трактованы круп и ноги. Ближайшие аналоги

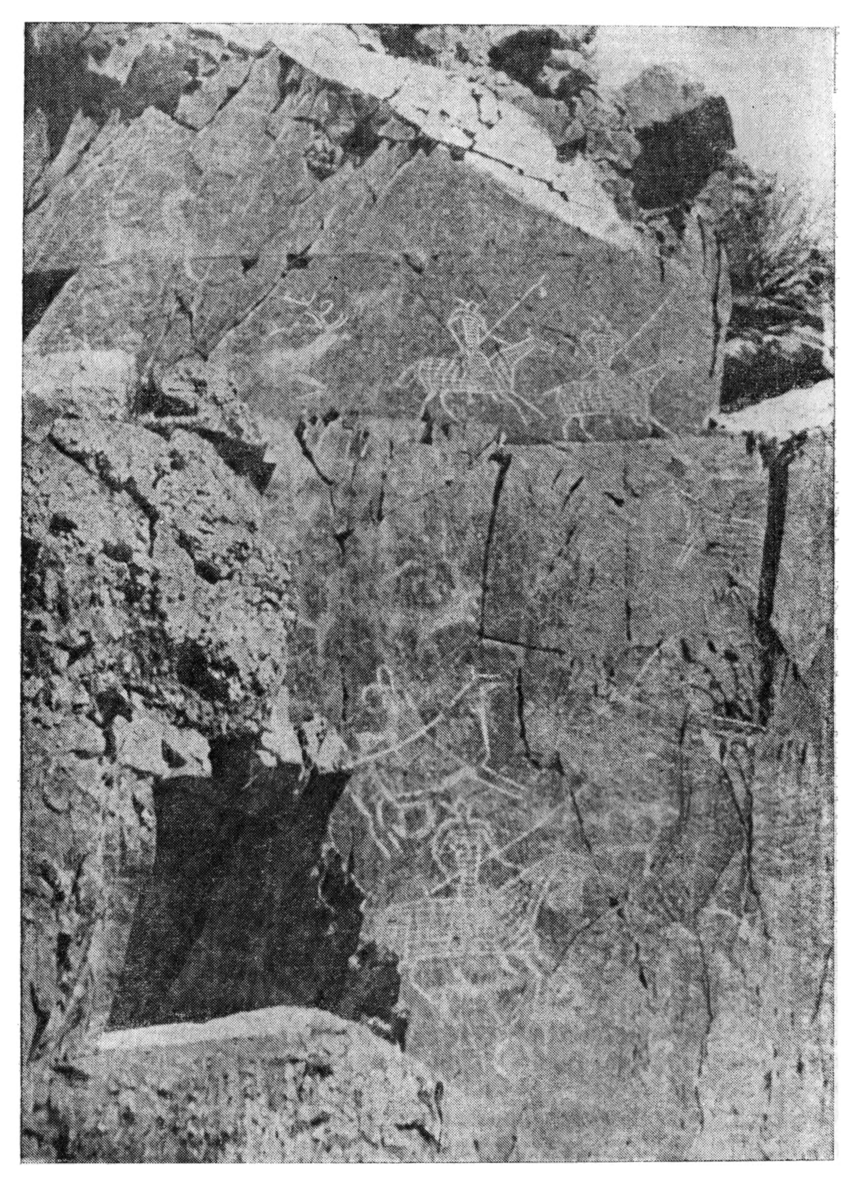


Рис. 7 (а). Сцена военного похода, выбитая в горах Монгольского Алтая (Хар-хад)

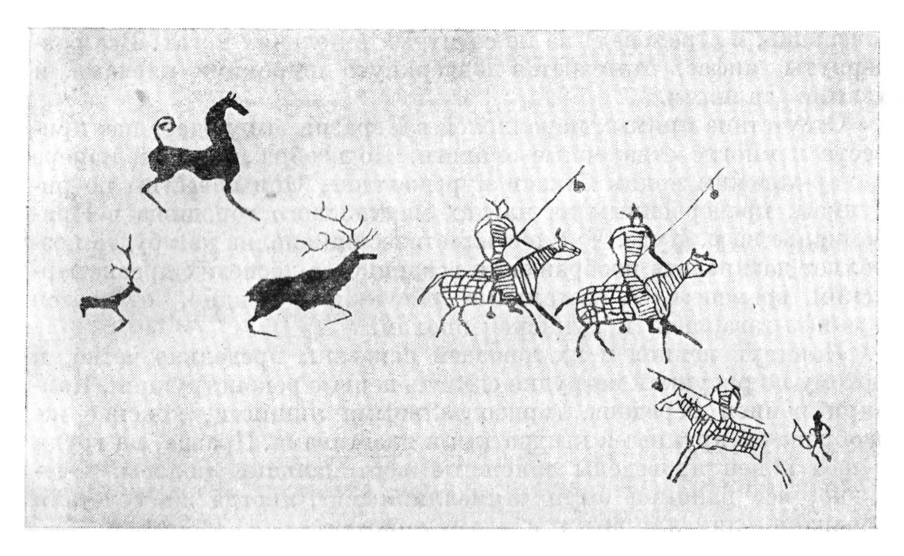


Рис. 7 (б). Сцена военного похода, выбитая в горах Монгольского Алтая (Хар-хад). (Прорисовка)

коню с крючкообразным хвостом — изображения таштыкской культуры из Южной Сибири и глиняные фигуры ханьской эпохи [5]. Эти параллели позволяют отнести монгольские изображения к хуннскому времени. В этом же убеждает и чисто стилистическое сходство с фигурами из бронзы и петроглифами хуннского времени из Монголии: рисунки из ущелья Яманы-ус датируются профильными эпипажами ханьского типа и тамгами хунно-сарматского времени [6].

Наконец, вернемся к центральным фигурам писаницы горы Хар-хад — к всадникам. Все они выбиты неширокой контурной линией. Кони по стилю изображения отличаются от всех ранее известных: от рисунков коней эпохи энеолита, коней бронзового века, впряженных в колесницы, коней, изображенных на «оленных камнях» (скифо-тагарская эпоха) и, наконец, от коней хуннского времени, например впряженных в профильные экипажи [7].

То же самое можно сказать об изображении людей: подобных не было известно до сих пор в Центральной Азии ни среди рисунков скифского, ни хуннского времени. Люди показаны стоящими

---

[5] «Вэнь у». 1977, № 10, с. 24.

[6] Б. И. Вайнберг, Э. А. Новгородова. Заметки о знаках и тамгах, с. 175, рис. 5.

[7] В. В. Волков. Древние колесницы Монгольского Алтая. — Монголын эртний туух-соёлын зарим асуудал. Улаанбаатар, 1972, с. 80—81, рис. 5, 6.

(очевидно, в стременах) на не согнутых в коленях ногах. Все развернуты анфас, отличаются подчеркнуто широкими плечами и узкими талиями.

Отсутствие прямых параллелей в Евразии вынуждает нас привести немногие отдаленные аналоги. По изобразительной манере к хар-хадским коням близки курыканские. Они известны по рисункам, прочерченным на плитах манхайского городища в Прибайкалье на р. Куде. Чисто стилистический анализ как будто позволяет датировать изображения всадников в доспехах древнетюркским временем. А остальные рисунки, очевидно, относятся к скифо-тагарской и хуннской эпохам.

Панцири воинов и их лошадей показаны предельно четко, и потому по рисункам нетрудно сделать первые реконструкции. Панцири воинов переданы горизонтальными линиями, конские же изображены крупными квадратными пластинами. Правда, на груди и шее коней проведены сплошные вертикальные полосы. Очевидно, все панцири были «лямеллярными», иногда же сочетали признаки «лямеллярных» и «ламинарных».

Что касается доспехов, то здесь изображено два их вида: один состоял из наспинной и нагрудной частей с лямками на плечах и застежками с боков. Другой полностью повторял крой тюркского халата, застегивался спереди, а сзади посредине имел разрез для того, чтобы было удобнее сидеть на лошади.

Весьма характерны остроконечные шлемы с длинным пером. Такие шлемы были распространены в древнетюркской армии на широкой территории — от Восточной Европы до Японии (IV—IX вв.). Аналогичные шлемы изображены на кыргызской писанице из Сулека (Хакасия) и на болгарском сосуде из Надьсентмиклоша в Венгрии [8].

К концам пик были привешены круглые бубенчики. Такие же украшения изображены на копьях и в Восточном Туркестане (VI в.) [9].

Конские доспехи состояли из двух частей и имели прорезь для хвоста. Голову лошади защищали металлические покрытия. Ремни узды и седло украшали кисти.

Итак, на петроглифах горы Хар-хад показан строй тяжеловооруженных воинов — типичные катафрактарии со всеми необходимыми реалиями: оборонительными доспехами на воинах, длиной до самых щиколоток, с доспехами на лошадях и непременным оружием тяжеловооруженных всадников — длинными пиками. Эти петроглифы на основании разнообразных параллелей могут быть отнесены к древнетюркскому времени. И они еще раз подтверждают неоднократные упоминания письменных источников о существовании доспехов в эту эпоху в Центральной Азии.

---

[8] Gy. László. L'Art des Nomades. Budapest, 1972, c. 146, 147.

[9] A. Grünwedel. Alte Kultstätten in Chinesisch-Turkistan. B., 1912, c. 218.

В. И. Рассадин

ПРОБЛЕМЫ ОБЩНОСТИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ САЯНО-АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА

Как известно, языки тюрков Сибири составляют восточно-хуннскую ветвь тюркских языков и классификационно входят в две разные группы: уйгуро-огузскую и киргизско-кыпчакскую. Языки, входящие в первую группу, в свою очередь, подразделяются на три подгруппы: уйгуро-тукюйскую (современные тувинский и тофаларский языки и древнеогузский язык — язык енисейско-орхонских надписей), якутскую (якутский язык), хакасскую (хакасский, камасинский, шорский и чулымско-тюркский языки). Во вторую группу входят: алтайский язык (в основном его южные диалекты — телеутский, теленгитский и алтайский, северные же диалекты — тубаларский, кумандинский и челканский — больше тяготеют к хакасской подгруппе языков), современный киргизский и древний киргизский языки.

Классификация эта основана на четких критериях и опирается на определенные языковые факты [1], свидетельствующие о действительном различии всех этих языков.

Однако в процессе сравнительного изучения сибирских тюркских языков — как между собой, так и с другими тюркскими и нетюркскими языками — удалось выявить некоторые особенности в фонетике, морфологии и лексике, характерные лишь для сибирских тюркских языков, в какой-то мере объединяющие их и присущие только им. Больше всего таких объединяющих черт в языках тюрков Саяно-Алтая и прилегающей к нему Минусинской котловины. К этому же региону, особенно в отношении лексики, тяготеет и якутский язык.

Рассмотрим подробнее наиболее характерные специфические особенности, присущие языкам тюрков саяно-алтайского региона.

---

[1] См.: Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. Изд. 2-е. М., 1969, с. 313—349.

Так, в области фонетики почти все эти языки характеризуются тем, что в анлауте имеют преимущественно глухие гласные. Например: шор. *паш*, хак. *пас*, чул.-тюрк. *паш*, тоф. *паш* ~ *баш* [2] 'голова' (ср. во всех других тюркских языках *баш* — id.); шор. *палыг* 'ссадина', хак. *палығ* 'язва, рана', чул.-тюрк. *па̄лыγ* 'чирей', тоф. *палыг* ~ *балыг* 'рана' (ср. др.-тюрк. baluγ 'рана'); шор. *пер*, хак. *пир*, чул.-тюрк. *пер*, тоф. *пер* ~ *бер* 'дай' (ср. во всех других тюркских языках *бер* — id.); шор. *чыл*, хак. *чыл*, чул.-тюрк. *чыл*, тоф. *чыл* ~ *чжыл*, тув. *чыл* 'год' (ср. кирг. *жыл*, каз. *жыл*, др.-тюрк. jyl — id.); шор. *чок*, хак. *чох*, чул.-тюрк. *чок* ~ *йок*, тоф. *чок* ~ *чжок* ~ *йок*, тув. *чок* 'нет' (ср. кирг. *жок*, каз. *жок*, др.-тюрк. joq — id.). В тувинском и алтайском литературных языках согласный *б* сохраняет свою звонкость (ср. алт. *баш*, тув. *баш* 'голова', алт. *балу*, тув. *балыг* 'рана', алт. *бер*, тув. *бер* 'дай'), хотя для алтайских диалектов тоже харакерно употребление глухого *п* вместо звонкого *б*. Например, у бачатских телеутов *паш* 'голова' [3], у кумандинцев *паш* 'голова', *пер* 'дай' [4]. В тубаларском диалекте в начальной позиции не различаются, как и в тофаларском языке, глухие и звонкие согласные *п* — *б*, *т* — *д*, *к* — *г* и др. [5], поэтому здесь мы имеем *паш* ~ *баш* 'голова', *пер* ~ *бер* 'дай' и т. д.

Для всех тюркских языков Саяно-Алтая характерно еще произношение глухого *с* вместо звонкого *з* других тюркских языков в абсолютном исходе слова и слога. При этом исторически звонкий согласный, следовавший в начале последующего слога, тоже оглушался. Например, общетюркское *кыз* 'дочь' в языках рассматриваемого региона произносится: шор. *кыс*, хак. *хыс*, алт. *кыс*, чул.-тюрк. *кыс*, тоф. *кыс*, тув. *кыс* — id.; др.-тюрк. quzγun, кирг. *кузгун*, тат. *козгын* 'ворон' здесь произносят: шор. *кускун*, хак. *хусхун*, алт. *кускун*, тоф. *кускун*, тув. *кускун* — id. Глухость ауслаута сохраняется и при наращении аффиксов. Так, например, вместо *кызлар* 'девушки' здесь произносят везде *кыстар*, вместо *кызга* 'девушке' — *кыска*. Эта закономерность служит причиной изменения звукового облика многих тюркских слов.

---

[2] В тофаларском языке согласный *б* — слабая фонема, допускающая как глухое, так и звонкое произнесение, равно как и все остальные слабые согласные. См.: В. И. Рассадин. Фонетика и лексика тофаларского языка. Улан-Удэ, 1971, с. 46.

[3] См.: К. В. Меркурьев. Инвентарь согласных фонем и их дистрибуция в языке бачатских телеутов. — Вопросы языка и литературы народов Сибири. Новосибирск, 1974, с. 50.

[4] См.: И. Я. Селютина. Дентопалатограммы кумандинских согласных. — Исследования по фонетике сибирских языков. Новосибирск, 1976, с. 28.

[5] См.: Н. А. Баскаков. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (туба-кижи). Грамматический очерк и словарь. М., 1966, с. 15—17.

Например, кирг. *тизгин* — алт., шор. *тискин* ‘поводья’; др.-тюрк. aγzy — тоф., тув. *аксы*, хак. *ахсы*, ‘его рот’; кирг. *азган* — алт., шор., тоф., тув. *аскан*, хак. *асхан* ‘заблудился’.

Группу тюркских языков Саяно-Алтая отличает также такая своеобразная черта, как наличие в ряде слов носовых *н* или *нь* в анлауте на месте древнего **й* и развившихся из него *ч*, *ж* и т. д. других тюркских языков. В эту группу входят тофаларский, хакасский, шорский языки и северные диалекты алтайского языка [6]. Ср., например, тоф. *няа*, хак. *наа*, шор. *наа*, куманд. *наа*, тубал. *ньанъы* ‘новый’ — тув. *чаа*, алт. *јаӈы*, кирг. *жаӈы*, др.-тюрк. jaŋy — id.; тоф. *няндыр-*, хак. *нандыр-*, куманд. *ньандыр-*, тубал. *ньандыр-* ‘возвратить’ — тув. *чандыр-*, алт. *јандыр-*, кирг. *жандыр-*, др.-тюрк. jandur-, jantur- — id. Развитие этого специфичного для саяно-алтайских тюркских языков ареального явления, видимо, следует связывать со среднеязычной артикуляцией смычного согласного *дь*, бывшего когда-то в этих языках и явившегося промежуточной стадией перехода **й* в современные аффрикаты *ч* и *дж*. Кстати, среднеязычный характер этих аффрикат, которые могут варьировать со смычными среднеязычными *ть* и *дь*, сохраняется до сих пор в алтайских диалектах и в тофаларском языке. Переход же *дь* в *нь* (а затем *нь* → *н* под влиянием утраты среднеязычной артикуляции аффрикат) происходил, вероятно, из-за существовавшего в прошлом и в этих языках сильного назализованного характера вообще всей артикуляции, каковая сохраняется еще в тофаларском языке и в некоторых тувинских говорах. Все это уже было рассмотрено нами ранее [7], поэтому здесь подробно разбирать не будем.

В г р а м м а т и к е наиболее ярким и характерным объединяющим эти языки моментом является наличие особой довольно развитой системы глагольных превербов [8], которые по функции и зна-

---

[6] О противопоставлении североалтайского *нь* южноалтайскому *дь* см.: Н. А. Б а с к а к о в. Алтайский язык. Введение в изучение алтайского языка и его диалектов. М., 1958, с. 70.

[7] См.: В. И. Р а с с а д и н. Об одном ареальном явлении фонетики тофаларского языка. — Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы всесоюзной конференции 3—5 июня 1976 г. Томск, 1976, с. 57—60.

[8] Типологически сходное явление имеется в монгольских языках. Венгерский монголовед Лайош Беше подробно исследовал монгольские превербы, выдвинув этот термин и убедительно доказав, что лексемы, о которых идет речь, не наречия, а особый тип слов, приближающихся функционально к префиксам. Здесь мы полностью разделяем данную точку зрения и принимаем термин «преверб». Подробнее о проблеме см.: L. B e s e. A Study in Buriat Preverbs. — AOH. T. 19. Fasc. 2. 1966; о н ж е. On Khalkha Preverbs. — AOH. T. 21. Fasc. 2. 1968; о н ж е. Preverbs in the Language of the Secret History of the Mongols. — AOH. T. 22. Fasc. 1. 1969; о н ж е. Contribution to the Problem of the Mongolian Preverbs. — AOH. T. 23. Fasc. 2. 1970; о н ж е. An Aspect of the Turkic-Mongolian Language Contacts. — Bilimsel bildiriler. Ankara, 1975.

чению в какой-то мере можно сопоставить с системой глагольных приставок некоторых европейских языков (например, русского, немецкого и т. п.). Поскольку в тюркологии вопрос о превербах не изучался и даже не ставился, позволим себе здесь несколько подробнее рассмотреть его.

В языках Саяно-Алтая (шорском, хакасском, алтайском, тофаларском и тувинском), а также еще в якутском довольно употребительны составные глаголы, первым компонентом которых выступают особые слова-превербы, сообщающие глаголу, носителю основного действия, дополнительные семантические оттенки, связанные либо с направленностью действия, либо с обстоятельством, способом совершения или протекания действия. В грамматиках и словарях эти слова-превербы квалифицируются или как деепричастия, или как наречия, хотя в действительности они ни то и ни другое. В рассматриваемых же языках группа превербов и образование с их помощью составных глаголов являют собой целую систему, и именно этим средством в русско-национальных словарях осуществляется перевод русских приставочных глаголов.

Чтобы можно было получить представление о данном явлении, приведем примеры.

В алтайском языке [9]: *ойо ат-* 'прострелить', *ойо кес-* 'прорезать отверстие' (*ойо* 'насквозь' < *ой-* 'выдалбливать; протыкать, пробить'); *jыга ат-* 'застрелить' (*jыга* 'наповал' < *jык-* 'повалить, валить'); *jара сок-* 'расщепить', *jара чап-* 'перешибить, разрубить' (*jара* < *jар-* 'раздирать; щепать; рассекать; колоть'); *чыгара сордыр-* 'откачать — насосом', *чыгара сӱрӱп ий-* 'выгнать' (*чыгара* < *чыгар-* 'вывести наружу'); *ӱзе тиште-* 'откусить', *ӱзе чап-* 'отсечь, перерубить', *ӱзе тарт-* 'растерзать' (*ӱзе* < *ӱс-* 'рвать, обрывать'); *тӱжӱре тарт-* 'сдернуть' (*тӱжӱре* < *тӱжӱр* 'опустить вниз, заставить слезть вниз'); *кере тарт-* 'натянуть' (*кере* < *кер-* 'натягивать, распяливать'); *чӧйӧ тарт-* 'растянуть' (*чӧйӧ* < *чӧй-* 'тянуть, растягивать').

В шорском языке [10]: *кезе урун-* 'врезаться', *кезе шабыс-* 'разрубить' (*кезе* < *кес-* 'резать'); *шыгара кӧр-* 'выглядывать', *шыгара сӱрибис-* 'выгнать', *шыгара тарт-* 'вытаскивать', *шыгара учук-* 'вылетать' (*шыгара* < *шыгар-* 'выводить наружу'); *четире кӧй-* 'догорать', *четире учук-* 'долететь' (*четире* < *четир-* 'доводить, заставить, позволить дойти'); *чара тарт-* 'раздирать' (*чара* < *чар-* 'раскалывать'); *чаза тут-* 'разжимать' (*чаза* < *час-* 'расстилать').

---

[9] Примеры взяты из: Н. А. Баскаков, Т. М. Тощакова. Ойротско-русский словарь. М., 1947; Русско-алтайский словарь. Под ред. Н. А. Баскакова. М., 1964.

[10] Примеры взяты из Русско-шорского словаря (Новосибирск, 1940).

В хакасском языке[11]: *ӱзе кис-* 'отсекать, отрубать', *ӱзе сап-* 'отсекать', *ӱзе тарт-* 'оторвать', *ӱзе ызыр-* 'перекусить', *ӱзе кирт-* 'перегрызть' (*ӱзе* < *ӱс* 'рвать, оторвать'); *кизе сап-* 'отрубить' (*кизе* < *кис-* 'резать'); *чаза таста-* 'раскидать', *чаза тарт-* 'разворачивать, растягивать', *чаза тут-* 'разжимать' (*чаза* < *час-* 'развертывать, расстилать'); *чара сап-* 'расколоть, расщеплять, разрубить', *чара кис-* 'разрезать', *чара тарт-* 'разодрать, растерзать' (*чара* < *чар-* 'колоть, раскалывать'); *сығара тарт-* 'вытаскивать', *сығара сӱр-* 'выпроваживать', *сығара сегiр-* 'выпрыгивать, выскакивать', *сығара учух-* 'вылетать, улетать', *сығара чыл-* 'выползать' (*сығара* < *сығар-* 'выводить наружу'); *кире чӱгӱр-* 'вбегать' (*кире* < *кир-* 'заставлять войти внутрь').

В тофаларском языке[12]: *үзе тырт-* 'оторвать', *үзе тут-* 'задушить', *үзе как-* 'убить ударом', *үзе кес-* 'перерезать', *үзе эттэ-* 'отсечь, отрубить' (*үзе* < *үс-* 'оторвать'); *үндүрү тырт-* 'вытащить, выволочь', *үндүрү сыбыр-* 'выгнать' (*үндүрү* < *үндүр-* 'вывести наружу'); *киирi тырт-* 'втащить, затащить', *киирi шаг-* 'вбивать, вколачивать' (*киирi* < *киир-* 'вводить внутрь'); *кесе эттэ-* 'отрубить, отсечь' (*кесе* < *кес-* 'резать'); *чуура эттэ-*, 'раздробить ударом' (*чуура* < *чуур-* 'раздробить'); *ыра как-* 'расколоть пополам', *ыра тырт-* 'разорвать, потянув' (*ыра* < *ыр-* 'раскалывать').

В тувинском языке[13]: *үзе шап-* 'разрубить', *үзе тырт-* 'разрывать' (*үзе* < *үс-* 'оторвать'); *чара бас-* 'раздавить', *чара кес-* 'разрезать' (*чара* < *чар-* 'раскалывать'); *чедир кыл-* 'доделать' (*чедир* < *чедир-* 'доводить'); *үндүр ит-* 'выталкивать', *үндүр шап-* 'выбить', *үндүр тырт-* 'вытащить' (*үндүр* < *үндүр-* 'выводить наружу'); *чуура шап-* 'раздробить, разбить' (*чуура* < *чуур-* 'раздробить'); *киир как-* 'вбивать', *киир тырт-* 'втаскивать', *киир бас-* 'вдавливать' (*киир* < *киир-* 'вводить внутрь').

В якутском языке[14]: *быһа тарт-* 'перервать', *быһа сиэ-* 'переесть — о ржавчине', *быһа ытыр-* 'перекусить', *быһа батта-* 'перерезать' (*быһа* < *быс-* 'резать'); *хайа оғус-* 'расколоть', *хайа быс-* 'разрезать', *хайа тарт-* 'разорвать', *хайа хат-* 'рассохнуться', *хайа ас-* 'рассечь' (этимология *хайа* неизвестна); *тосту тарт-* 'дернуть и сломать', *тосту оғус-* 'переломить ударом' (*тосту* < *тоһун-* 'ломаться, переламываться'); *тобулу түс-* 'провалиться', *тобулу ас-* 'проткнуть', *тобулу үүн-* 'прорасти' (*тобулу* < *тобул-*

[11] Примеры взяты из: Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасско-русский словарь. М., 1953; Русско-хакасский словарь. Под ред. Д. И. Чанкова. М., 1961.

[12] Примеры взяты из наших собственных полевых записей.

[13] Примеры см.: Тувинско-русский словарь. Под ред. Э. Р. Тенишева. М., 1968; Русско-тувинский словарь. Под ред. А. А. Пальмбаха. М., 1953.

[14] Примеры взяты из: Якутско-русский словарь. Под ред. П. А. Слепцова. М., 1972; Русско-якутский словарь. Под ред. П. С. Афанасьева и Л. Н. Харитонова. М., 1968.

'прорубать, пробивать'); *халты быс-* 'резать скользом' (*халты* < монг. qaltu 'скользом'); *мүлтү бар-* 'соскальзывать' (*мүлтү* < монг. mültü 'скользом'); *үлтү түһэр-* 'разбить вдребезги, уронив', *үлтү кырбаа-* 'сильно избить' (*үлтү* < монг. ültü 'вдребезги'). В якутском языке много превербов, заимствованных из монгольского языка. Наличие сходного типологически явления в монгольских языках способствовало взаимопроникновению ряда превербов из монгольских языков в тюркские, и наоборот. Так, тофаларский преверб *үлтү* (например, *үлтү боола-* 'разбить вдребезги выстрелом') тоже взят из монгольского языка, а, например, монгольские превербы qaγa 'раскалывая, разбивая', ǰulγa 'сдирая', čoγu 'насквозь, продырявливая' можно возвести к форме деепричастия на *-а/-е* от тюркских глаголов qaq- 'бить', julq- 'обдирать', čoq- 'бить' [15].

В тюркских языках, как видно из примеров, превербы внешне представляют собой форму слитного деепричастия на *-а/-е* и притом зачастую от каузативных глаголов. Употребление каузативов (например, *чыгара*, *үндүрү*, *киире*, *тӱжӱре* и т. п.) там, где по смыслу высказывания (особенно при медиальных глаголах) каузативность кажется излишней (ср., например, шор. *шыгара кӧр-* 'выглядывать', хак. *сығара учух-* 'вылетать' и т. п.), свидетельствует о полной абстракции этих лексем, отвлечении от функции и значения деепричастия, грамматикализации их и превращении в служебный элемент, привносящий в конструкцию дополнительные семантические оттенки.

Во всех остальных тюркских языках нет подобной системы превербов. В них можно найти лишь спорадические сочетания типа башк. *яҙа ат-* 'промахнуться', *яҙа баҫ-* 'оступиться'; ног. *кыя яз-* 'писать наклонно', *кесе оьт-* 'пройти наперерез'; кирг. *кесе чап-* 'пресечь, отрубить', *жапшыра чап-* 'стукнуть так, чтобы прилип', *жаза сүйлө-* 'обмолвиться, ошибиться в слове', и т. п. Понятия же типа 'влетел', 'вылетел', 'втащил', 'вытащил' и т. п., передаваемые в тюркских языках Саяно-Алтая обычно при помощи составных глаголов с превербами, в других тюркских языках имеют совершенно иное выражение: здесь употребительны аналитические конструкции, в которых основной глагол стоит в форме деепричастия на *-п*, а направление или способ действия передаются вспомогательными глаголами *кел-* 'прийти', *кет-* 'уйти', *чык-* 'выйти', *кир-* 'войти' и т. п. Ср., например, в татарском языке: *очып чыкты* 'вылетел', *очып керде* 'влетел', *очып китте* 'улетел', *сөреп чыгарды* 'вытащил' и т. д.

[15] В отдельной работе нами специально рассмотрен вопрос о типологическом сходстве систем превербов в тюркских и монгольских языках и дана расшифровка на тюркском материале некоторых монгольских превербов. См.: В. И. Рассадин. Об одной монгольско-тюркской корреспонденции в морфологии (в печати).

В лексическом отношении тюркские языки Саяно-Алтая кроме общетюркских слов типа *ат* 'лошадь', *киши* 'человек', *тур-* 'стоять', *бол-* 'стать; быть', *бар-* 'пойти', *беш* 'пять', *кун* 'день' и т. п. объединяет целый пласт лексем, не имеющих параллелей в других тюркских и нетюркских языках. Нам удалось путем проведения широкого сравнения выявить многие десятки слов этого типа. Наличие большого общего пласта специфической лексики объединяет рассматриваемые языки в одну группу. С точки зрения семантики этот общий лексический слой неоднороден. Однако все же можно распределить эти слова на ряд крупных лексико-семантических групп. Для более полной характеристики данного региона языков приведем ниже некоторые наиболее характерные из этих самобытных слов. При этом не всегда слова распространены абсолютно по всем языкам, для нас важно и весьма показательно уже и то, что отдельные лексемы бытуют в довольно отдаленных друг от друга языках, например тофаларском и шорском, тофаларском и алтайском и т. п. Это тоже свидетельствует об их древности и былом широком распространении в рассматриваемом регионе.

Лексика, связанная с ландшафтом

арыскан (алт., тоф., тув.) 'гарь';

меес (алт.), *мӗэ̃с* (тоф.), *мээс* (тув.) 'безлесный южный склон горы';

јум в выражении *јум агаш* (алт.) 'девственный лес', *ним* (тоф.) 'чистый, нетронутый, девственный — о местности, пастбище и т. п.';

каскак: *каскак јер* (алт.) 'круча', *каскак* (тоф., тув.) 'труднопроходимый крутой склон горы, заросший кустарником';

сеп (тоф., тув.), *сип* (хак.) 'залив на реке, озере';

учар (алт.) 'водопад', *ушар* (тоф., тув.) 'водопад; порог' (возможно, в основе этого слова лежит общетюркский корень *уч-* 'лететь').

Флористическая терминология

ай (алт., шор.) в сложном слове *саргай* (< *сарыг ай*), *ай* (хак.) в сложном слове *сарғай* (< *сарығ ай*), *ай* (тоф., тув.) 'сарана';

мӧш (алт.), *бөш* (тоф.), *пөш* (тув.) 'кедр', *бэс* (як.) 'сосна';

тая (алт.) 'кустарник', *дайа* (тоф.), *дая* (тув.) 'жимолость';

јыраа (алт.) 'кустарник', *чыраа* (хак.) — название кустарника, *чыраа* (тоф.) 'карликовая береза, ерник', *чыраа* (тув.) 'ивняк';

сӧгӱскен, *сӧскӧн* (алт.), *сөөскен* (тоф., тув.) 'таволга';

казылган (алт.) — вид черной смородины, *казылган* (тоф., гутаринский говор) 'рододендрон', *казылган* (тув.) — кустарник с черными ягодами;

15 Заказ № 1873

јойгон (алт.), *чойган* (тоф., тув.) 'пихта';

чиби (алт.), *шиби* (тоф.), *шиви* (тув.) 'ель', *сыбы* (хак.) 'ель; пихта', *шӱбе* (шор.) 'пихта';

эргӱӱш (алт.), *ээргүүс* (тоф.), *ээргииш* (тув.) 'рябина';

јеңес (алт.), *неңес* (тоф.), *чиңис* (тув.), *чеңіс* (хак., сагайский диалект) 'мох';

чейне (алт.), *шеңнэ* (тоф.), *шеңне* (тув.), *сиңне* (хак.), *шеңде*, *шейне* (шор.) 'пион, марьин корень';

кылбыш (алт., тоф., тув.) 'бадан';

калма (алт.), *һылба* (тоф.), *хылба* (тув.), *халба* (хак.), *калба* (шор.) 'черемша';

ухсум (хак.), *оксум* (шор.), *уксум* (чул.-тюрк.) 'дикий лук';

сарапсын (алт.), *сарапсал* (тув.), *сарапсы* (тоджинский диалект тувинского языка), *сарапсы* (тоф.) 'ревень';

сіген (тоф., хак.) — вид травы, *сиген* (тув.) 'трава; сено';

куулгы (алт. — телеутский диалект, тоф., тув.), *хуулған* (хак.) 'сухостойное дерево';

тазыл (алт., тоф., шор., бараб.), *дазыл* (тув.), *тазылға* (хак.) 'торчащий корень вывернутого дерева';

чобра, *чобыра* (алт.) 'кора лиственницы', *чөъпрәә* (тоф.) 'кора хвойных деревьев', *чөвүрээ* (тув.) 'кора', *собыра* (хак.) 'сухая кора тополя';

шаңда (алт., тув.) 'кора', *шаңда* (тоф.) 'слой коры под берестой', *шаңда* (шор.) 'гнилая древесина березы';

тоорчык (алт.) 'шишка — еловая и пихтовая', *тоорук* (тоф.) 'шишка остальных хвойных деревьев, кроме кедра', *тоорук* (тув.) 'кедровая шишка', *торым* (хак.), *тоорум* (шор.), *тооргaн* (чул.-тюрк.) 'шишка', *туорах* (як.) 'древесная шишка'.

Лексика, относящаяся к животному миру

анай (алт., тув.), *аъңһай* (тоф.) 'олененок';

бабырган (алт.), *пабырған* (хак.), *аъпырган* (тоф.), *авырган* (тув.) 'белка-летяга';

кӧрӱк (алт., шор.), *кӧрік* (хак.), *һөөрүк* (тоф.), *хөөрүк* (тув.), *кӱвäрік* (чул.-тюрк.) 'бурундук';

ӧркӧ (алт.), *ӧрке* (хак.), *өрге* (тоф., тув.), *өргүө* (як.) 'суслик';

тооргы, *табыргы* (алт.), *табырға* (хак. — сагайский диалект), *табыргы* (шор.), *тооргу* (тоф., тув.) 'кабарга';

ӱс (алт., хак., шор., чул.-тюрк.), *үс* (тоф., тув.), *үүс* (як.) 'рысь';

томуртка (алт.), *тобырғы* (хак.), *тоһорго* (тоф.), *торгу* (тув.) 'дятел';

кеерген (хак., шор.), *кеэрһен* (тоф.), *кээрген* (тув.) 'кедровка';

чилен: кара чилен (алт.), *шилен* (тоф.) 'аист', *шилен* (тув.), *сӱлен* (хак.), *шӱлен* (шор.) 'цапля';

сымда (алт.), *сым*, *сымна* (хак.), *сымны* (чул.-тюрк.), *сынма* (шор.) 'рябчик';

таркат (алт.), *тарһат* (тоф.) 'утка-крохаль';

тарағай (хак.), *таргый* (тоф.), *даргый* (тув.) 'бекас';

мечиртке (алт.), *беһерген* (тоф.), *межерген* (тув.), *мэкчиргэ* (як.) 'сова';

таскачак (алт., шор.), *таскадзак* (чул.-тюрк.) 'сова, сыч';

эсір (тоф.), *эзир* (тув.) 'орел', *эсир* (як.) — птица наподобие журавля;

маас (алт., хак., тув.), *мас* (тоф.) 'паут, овод';

бел (алт., тоф., тув.), *пил* (хак.), *пел* (шор.), *бил* (як.) 'таймень';

миит (тоф.), *мыйыт* (тув.), *быйыт* (як.) 'ленок (рыба)';

чойлошкон (алт.), *шойлашкан* (тоф.), *шыйлашкын* (тув.) 'дождевой червь'.

Названия утвари, частей жилища, орудий труда, одежды

кылјы (алт.), *һыльчжы* (тоф.), *хылчы* (хак. — сагайский диалект), *хылчағ*, *хылға* (хак.), *кылы* (шор.), *кылдьыы* (як.) 'дужка ведра';

илјирме (алт.), *ильчжирме* (тоф.), *илчирбе* (тув.), *ілчірбе* (хак.), *илчирбе* (шор.) 'очажная цепочка';

соо (тоф., тув., шор.[16]) 'берестяной сосуд';

барба (тоф., тув.) 'переметная сума', *марба* (як.) 'кожаный мешок';

сыран (алт. — телеутский диалект[17]) — один из шести основных шестов чума, *сыран* (тоф.) — опорный шест чума, к которому привязывается очажная цепочка и который поддерживает весь остов чума, *суран* (тув.) 'основа берестяного чума';

озуп, *оозык* (алт.), *осук* (тоф.), *озук* (тув.), *усып*, *оозуп*, *озук* (хак.), *осуп* (шор.) 'корнекопалка';

орбо (алт.), *орпа* (тоф.), *орба* (тув., хак., шор.) 'колотушка шаманского бубна' (происходит, вероятно, от глагола *ор-* 'бить, ударять', не сохранившегося в языках Саяно-Алтая, но широко представленного в других тюркских языках);

теербек (алт.) — кольца, которые опоясывают колотушку шаманского бубна, *дээрбек* (тоф., тув.) 'подвески на поясе';

чүъпүр (тоф.), *чүвүр* (тув.) 'штаны', *сӱбӱр* (хак. — качинский диалект) 'панталоны';

јакы (алт.), *чагы* (тоф., тув.) 'шуба, доха', *чагы* (шор.) 'шуба из собачьих шкур';

---

[16] См.: В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 4. СПб., 1911, стб. 512.

[17] См. там же, стб. 639.

ая (алт., тув., хак.), *айа* (тоф., шор., як.) 'лук-самострел';

согон (алт.), *согун* (тоф., тув., чул.-тюрк.), *соған* (хак.), *соган* (шор.), *оноҕос* (як., метатеза) 'стрела' (возможно, слово происходит от глагола *сок-* 'бить, ударять');

эдиске (алт.), *эътіскі* (тоф.), *эдиски* (тув., шор.) 'манок-пищик на косулю, кабаргу' (вероятно, в основе слова лежит глагол *эт-* 'издавать звук', сохранившийся, например, в тофаларском *эът-* и тувинском *эт-* в значении 'издавать звук, кричать — о животных', в якутском языке *эт-* 'говорить — о человеке, куковать; греметь — о громе' и зафиксированный в древнетюркском языке ät- 'петь — о птицах').

Глаголы

кажай- (алт.), *хазар-* (хак.), *каъhяр-* (тоф.), *кажарар-* (тув.) 'побелеть, поседеть; виднеться белым' (ср. кирг. *кашкай-* — id., *кашка* 'белая отметина на лбу животных'; возможно, во всех этих словах общий корень **каш*);

кыйбыңда- (алт. — тубаларский диалект [18]) 'двигаться, шевелиться', *хойбаңна-* (хак.) 'вилять, извиваться', *кыйпаңна-* (тоф.) 'двигаться зигзагами', *кыйпа-* (тоф.) 'отклоняться в сторону при движении', *кыйбыңна-* (тув.) 'ерзать, вертеться, шевелиться', *кыйба-* (тув.) 'отклоняться — от цели; слоняться без цели', *куйбаңнаа-*, *куймаңнаа-* (як.) 'извиваться, вилять, вихлять';

калаңда (алт.) 'качаться, свисая, болтаться из стороны в сторону', *халбаңна-* (хак.) 'болтаться — об одежде', *hалаңна-* (тоф.) 'свисая, качаться из стороны в сторону, болтаться', *калбаңна* (шор., тув.) 'качаться, колебаться, болтаться — от ветра', *халбаңнаа-* (як.) 'сдвигаться с места; шататься';

мергеде- (алт.), *миргеле-* (хак.), *мерhеле-* (тоф.), *мергеле-* (тув.) 'кидать, швырять';

тӱл- (алт.), *дул-* (тоф., тув.) 'класть мясо в котел для варки; варить мясо в котле';

тур- (тоф., тув.), *туур-* (як.) 'выбить, вышибить';

чымыра-, *чыбыра-*, *шымыра-* (алт.), *сыбыра-* (хак.), *сыбра-* (шор.), *сымыра-* (тоф.), *сымыран-* (тув.) 'шептать';

јыңыла- (алт.), *чуңгула-* (тоф., тув.) 'скользить, кататься на чем-либо скользком'.

Прочие слова

аамай (алт., тоф., тув.), *аңмай* (шор.) 'ротозей', ср. *аңмай-* (хак.), *амай-* (як.) 'ротозейничать';

---

[18] См.: Н. А. Баскаков. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (туба-кижи). Грамматический очерк и словарь. М., 1966, с. 134.

мерге (алт., тув.), *мирге* (хак.), *мерһе* (тоф.) 'палка, бита';

соот (алт.) 'забава, развлечение, увеселение', *соот*: *чуга-соот* (тув.) 'разговоры', *соот* (тоф.) 'слово', ср. *соотас-* (хак., чул.-тюрк.) 'говорить, беседовать';

коос (алт. — в телеутском диалекте [19]) 'красивый; щеголь; украшение, убранство', *хоос* (хак.) 'рисунок, узор; украшение, вышивка', *куас* (бараб., чул.-тюрк.) [20] 'франтоватый; красивый, видный', *каас* (тоф.) 'нарядный; узор, украшение', *каас* (тув.) 'нарядный, пышный';

энір (тоф.), *энир* (тув.), *үнүр* (як.) 'недавно';

эн: *эн эт* 'мышцы спины', *эн учук* 'спинные жилы' (алт.), *ээн*: *ээн эт* (тув.), *эн*: *эн эът* (тоф.) 'мышцы спины', *иэн* (як.) 'нижняя часть спины от поясницы до крестца';

эдір (тоф.) 'жировая подушка поверх желудка', *эдир* (тув.), *итир* (як.) 'сальник';

чырымһа (тоф.) 'болонь, пленка на мясе', *шырыңма* (тув.) 'пленка'; *сырыңма* (шор.) 'лишайник';

саат (алт. — в теленгитском диалекте [21]) 'яремная жила на шее', *саат* (тоф.) 'шейная жила', *саат* (тув.) 'сонная артерия';

аай (алт., тоф., тув.) 'порядок, суть, толк', *аанья* (як.) 'соразмерность, суть, толк';

адыш (тоф., тув.), *ытыс* (як.) 'ладонь';

чедирген (алт.), *шедірген* (тоф.) 'искра'.

Как можно видеть из приведенных здесь примеров, этот общий специфичный лексический слой состоит в основном из названий, отражающих особенности местного ландшафта и охотничьего и собирательского быта, местную флору и фауну. Дальнейшая работа над расширением этого пласта слов могла бы выявить много интересных общих деталей быта тюркских народов Саяно-Алтая, отраженных в языке.

Приведенные слова можно, с одной стороны, трактовать как остатки местного субстрата, если встать на вполне справедливую, по нашему мнению, точку зрения, согласно которой современные тюркские языки Саяно-Алтая и Хакасско-Минусинской котловины образовались в результате распространения какого-то древнего тюркского языка среди аборигенных нетюркских племен [22]. По предположению Е. И. Убрятовой, таким языком мог быть какой-то древний тюркский язык кыпчакского типа. «Древний киргизский язык, по всей вероятности, относился к языкам кыпчакского типа. Распространение его в среде разноязычных

---

[19] См.: В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 2, стб. 621.

[20] Там же, стб. 887.

[21] По нашим полевым записям.

[22] См.: Е. И. Убрятова. Вопросы диалектологии тюркских языков. — Вопросы диалектологии тюркских языков. Т. 3. Баку, 1963, с. 85.

племен и дало разные племенные языки с общей основой. . .»[23]. Но поскольку субстрат в этом регионе был разный (угры, самодийцы, кеты), более вероятно другое предположение: этот общий лексический слой может быть остатком именно того древнего тюркского языка (возможно, древнекыргызского), который был воспринят местными аборигенными племенами. Кроме того, многие из этих слов бытуют и у якутов. А они могли унести их на Лену со своей старой родины, Присаянья и Прибайкалья, где были, вероятно, тесно связаны с рассматриваемым ареалом тюркских языков.

Оглушение же согласных в анлауте следует отнести к влиянию субстрата, как совершенно справедливо считал А. П. Дульзон, так как это — особенность угро-самодийских и кетских языков[24]. Данное мнение поддерживает М. И. Боргояков[25]. К такому же выводу пришла и Н. З. Гаджиева, установив, что тюркские исконные глухие согласные анлаута озвончились, а затем опять оглушились в сибирских тюркских языках под влиянием субстрата[26].

Наличие глухого анлаута, согласного -z- в инлауте (на месте -j- и -d- других тюркских языков) и ряд иных признаков позволяют отнести к языкам Саяно-Алтая (конкретно — к хакасской подгруппе) и язык желтых уйгуров[27]. По z-признаку и ряду других сюда же следует включить и язык кыргызов уезда Фуюй[28].

Однако в лексическом составе языка желтых уйгуров и языке кыргызов уезда Фуюй отсутствуют параллели к тем примерам, которые мы привели выше и которые характерны для тюркских языков Саяно-Алтая, хотя одно слово все же удалось найти: ж.-уйг. *егеш*[29], igeš, jigeš[30] 'сука' можно сопоставить с алт. *ээш* 'самка медведя', шор. *ээш аң* 'самка соболя', тоф. *э͠эш*, тув.-тодж. *ээш* 'самка соболя, медведя'. Интересно также бытование параллелей к ж.-уйг. *езер* 'седло' с z-признаком не только в языках

---

[23] Там же, с. 86.

[24] См.: А. П. Дульзон. Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири. — Структура и история тюркских языков. М., 1971, с. 203.

[25] См.: М. И. Боргояков. К истории языковых отношений в Саяно-Алтайском регионе (IX—XII вв.). — ТС-1974. М., 1978, с. 61.

[26] См.: Н. З. Гаджиева. К истории анлаута в тюркских языках. — Тюркологические исследования. М., 1976, с. 93; она же. О трех этапах изменений анлаутных согласных в истории тюркских языков. — ТС-1974. М., 1978, с. 71.

[27] Подробнее см. об этом: М. И. Боргояков. К истории языковых отношений, с. 58—64.

[28] См.: Э. Р. Тенишев. О языке кыргызов уезда Фуюй (КНР). — ВЯ. 1966, № 1, с. 94; М. И. Боргояков. К истории языковых отношений, с. 57—59, 64.

[29] См.: С. Е. Малов. Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. А.-А., 1957.

[30] См.: Э. Р. Тенишев. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976, с. 181, 184.

хакасов и шорцев (ср. хак. *изер*, шор. *эзер* 'седло'), но и в языках тофаларов и тувинцев (ср. тоф. *эзер*, тув. *эзер* — id.), хотя во всех остальных словах в тофаларском и тувинском языках в инлауте представлен согласный -d- (ср. хак. *пöзiк*, шор. *мöзӱк* — тоф., тув. *бедик* 'высокий').

Отсутствие достаточно полных лексических материалов по языкам желтых уйгуров и кыргызов уезда Фуюй не позволяет пока провести широкие лексические сравнения их с языками тюрков Саяно-Алтая.

Приведенные в данной статье фонетические, грамматические и лексические материалы убеждают, что, хотя современные тюркские языки и входят классификационно в разные группы и подгруппы, они в то же время сохраняют в себе следы былой общности. Наличие однотипных конструкций с превербами, а также ряда глаголов, наречий и прилагательных, характерных только для них, свидетельствует, что это единство, общность их достаточно глубоки и речь не может идти, разумеется, лишь о единичных взаимных лексических заимствованиях, распространившихся в результате маргинального контактирования родственных языков внутри данного ареала.

Нам представляется, что весьма плодотворным было бы проведение более широких и углубленных исследований внутри ареала саяно-алтайских тюркских языков, чтобы полнее и рельефнее выявить те черты, которые объединяют их и могут, вероятно, принадлежать тому древнему тюркскому языку, который распространился среди аборигенных племен рассматриваемого региона.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

алт. — алтайский язык
бараб. — язык барабинских татар
башк. — башкирский язык
др.-тюрк. — древнетюркский язык
ж.-уйг. — язык желтых уйгуров
каз. — казахский язык
кирг. — киргизский язык
куманд. — кумандинский диалект алтайского языка
ног. — ногайский язык
тоф. — тофаларский язык
тубал. — тубаларский диалект алтайского языка
тув. — тувинский язык
хак. — хакасский язык
чул.-тюрк. — чулымско-тюркский язык
шор. — шорский язык
як. — якутский язык

Д. Г. Савинов

АНТРОПОМОРФНЫЕ ИЗВАЯНИЯ И ВОПРОС О РАННИХ ТЮРКО-КЫРГЫЗСКИХ СВЯЗЯХ

В культуре саяно-алтайских тюрков и енисейских кыргызов можно выделить ряд общих элементов. Это — памятники рунической письменности, по праву названной орхоно-енисейской; многие черты социальной организации и терминологии; обряд трупосожжения, бытовавший у правящей тюркской династии Ашина приблизительно до 630 г., а у енисейских кыргызов на всем протяжении существования их культуры; обычай сооружения тайников при погребениях и близкие формы предметов сопроводительного инвентаря (серебряных сосудов, поясных наборов, предметов вооружения и конского убранства); использование изображений различных животных в погребальном ритуале: в Центральной Азии — в основном каменных изваяний львов, стоящих у поминальных комплексов тюркских каганов, в Южной Сибири, на Енисее — преимущественно изображений баранов, встречающихся как в виде наземной скульптуры, так и среди предметов мелкой пластики непосредственно в погребениях. Однако в Минусинской котловине известны и два каменных изваяния в виде львов, близкие к древнетюркским [1]. Обряд трупосожжения и изготовление погребальной скульптуры уже рассматривались Л. Р. Кызласовым как результат участия южного компонента в сложении таштыкской культуры, давшей начало культуре енисейских кыргызов [2].

Приведенные параллели достаточно многочисленны и вряд ли могут объясняться только культурными заимствованиями между древними тюрками и енисейскими кыргызами в период существования созданных ими государственных объединений в середине

---

[1] М. П. Грязнов, Е. Р. Шнейдер. Древние изваяния Минусинских степей. — МЭ. Т. 3. Вып. 2. 1927, с. 85.

[2] Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960, с. 161—166.

I тысячелетия н. э. Можно предполагать также и наличие общей основы субстратного характера, к которой восходят многие элементы тюрко-кыргызского комплекса. К сожалению, археологические материалы, относящиеся к первым векам нашей эры, т. е. синхронные таштыкской культуре Минусинской котловины, пока остаются в Центральной Азии недостаточно изученными. В этих условиях особое значение приобретают памятники изобразительного искусства, более доступные с точки зрения визуального наблюдения, в частности антропоморфные изваяния, изготовление которых имеет у народов Центральной Азии и Южной Сибири очень глубокие традиции («оленные камни», таштыкские стелы, древнетюркские изваяния).

«ОЛЕННЫЕ КАМНИ»

До недавнего времени считалось, что «оленные камни», одни из наиболее ярких мегалитических памятников Центральной Азии скифского времени, изображают человеческую фигуру, но лишенную конкретных признаков антропоморфности [3]. На их поверхности в определенном порядке наносился устойчивый комплекс изображений: опоясывающие линии наверху (ожерелье) и внизу (пояс с подвешенными к нему предметами вооружения); пространство между поясом и ожерельем заполнялось чаще всего изображениями оленей, различным образом стилизованных (отсюда и название — «оленные камни»), но встречаются и рисунки других животных — лошадей, кабанов, козлов, верблюдов, реже собак и птиц. Выше ожерелья на боковых сторонах находятся кольца-серьги, а на лицевой стороне — три (реже две) наклонные параллельные линии — символическое изображение лица. Однако уже в ранее опубликованных материалах, посвященных «оленным камням» в Монголии [4], Забайкалье [5] и на Алтае [6], может быть выделена серия изваяний с подлинным изображением

---

[3] Н. Л. Членова. Об оленных камнях Монголии и Сибири. — Монгольский археологический сборник. М., 1962, с. 30—34; Д. Г. Савинов. О культурной принадлежности Севрокавказских камней-обелисков. — Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М., 1977, с. 125—128.

[4] К. В. Вяткина. Археологические памятники в Монгольской Народной Республике. — СЭ. 1959, № 1, рис. 11, а; Н. Сэр-Оджав. Монголые тэв умарт хэсгийн археологийн талаар судлан шинжилсэн нь. — «Studia archeologica». 4. Fasc. 7. Улаанбаатар, 1966, с. 6; J. G. Gräno. Archeologische Beobachtungen von meiner Reise in Südsibirien und der Nordwestmongolei im Jahre 1909. — JSFOu. 1912, Taf. 12, fig. 3.

[5] Н. Н. Диков. Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ. 1958, табл. XV, 4.

[6] Г. Н. Потанин. Памятники древности в Северо-Западной Монголии, замеченные во время поездки в 1879 г. — Древности. Т. 10. М., 1885, с. 53 (Иллюстрации см.: Древности. Т. 11. Вып. 2. М., 1886, рис. 12—14).

человеческого лица, т. е. в полном смысле слова антропоморфных (см. рис. 1, *2*, *4*, *5*, *7*). На одном из «оленных камней» Тувы (Самагалтай) показаны даже руки (рис. 1, *9*) [7]. Значительное количество антропоморфных «оленных камней» было открыто в последние годы Советско-Монгольской историко-культурной экспедицией [8]. Среди них лучшее изображение — в комплексе «оленных камней» из Ушкийн-Увэра (рис. 1, *4*) [9].

В этой связи, по-видимому, следует обратить внимание на различного рода обработанные стелы, в частности так называемые «плиты с нависанием», которым намеренно придавались очертания человеческой фигуры. Они известны в Туве [10], Монголии [11] и в Минусинской котловине (рис. 1, *8*) [12]. Значение выступа в верхней части этих камней стало понятным благодаря находке «оленного камня» из Аргын-бригады (Северная Монголия), где в этом месте нанесено изображение человеческого лица (рис. 1, *2*) [13]. Вполне возможно, что в Минусинской котловине, где настоящих «оленных камней» не найдено и где, судя по степени изученности этой территории, они вряд ли будут обнаружены, их заменяли именно такие примитивные воспроизведения человеческой фигуры. Памятники подобного рода значительно расширяют ареал распространения антропоморфной скульптуры на севере Центральной Азии в I тысячелетии до н. э.

По условиям своего местонахождения «оленные камни» связаны с различными видами сооружений — оградками и выкладками, курганами и хэрексурами, плиточными могилами; встречаются и отдельно стоящие камни. Расположение их относительно оградок различно: чаще всего они помещаются внутри них, но зафиксированы и случаи, когда «оленный камень» находится

---

[7] Это изваяние публиковалось неоднократно. См.: М. П. Грязнов. К вопросу о сложении культур скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана Аржан. — КСИА. № 154. М., 1978, рис. 4.

[8] См. сообщения о работах Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции в «Археологических открытиях» начиная с 1969 г.

[9] В. В. Волков, Э. А. Новгородова. Оленные камни Ушкийн-Увэра (Монголия). — Первобытная археология Сибири. Л., 1975, с. 78—84, рис. 3.

[10] Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев. Саяно-Алтайская экспедиция. — КСИИМК. Вып. 26. 1949, рис. 12, 5.

[11] J. G. Gränö. Archeologische Beobachtungen, Taf. 12, fig. 2.

[12] H. Appelgren-Kivalo. Alt-altaische Kunstdenkmäler. Helsingfors, 1931, Abb. 240.

[13] Б. И. Вайнберг, Э. А. Новгородова. Заметки о знаках и тамгах Монголии. — История и культура народов Средней Азии. М., 1976, рис. 4. «Оленные камни» типа Аргын-бригады по общему оформлению удивительно напоминают некоторые изваяния окуневской культуры (см.: Э. Б. Вадецкая. Древние идолы Енисея. Л., 1967, рис. 18). Можно предполагать, что традиция изготовления стел с «нависанием» существовала в Южной Сибири весьма длительное время.

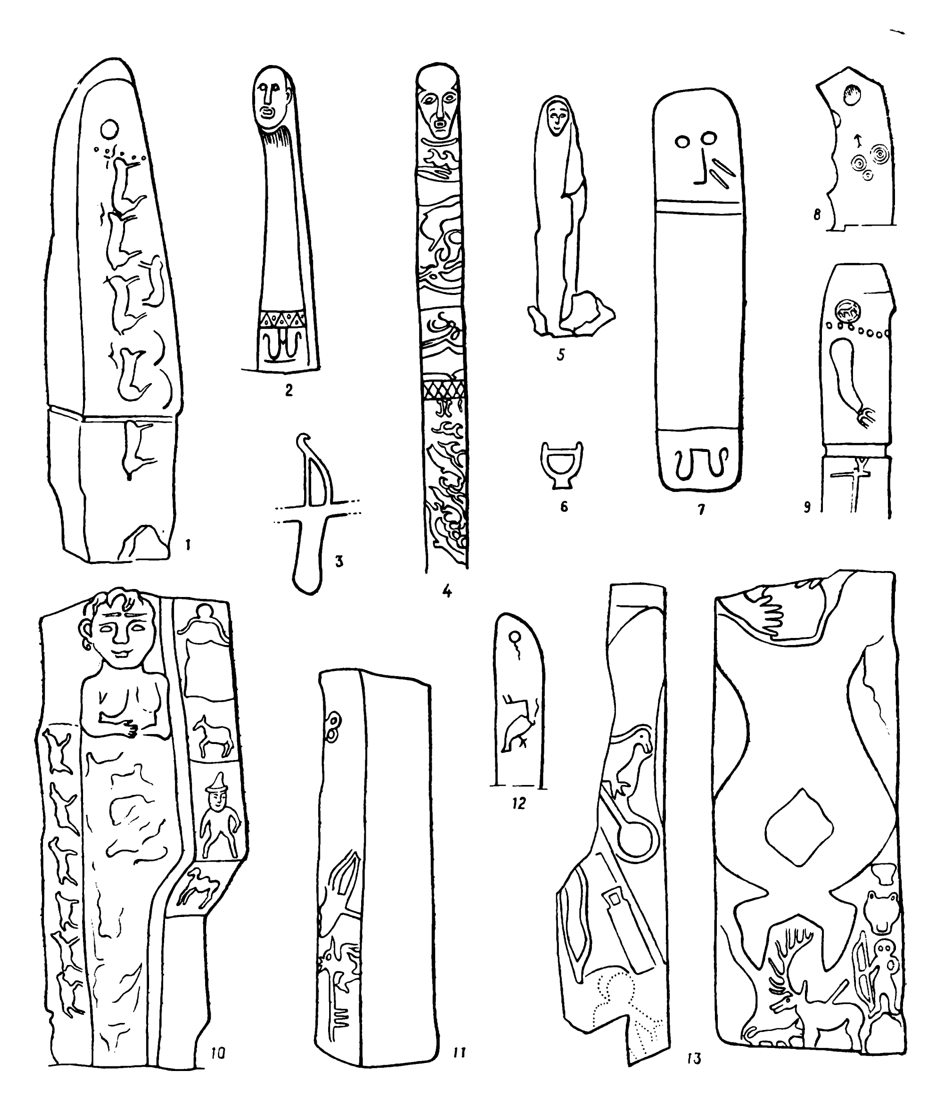


Рис. 1. *1—9*, *12* — «оленные камни»; *10*, *11*, *13* — таштыкские стелы:

1 — Аржан, Уюк (по Х. Аппельгрену-Кивало), *2* — Агрын-бригада (по Б. И. Вайнберг, Э. А. Новгородовой), *3* — Кокорю (рис. автора), *4* — Ушкийн-Увэр (по В. В. Волкову, Э. А. Новгородовой), *5* — камень на Чуйском тракте (по Г. Н. Потанину), *6* — Саглы (рис. автора), *7* — Хубсугол (по Н. Сэр-Оджаву), *8* — Усть-Есь (по Х. Аппельгрену-Кивало), *9* — Самагалтай (по М. П. Грязнову), *10* — Улу-Кыс-таш (по Г. И. Спасскому), *11* — Кижи-таш (по И. К. Аспелину), *12* — Западный Алтай (по А. В. Адрианову), *13* — р. Нени (по Л. Р. Кызласову); *1*, *6*, *9* — Тува; *2*, *4*, *7* — Монголия; *3*, *5*, *12* — Алтай; *8*, *10*, *11*, *13* — Минусинская котловина

с внешней стороны оградки (или плиточной могилы) — так позднее устанавливались древнетюркские каменные изваяния [14]. Иногда перед оградкой, в которой помещается «оленный камень», вкапывался каменный столбик типа древнетюркского балбала [15]. Особый интерес вызывают сложные комплексы, включающие большое количество (до десяти и более) «оленных камней», расположенных в определенном порядке и явно отражающих какую-то закономерность в проведении связанного с ними ритуала. Судя по опубликованным материалам, они представляли собой или сплошные вымостки (возможно, слившиеся ограды), на поверхности которых в направлении ЮЗ—СВ были установлены «оленные камни»; или серию отдельных небольших округлых выкладок, расположенных рядами в направлении ЮВ—СЗ, каждая из которых сопровождалась «оленным камнем» [16]. Впрочем, возможны и другие варианты, пока — до раскопок — неизвестные. В Монголии, например, на р. Каттык был исследован сложный комплекс, состоящий из «каменных выкладок, мощеных дорожек, круглых жертвенников и прямо стоящих камней». Посередине всего сооружения находился основной жертвенник, вписанный в прямоугольную ограду, на стенках которой помимо обычных «оленных мотивов» были нанесены сюжеты солярного культа (изображение солнца с бараньими рогами и др.) [17]. Во всех случаях, когда это удается определить, узкие грани «оленных камней», на которых находятся наклонные параллельные линии или изображение лица, обращены преимущественно на восток.

Вопрос о назначении «оленных камней» пока остается открытым, так как сопровождающие их сооружения почти никогда не раскапывались. Известно, что под Иволгинским камнем в Забайкалье был найден скелет лошади без черепа [18], а при раскопках сложного комплекса, включающего более тридцати «оленных камней», на р. Юстыд (Горный Алтай) в расположенных около них кольцевых выкладках были обнаружены следы кострищ и остатки кальцинированных костей [19]. По этим немногочисленным данным

[14] H. Heikel. Inscriptions de l'Orkhon. Helsingfors, 1892, Taf. 65.

[15] В. В. Радлов. Атлас древностей Монголии. Т. 1. СПб., 1892, табл. V; Н. Н. Диков. Бронзовый век Забайкалья, табл. XVI, 1—3.

[16] А. Позднеев. Монголия и монголы. Т. 1. СПб., 1896, с. 217—235; J. G. Gräno. Archeologische Beobachtungen, Taf. 9, 10, 17 u. a.; В. В. Волков, Э. А. Новгородова. Оленные камни, рис. 1; Л. Р. Кызласов. К изучению оленных камней и менгиров. — КСИА. Вып. 154. 1978, рис. 1.

[17] Б. Петри. Древности оз. Косогол (Монголия). Иркутск. 1926, с. 25—27.

[18] А. П. Окладников. Оленный камень с реки Иволги. — СА. 1954, № 19, с. 208.

[19] В. Д. Кубарев. Первые работы в долине р. Юстыд. — АО-1976. 1977, с. 211.

можно предполагать культовое значение «оленных камней» как поминальных памятников, связанных с различного рода местами для жертвоприношений.

ТАШТЫКСКИЕ СТЕЛЫ

Среди знаменитой галереи минусинских каменных изваяний известно два, которые отличаются от всех остальных формой, композицией нанесенных на них изображений и техникой исполнения. Это Кижи-таш (рис. 1, *11*) и Улу-Кыс-таш (рис. 1, *10*), открытые в 1772 г. П. С. Палласом в Могильной степи около с. Аскыз, позднее зарисованные Г. И. Спасским и И. Аспелином и впоследствии неоднократно опубликованные [20]. К тому же кругу памятников, как уже определено исследователями, относится каменная плита с р. Нени, найденная, по данным Л. Р. Кызласова, в пещере и сейчас хранящаяся в Минусинском музее им. Н. М. Мартьянова (рис. 1, *13*) [21]. Аскызские стелы в настоящее время не сохранились, и по поводу достоверности рисунков И. Аспелина и Г. И. Спасского в литературе имеется несколько точек зрения, которые по степени категоричности высказанных суждений можно представить следующим образом. Л. А. Евтюхова считала, что по ним вообще «нельзя разобрать ни деталей, ни техники, которой эти изображения сделаны» [22]. Я. А. Шер определяет их как «весьма неясные и не очень достоверные рисунки» [23]. Л. Р. Кызласов называет их просто «несовершенными» [24]. М. П. Грязнов пишет, что эти памятники известны «по несколько фантастичным зарисовкам Спасского и Аспелина», однако очень точно отметил, что «по технике изображения Кижи-таш и Улу-Кыс-таш напоминают так называемые „оленные камни“ Забайкалья и Монголии, но там углублен рисунок, фоном которому служит гладкая возвышенная поверхность камня, в то время как на наших изваяниях, наоборот, рисунок возвышается на фоне углубленной поверхности камня» [25]. Н. Л. Членова, признавая изображения минусинских изваяний «неточными», счи-

---

[20] Г. И. Спасский. О достопримечательнейших памятниках сибирских древностей и о сходстве некоторых из них с великорусскими. — ЗРГО. Т. 12. 1857, табл. I, рис. 4, 5; М. П. Грязнов, Е. Р. Шнейдер. Древние изваяния, табл. VII, рис. 67, 68; М. П. Грязнов. Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами. — СА. 1950, № 12, рис. 15, 16.

[21] Л. Р. Кызласов. Таштыкские каменные изваяния с изображением людей. — КСИИМК. Вып. 60, рис. 59, с. 142—143.

[22] Л. А. Евтюхова. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии. — МИА. № 24, 1952, с. 96.

[23] Я. А. Шер. Каменные изваяния Семиречья. М.—Л., 1966, с. 59.

[24] Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха, с. 159.

[25] М. П. Грязнов. Минусинские каменные бабы, с. 145—148.

тает, что «все же по рисункам можно составить о них какое-то представление», и, в частности, отмечает изображение лука в налучье и фигуры животных, «высеченные не параллельно, а перпендикулярно к земле, что встречается на оленных камнях» [26]. В то же время многие авторы уверенно говорили о минусинских стелах с изображениями людей как о ранней форме изваяний тюркского типа. Действительно, рисунки И. Аспелина и особенно Г. И. Спасского далеки от совершенства. Тем не менее как общая композиция, так и ряд изображений на них читаются достаточно четко и находят себе аналогии в других памятниках изобразительного искусства Центральной Азии и Южной Сибири. Критерием достоверности в данном случае может служить стела с р. Нени, подлинность которой ни у кого из исследователей сомнения не вызывает.

Антропоморфный облик многих «оленных камней» позволяет по-новому взглянуть на их отношение к минусинским стелам. В том и в другом случае изображение человеческого лица (или фигуры) помещается в верхней части нерасчлененного каменного блока. На Улу-Кыс-таш оно повторяется дважды на смежных сторонах, так же как, например, на «оленном камне» с Чуйского тракта на Алтае [27]. На одной боковой грани этой стелы изображена цепочка идущих друг за другом в вертикальном направлении верблюдов (возможно, среди них есть и лошади) — композиция, аналогичная той, которая уже отмечалась на некоторых «оленных камнях» (рис. 1, *1*, *10*). На другой грани — рогообразный изогнутый предмет, внешне напоминающий «предмет неизвестного назначения», подвешенный к поясу, который встречается на многих монгольских камнях (рис. 1, *2*, *7*). Пояс на минусинских стелах, как и на «оленных камнях», явно не связан с фигурой человека на лицевой стороне. На Кижи-таш на поясе показан сложный лук сигмовидной формы в налучье (рис. 1, *11*). Подобная манера изображения луков, как бы «заткнутых» за пояс, встречается на «оленных камнях», в частности на Алтае (рис. 1, *3*). На этой же стеле отдельно изображено ухо с подвешенной к нему серьгой — характерная черта «оленных камней», даже лишенных признаков антропоморфности. Совпадают и некоторые другие детали — изображения птиц известны на «оленных камнях» Монголии и Алтая (рис. 1, *12*) [28], а рисунок котла, по очертаниям близкий к изображению на стеле с р. Нени, имеется на одном «оленном камне» из Юго-Западной Тувы (рис. 1, *6*) [29].

---

[26] Н. Л. Членова. Об оленных камнях, с. 34.
[27] Г. Н. Потанин. Памятники древности, с. 53.
[28] А. В. Адрианов. К археологии Западного Алтая. — ИАК. № 62. Пг., 1916, рис. 33; Н. Сэр-Оджав. Монголые тэв, с. 2.
[29] Камень открыт в ур. Саглы А. Д. Грачом.

Композиционное оформление минусинских стел в принципе однообразно. Наверху помещается крупное изображение сидящей человеческой фигуры (в одном случае, по-видимому, женской), с сосудом в двух руках, что позволило М. П. Грязнову первому отнести стелы к «ранним формам каменных баб тюркского типа» [30]. Более мелкие рисунки сидящих (?) людей на боковых сторонах, по размерам и положению значительно уступающие центральной фигуре, напоминают сцену «поминок» на древнетюркском каменном изваянии из Мунгу-Хайрхан-Ула [31]. В этом же плане, очевидно, следует рассматривать и другие «дополнительные» сцены на минусинских стелах, в частности всадника с трехлопастным флагом на длинном древке (рис. 1, *11*) и охоту пешего лучника с собакой на оленя, в спину которого вонзилась стрела (рис. 1, *13*). Повествовательный характер этих сцен в сочетании с канонизированным образом центрального персонажа позволяет рассматривать их как отображение посвященных ему реальных культовых действий, аналогичных по значению, например, изображениям на известном кудыргинском валуне [32]. Назначение ритуальных действий, которые мы видим на минусинских стелах, раскрывается благодаря изображению птицы на боковой стороне стелы с р. Нени (рис. 1, *13*), которое может быть связано с представлениями древних тюрков о процессе реинкарнации душ (ср. обычную форму древнетюркских эпитафий «отлетел» в значении «умер»), получивших изобразительное воплощение в ряде памятников тюркского искусства — Асхетском рельефе, на короне Кюль-тегина или каменных изваяниях Семиречья [33]. Скорее всего, здесь следует видеть иллюстрацию жертвоприношений, связанных с поминальным обрядом, или действий, обеспечивающих эти жертвоприношения. Очевидно, не случайно поэтому на стеле с р. Нени и на многих древнетюркских каменных изваяниях представлены сосуды кубковидной формы (на стеле

---

[30] М. П. Грязнов. Минусинские каменные бабы, с. 148.

[31] А. Д. Грач. Древнетюркские изваяния Тувы. М., 1961, с. 21—22, рис. 11.

[32] Г. В. Длужневская. Еще раз о «кудыргинском валуне». — ТС-1974. М., 1978, с. 230—237. Высказанную точку зрения подтверждает еще раз изваяние из Мугур-Саргола (Тува), в верхней части которого изображена обычная для древнетюркской иконографии личина, а ниже в вертикальном направлении (!) друг за другом расположены фигуры трех лошадей, выполненных еще в таштыкской манере. Передняя лошадь связана узкой протертой линией (повод?) с основной личиной. Поверх всей композиции выбито тамгообразное изображение козла, относящееся к древнетюркскому времени. Приношу глубокую благодарность Г. В. Длужневской, познакомившей меня с этой интересной находкой.

[33] В. В. Радлов. Атлас древностей Монголии, табл. XV, 2; Я. А. Шер. Каменные изваяния Семиречья, табл. XXIII. Подробнее об этом см.: Л. Р. Кызласов. О назначении древнетюркских каменных изваяний, изображающих людей. — СА. 1964, № 2, с. 34—35.

с р. Нени — в сочетании с котлом). Особое культовое назначение этого вида утвари подтверждается многочисленными археологическими и этнографическими параллелями — от скифских котлов и изображений Боярской писаницы до якутских чоронов [34].

Все приведенные данные говорят о том, что минусинские стелы занимают промежуточное положение между антропоморфными «оленными камнями» и древнетюркскими каменными изваяниями, сочетая отдельные признаки как тех, так и других приблизительно в равной пропорции. Обращает на себя внимание также то, что ранние признаки на них выступают уже в несколько измененном, трансформированном виде (обратная, как бы «негативная» техника и др.), а поздние, наоборот, еще повествовательны и не сложились окончательно в древнетюркский изобразительный канон.

Говоря о хронологии минусинских стел, следует, по-видимому, исключить возможность разновременного нанесения имеющихся на них рисунков. Против этого говорит в первую очередь стела с р. Нени, на которой представлена четкая, сюжетно организованная композиция. Время изготовления стел ориентировочно определяется стилистическими особенностями изображений животных и рисунками кубковидного сосуда и котла на стеле с р. Нени. Фигуры животных — оленя с вертикально поставленным рогом и слегка изогнутыми отростками, лошадей и верблюдов — по принятой в петроглифике классификации, могут быть отнесены в целом к гунно-сарматскому времени. Л. Р. Кызласов датирует всю группу изваяний, названных им таштыкскими, IV—V вв. н. э.[35]. По новой периодизации М. П. Грязнова, подобной формы сосуды на поддоне должны относиться преимущественно к раннему (батеневскому) этапу таштыкской культуры (I—II вв. н. э.) [36]. Сейчас трудно сказать, какая из этих дат предпочтительнее; во всяком случае, дотюркский (или послескифский) возраст этих памятников сомнения не вызывает.

Аскызские стелы П. С. Паллас обнаружил уже лежащими на земле в непосредственной близости друг от друга, поэтому неизвестно, каким образом они устанавливались. Кроме этих памятников к той же эпохе в Минусинской котловине относятся таштыкские жертвенно-поминальные сооружения [37]. Они представляют собой неглубокие ямы (иногда с каменными ящичками

---

[34] М. А. Дэвлет. Большая Боярская писаница. М., 1976, с. 7—12, табл. XI—XIV.

[35] Л. Р. Кызласов. Таштыкские каменные изваяния, с. 141—144.

[36] М. П. Грязнов. Миниатюры таштыкской культуры. — «АС Гос. Эрмитажа». Вып. 13. Л., 1971, с. 96—99, рис. 2.

[37] Э. Б. Вадецкая. Поминальные камни таштыкских могильников. — КСИА. Вып. 128. 1971, с. 33—36; И. Л. Кызласов. Поминальные памятники таштыкской эпохи. — СА. 1975, № 2, с. 30—47.

внутри), расположенные рядами в направлении ЮВ—СЗ, около которых установлены стелы, нередко имеющие антропоморфные очертания (скошенный верх, «нависание», намеренное сужение верхней части и т. д.). В ямах и у основания стел с восточной стороны при раскопках встречаются кости животных, в том числе кальцинированные, отдельные мелкие предметы и керамика таштыкского облика. И. Л. Кызласов, подробно рассмотревший таштыкские поминальные сооружения, находит аналогии им, с одной стороны, в более поздних археологических памятниках (древнетюркские каменные изваяния, стоящие в одном ряду с необработанными камнями), с другой — в рядах «оленных камней» (Ушкийн-Увэр) и в так называемых «сторожевых камнях» в культуре плиточных могил Забайкалья [38]. Вполне возможно, что к такому же поминальному сооружению, не отмеченному П. С. Палласом, могли относиться и аскызские стелы.

Определенное отношение к подобному ритуалу имели и знаменитые таштыкские маски, типология которых была разработана еще С. В. Киселевым [39]. «Образуется любопытный ряд, — писал позднее Л. Р. Кызласов, — таштыкские погребальные маски — стоящие маски — бюсты — каменные бюстовые изображения (типа малоесинского [40]) — погрудные изображения с руками и сосудом (типа Кизи-тас) — тюркские каменные изваяния в виде круглой скульптуры человека с сосудом в руках» [41]. Находки последних лет показали, что изготовление масок началось еще на предшествующем (тесинском) этапе развития культур Минусинской котловины, и добавили в этот ряд новый вид объемного изображения человека — «глиняные головы», типологически занимающие промежуточное положение между масками и круглой скульптурой. Среди них по условиям нахождения для нас особый интерес представляет голова из кургана № 6 Шестаковского могильника в Кемеровской области [42].

[38] И. Л. Кызласов. Поминальные памятники, с. 46.

[39] С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, с. 450.

[40] Данное изваяние с изображением головы человека в нижней части каменного блока (по этому признаку напоминающее более раннее окуневское) выделяется среди других стел таштыкского времени. Интересна на нем одна деталь: на левой щеке наклонно вырезан глубокий желобок, по мнению А. Н. Липского, «возможно, передающий след ранения, которое могло быть на лице женщины, послужившей оригиналом барельефа» (А. Н. Липский. Новый вид каменного изваяния из Южной Сибири. — КСИИМК. Вып. 59. 1955, с. 161, рис. 72, 73). Ту же особенность отмечает С. В. Киселев на некоторых таштыкских масках как «намеренное придание раскосости глазам с помощью прорези, нанесенной наискось на выпуклость век» (С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, с. 456). Не есть ли это отдаленное воспоминание о наклонных параллельных линиях на «оленных камнях», иногда также нанесенных поверх человеческого лица (рис. 1, 7)?

[41] Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха, с. 160.

[42] А. И. Мартынов и др. Шестаковские курганы. Кемерово, 1971, с. 165—173.

16 Заказ № 1873

По реконструкции А. И. Мартынова, она принадлежала манекену, входившему в сложный погребальный комплекс. Посередине будущего кургана делалась площадка из обожженной глины, окруженная земляным или дерновым валом с входом с южной стороны. «Здесь же выставлялись манекены умерших с масками и портретными скульптурными головами. . . Вероятно, они были поставлены в рост или посажены, если учесть, что исследованная нами голова прочно крепилась в вертикальном положении. . . Сверху в центре его (кургана), а может быть и над всей площадью, возводилась крыша из бересты» [43]. После какого-то периода использования все сооружение сжигалось. «Глиняная голова» из Шестаковского могильника по комплексу предметов сопроводительного инвентаря датируется I в. до н. э. и предшествует, таким образом, таштыкским жертвенно-поминальным сооружениям и антропоморфным стелам с изображением людей. Эта находка, как и другие подобного рода, может считаться одним из наиболее ранних случаев сохранения облика покойного на определенный период времени для совершения поминальных обрядов и жертвоприношений.

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ

После длительной дискуссии о семантике древнетюркских каменных изваяний вопрос этот уверенно решился в пользу точки зрения о них как об изображениях самих покойных тюрков, а не их предполагаемых врагов. Немаловажное значение в этом сыграл анализ позы рассматриваемых фигур. Я. А. Шер первым, правда в осторожной форме, высказал предположение, что в древнетюркской скульптуре «изображены сидящие, а не стоящие люди» [44]. С. Г. Кляшторный на основании новых переводов рунических текстов и специального анализа термина «bediz», обозначающего сидящую фигуру, пришел к определенному выводу о том, что «практически все древнетюркские изваяния Монголии, Южной Сибири, Тувы и Семиречья, если даже они не изображены с подогнутыми ногами или на сиденьях (как, например, в Дариганге), показаны как сидящие — немного ниже пояса скульптура завершается и остается лишь необработанная часть камня, погружаемая в землю. На поверхности земли, таким образом, изваяние фиксировалось в позе восседающего, хотя изображение подогнутых ног, не всегда легко исполнимое технически, опускалось» [45]. Мнение о древнетюркских изваяниях

[43] А. И. Мартынов. Скульптурный портрет человека из Шестаковского могильника. — СА. 1974, № 4, с. 241—242.

[44] Я. А. Шер. Каменные изваяния Семиречья, с. 26, примеч. 11.

[45] С. Г. Кляшторный. Храм, изваяние и стела в древнетюркских текстах (К интерпретации Ихе-Ханын-норской надписи). — ТС-1974. М., 1978, с. 250.

как сидящих фигурах полностью подтверждается новыми находками из Монголии, где обычные с точки зрения древнетюркской иконографии скульптуры, изображающие человека с сосудом в одной руке и оружием в другой, имеют ниже пояса подогнутые «калачиком» ноги (рис. 2). Нет никакого сомнения, что так могли изображать только знатных умерших тюрков, символически участвующих в сложном ритуальном комплексе поминальных обрядов и жертвоприношений. В этой связи представляется вполне вероятным объяснение С. Г. Кляшторным рядов камней-балбалов как «погребальных даров» главным восседающим фигурам со стороны участников поминальной церемонии [46].



Рис. 2. Древнетюркское сидящее каменное изваяние из Монголии (по И. Эрдели)

Известно, что бо́льшая часть древнетюркских изваяний установлена с восточной стороны прямоугольных оградок, и обращены они лицом на восток, так же как и отходящие от них ряды вертикально вкопанных камней-балбалов. Часто встречаются сложные комплексы, состоящие из двух и более смежных оградок, расположенных в направлении С—Ю. Ритуальное назначение этих памятников сейчас ни у кого из исследователей сомнения не вызывает и подтверждается материалами археологических раскопок [47]. В настоящее время каменные изваяния находятся только у некоторых из них, но ясно, что в прошлом изображения фигуры человека сопровождало каждую оградку. Впоследствии они могли быть разбиты, перенесены с первоначальных мест, уничто-

[46] Там же, с. 252—253.

[47] В. Д. Кубарев. Древнетюркский поминальный комплекс на Дьер-Тебе. — Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978, с. 86—98; он же. Новые сведения о древнетюркских оградках Восточного Алтая. — Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1979, с. 135—160.

жены временем. Очевидно, часть их была сделана из дерева, как это имело место позднее в половецкой скульптуре [48], или других органических материалов, иногда и в виде манекенов. Иногда смежные оградки с изваяниями дополнительно окружались валом и рвом [49]. Очень редко встречаются и изваяния, помещенные внутри оградок [50] или выкладок [51].

Поминальные сооружения наиболее почитаемых лиц представляли собой настоящие храмовые постройки с большим количеством каменных изваяний, ящиками-саркофагами и сопроводительными фигурами животных. К бесспорно ранним памятникам такого рода относится Унгетский комплекс на р. Толе в Монголии. Здесь, на ограниченной валом и рвом глиняной площадке размером 20×40 м, вытянутой в направлении СЗ—ЮВ, находился ящик-саркофаг с ромбическими узорами на стенках, вокруг которого были «расчищены основания 14 столбов, служивших каркасом для легкой постройки», и зафиксировано 30 антропоморфных изваяний, целых или в обломках. К юго-востоку от основного сооружения тянулся ряд камней-балбалов протяженностью 2,2 км. Авторы раскопок отмечают своеобразие унгетских изваяний: «Изображения лиц высекались в верхней части каменных столбов на широких или узких плоскостях. Голова сильно вытянута кверху. Глаза и нос очерчены одной углубленной линией, усов нет; отсутствуют также наборные пояса, чаши, оружие и другие аксессуары, обычно изображаемые на тюркских и половецких изваяниях» [52]. Возможно, в иконографии этих изваяний могли сказаться и определенные черты, присущие «оленным камням», хотя до полной публикации материалов об этом можно только догадываться.

К поминальным сооружениям знати относится комплекс в Сарыг-Булуне (Тува), который представлял собой насыпь из песка, окруженную валом и рвом. «На восточной стороне насыпи и во рву располагались высеченные из серого гранита фигуры двух людей, сидящих на поджатых вперед коленками ногах, а также два небольших изображения львов». С западной стороны насыпи находилась площадка для жертвоприношений, на которой была установлена восьмиугольная юрта (типа аила), покрытая

[48] С. А. Плетнева. Половецкие каменные изваяния. — САИ. Вып. Е 4—2. М., 1974, с. 29.

[49] А. Д. Грач. Древнетюркские изваяния Тувы, с. 22—23, рис. 12—15; С. С. Сорокин. Материалы к археологии Горного Алтая. — УЗ ГАНИИЯЛИ. Вып. 8. Барнаул. 1969, с. 77—79, рис. 7—8.

[50] В. В. Радлов. Атлас древностей Монголии. Т. 2, табл. LXX, 3.

[51] Изваяние, стоящее внутри округлой выкладки у каменно-земляного кургана, было обнаружено нами на р. Юстыд в Горном Алтае (см.: Д. Г. Савинов. Археологические памятники в районе хребта Чихачева. — АО-1971. М., 1972, с. 286).

[52] В. Е. Войтов и др. Археологические исследования в Монголии. — АО-1976. М., 1977, с. 587—588.

сверху лиственничной корой. После какого-то периода использования, как и в Шестаковском могильнике, все сооружение было сожжено [53]. Классическим примером аналогичного по значению памятника периода Второго каганата является знаменитый комплекс Кюль-тегина.

Традиции древнетюркского поминального ритуала долго сохранялись и в последующее время. Вероятно, один из самых поздних памятников подобного рода был обследован Г. Н. Потаниным на оз. Даин-Гол в Монголии. Он представляет собой «четырехугольный сруб с двускатной крышей, внутри которого находится изваянный из гранита бюст», по стилистическим особенностям близко напоминающий древнетюркские каменные изваяния. Это изваяние было окружено «досками в виде ящика», а перед ним была протянута веревка с подвешенными к ней остатками различных жертвоприношений [54].

* * *

Рассмотренные памятники относятся к разному времени и, естественно, по внешнему оформлению могут отличаться друг от друга. Однако по своему внутреннему содержанию они одинаково отражают одну и ту же идею — необходимость сохранения облика умершего для совершения определенного цикла поминальных обрядов и жертвоприношений в период между смертью и захоронением [55]. Идея эта имеет южное происхождение и в прошлом была широко распространена у многих народов Восточной и Центральной Азии [56]. В наиболее полном виде она проявилась в древнетибетском погребальном обряде, где период между смертью и погребением достигал трех и более лет. В течение этого времени производилась неоднократная мумификация трупа, делались жертвоприношения лошадей, иногда прибегали и к живым «заместителям умершего», к которым обращались во время поминок, и т. д. [57]. Тот же обычай у древних тюрков зафиксирован в письменных источниках: «Умершего весною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет желтеть или опадать; умершего осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают раз-

---

[53] Л. Р. Кызласов. История Тувы в средние века. М., 1969, с. 33, рис. 5—7.

[54] Г. Н. Потанин. Путешествие по Монголии. М., 1948, с. 49, рис. на с. 51.

[55] Относительно древнетюркского времени подробно об этом писал Л. Р. Кызласов (см.: Л. Р. Кызласов. О назначении древнетюркских изваяний, с. 27—39).

[56] Основную литературу по этому вопросу см.: Г. Е. Грумм-Гржимайло. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. Л., 1926, с. 46—47.

[57] H. Hoffman. Die Gräber der tibetischen Könige im Distrikt P'yongrguas. — NAW. 1. 1950, с. 1—14.

вертываться»[58]. То же говорится и о енисейских кыргызах: «Сжигают покойника и берут его кости; когда пройдет год, тогда делают могильный холм»[59]. Многочисленные этнографические параллели обычаю сохранения облика умершего у современных народов Южной Сибири и Средней Азии приводятся в работах Л. Р. Кызласова[60], Б. П. Шишло[61] и других исследователей.

Можно предполагать, что такая общность представлений восходит к мировоззрению племен скифского времени, когда сооружались «оленные камни» и закладывались основы культурного и социального единства скотоводческих обществ Азии. Важным индикатором в этом отношении служит обычай установки у погребальных или поминальных сооружений вертикально вкопанных камней. Они сопровождали большие и малые Пазырыкские курганы на Горном Алтае (V—III вв. до н. э.)[62], погребения шурмакской культуры в Туве (II в. до н. э. — V в. н. э.)[63] и плиточные могилы Забайкалья, в связи с чем Ю. С. Гришин писал, что «уже в этот период начинает распространяться обычай подчеркивания военных заслуг отдельных личностей, выражающийся, например, так же как в VII—IX вв. н. э. у тюрков Южной Сибири и Монголии, в постановке у могильных памятников цепочки камней. . .»[64]. Такая преемственность специфической детали погребального обряда, несомненно, свидетельствует о непрерывной традиции представлений, существовавших у населения Саяно-Алтая весьма длительное время, и объясняется сходством социально-экономических отношений на разных ступенях развития скотоводческого комплекса. В порядке установки антропоморфных изваяний у народов Центральной Азии и Южной Сибири в разное время прослеживается настолько много общего, что вряд ли это сходство можно считать случайным. Специальные площадки (иногда глинобитные) и вымостки, на которых устанавливались «оленные камни», таштыкские манекены и тюркские сидящие изваяния; расположенные рядами жертвенные ямы с ящичками внутри в таштыкское время и смежные тюркские

---

[58] Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.—Л., 1950, с. 230.

[59] Н. В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961, с. 60.

[60] Л. Р. Кызласов. О назначении древнетюркских изваяний, с. 38—39.

[61] Б. П. Шишло. Среднеазиатский тул и его сибирские параллели. — Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975, с. 248—260.

[62] Д. Г. Савинов. О завершающем этапе культуры ранних кочевников Горного Алтая. — КСИА. Вып. 154. М., 1978, с. 49—50.

[63] Л. Р. Кызласов. Этапы древней истории Тувы. — «Вестник МГУ». 1958, № 4, с. 95.

[64] Ю. С. Гришин. Бронзовый и ранний железный век Восточного Забайкалья. М., 1975, с. 102.

оградки, которые также можно рассматривать как вариант каменных ящиков; наземные сооружения над поминальными центрами наиболее почитаемых лиц, валы и рвы вокруг них; изображения сидящих фигур, обращенных лицом к востоку, и жертвоприношения им с восточной стороны, которые производились в ямках перед таштыкскими стелами или представляли собой ряды камней-балбалов в тюркское время, — все это говорит о единых принципах оформления памятников. В разное время и в разной этнической среде они могли реализоваться по-разному и в различных материалах, но при сохранении основных семантических компонентов обязательного ритуала. Наиболее сложными в этом отношении представляются памятники таштыкского времени, где близкие представления в процессе аккультурации могли вылиться в разные атрибутивные формы — погребальные маски, «глиняные головы», поминальные камни и антропоморфные стелы с изображениями людей. Позднее, в культуре енисейских кыргызов изготовление антропоморфной скульптуры не получило дальнейшего развития. Возможно, ее заменили здесь вертикально стоящие камни чаа-тасов, установка которых была связана еще с тагарской традицией. Однако в системе их расположения уже совершенно теряется четкость планировки, обусловленная конструктивными особенностями погребальных сооружений. Окончательное оформление ритуала, связанного с сохранением облика умершего на период поминальной церемонии, происходит в древнетюркской среде. Устанавливается устойчивая ориентировка жертвенных сооружений в направлении С—Ю, скорее всего отражающая господствующее положение востока в идеологии тюркских народов. Унифицируется форма оградок и расположения рядов камней-балбалов. Вырабатываются определенные нормы при изображении представителей различных слоев населения древнетюркского общества. Под влиянием соседних цивилизаций Востока и Средней Азии появляются своеобразные художественные приемы в различных регионах тюркского мира. Складывается древнетюркский изобразительный канон.

Таким образом, антропоморфные изваяния Центральной Азии и Южной Сибири свидетельствуют о достаточно тесных связях между непосредственными предками древних тюрков и енисейских кыргызов в ранний период их существования в Центральной Азии, которые и определили дальнейшее развитие той и другой культурной модели в одинаковых или типологически близких формах. Имеются основания предполагать, что связи эти носили не только культурный, но и этнически родственный характер. Так, в одной из генеалогических легенд о происхождении правящей династии древних тюрков говорится, что сын легендарного «сына волчицы» Ичжинишиду Нодулу-шад явился основателем тюркской династии, а его брат «царствовал между реками Афу

и Гяпь, под наименованием Цигу»[65]. Подробно интерпретировавший эти предания С. Г. Кляшторный отметил «имеющуюся в них реалистическую основу, историографическая ценность которой в настоящее время кажется несомненной»[66]. В данном случае это тем более вероятно, что точно указано расположение Цигу — между реками Афу и Гянь, т. е. Абаканом и Енисеем (Минусинская котловина). Само название Цигу С. Е. Яхонтов считает одним из ранних (VI—VII вв. н. э.) фонетических вариантов этнонима «кыргыз»[67]. Судя по этой легенде, правящие дома в государстве древних тюрков и енисейских кыргызов были связаны кровным родством и, возможно, имели общий южный центр происхождения. После 460 г. сын Нодулу-шада Ашина (Асяньшад) переселяется на Алтай (в широком, историко-географическом значении термина), где его внук (возможно, по одной из боковых линий) Бумынь в 552 г. основывает Первый тюркский каганат. Если пользоваться принятым подсчетом поколений (в данном случае — четыре), то «владение Цигу» появилось по крайней мере на сто лет раньше образования Первого каганата. Однако, учитывая существующие перерывы в самой генеалогической традиции[68], можно предположить, что его образование относится к более раннему времени, т. е. скорее всего было синхронно начальным этапам сложения таштыкской культуры, давшей начало культуре енисейских кыргызов.

Из всего сказанного можно сделать несколько существенных выводов: 1) основы тюрко-кыргызского культурного комплекса могли быть заложены еще в первой половине I тысячелетия н. э. как следствие их общего южного происхождения; 2) иррациональные представления, связанные с поминальным культом и воплотившиеся в различных видах антропоморфных изваяний, начали распространяться в Южной Сибири, в частности в Минусинской котловине, на рубеже нашей эры. В таштыкское время некоторые из них еще сохраняли черты южного, центральноазиатского происхождения (аскызские стелы); 3) с исторической точки зрения представляется оправданным соотнесение понятий «таштыкская культура» и «владение Цигу», иначе говоря, ранний этап истории енисейских кыргызов, создавших свое первое объединение под наименованием «Цигу», по-видимому, представлен памятниками таштыкской археологической культуры, но это уже тема самостоятельного исследования.

---

[65] Н. Я. Бичурин (Иакинф). Собрание сведений, с. 222.

[66] С. Г. Кляшторный. Проблемы ранней истории племени тӱрк (Ашина). — Новое в советской археологии. М., 1965, с. 278.

[67] С. Е. Яхонтов. Древнейшие упоминания названия «кыргыз». — СЭ. 1970, № 2, с. 110—114.

[68] Приношу глубокую благодарность С. Г. Кляшторному за консультацию по этому вопросу.

О. И. Смирнова

К ИМЕНИ АЛМЫША, СЫНА ШИЛКИ, ЦАРЯ БУЛГАР *

I

Имя царя булгар, отправившего в мае 921 г. посольство ко двору аббасидского халифа Муктадира (909—932 гг.), давно привлекало к себе внимание исследователей. Разные его варианты — المش بن شلكى, с огласовкой: أَلْمَشِن بن شلكى и أَلْمُش بن شلكى, искаженное: الحسن ابن بلطوار и, наконец: الملك يلطوار ملك بلغار — породили разные его чтения и толкования[1]. В 1954 г. А. П. Ковалевский, установив в составе имени булгарского царя древнетюркский титул *эльтебер* (يلطوار eltäbär), положил конец попыткам осмысления последнего на славянской почве как имени — попыткам, основывавшимся на искаженной его форме *билтавар* у Йакута (بلطوار)[2]. Дешифровка и определение титула, данные ученым, не вызывают сомнения. Что касается варианта имени царя булгар أَلْمُش *Алмуш*, то оно требует уточнения. Искажение его в рукописи Ибн Фадлана в الحسن *ал-Ҳасан* графически трудно объяснить[3]. В этой связи обращает на себя внимание второй вариант имени Алмуша у Ибн Фадлана и у Йакута, воспользовавшегося

---

* Данной теме посвящена также статья Р. Г. Фахрутдинова «Об имени и титуле правителя Волжской Булгарии» (СТ. 1979, № 2, с. 63—71). Там же приведена и библиография.

[1] Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII в. до конца X в., по Р. Х.). Собрал, перевел и объяснил А. Я. Гаркави. СПб., 1870, с. 106—107.

[2] А. П. Ковалевский. Чуваши и булгары по данным Ахмада Ибн-Фадлана. — «Ученые записки Чувашского научно-исследовательского института истории, языка и литературы». Вып. 9. Чебоксары, 1954, с. 16, 35—36.

[3] А. П. Ковалевский. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956, с. 160, примеч. 14—15.

его сведениями, а именно: اَلْمَشِن *Алмашин.* Переделка последнего переписчиком-мусульманином в известное мусульманское имя الحسن *ал-Хасан* и соответствующая его фиксация в тексте источника закономерна. Похожее имя, зафиксированное у Гардизи, — يلمالمسن *Йлмāлмасин* — носил в VIII в. ябгу карлуков.

Этимология тюркского имени Алмуш, как и Алмашин (Алмасин), а тем более явно искаженного *Йлмāлмасин*, насколько мне известно, не установлена. Что касается последнего, يلمالمسن, то его основу, можно думать, представляет тюркское *эль* 'племенной союз', 'народ', в арабской графической передаче которого переписчиком, очевидно, упущен начальный алеф: *[ا]يلمالمسن. Не будучи тюркологом, могу лишь напомнить в этой связи о характерных для тюркской ономастики почетных именах собственных аналогичной структуры с первым компонентом *эль*, в том числе такого имени, как Эль алмыш (el almïš), в арабской графике — *ايل المش. (Вторая часть этого имени представляет собой производные от глагола *ал-* 'брать, принимать', равно имеющего значения 'захватить, покорить'.) Именно таким и было настоящее имя малика булгар, а не Алмуш / Алмыш, представляющее собой лишь вторую его часть. Дальнейшее искажение имени на почве арабской графики в Алмасин закономерно, как и переосмысление последнего переписчиком-мусульманином в ал-Хасан (ايل الْمُش > الْمُش > المشن > الحسن). Итак, булгарский малик, отправивший в 921 г. посольство ко двору аббасидского халифа, носил имя Эль алмыш. Когда именно это имя было ему присвоено и в связи с чем — вопрос другой. Титуловался он в то время, согласно Ибн Фадлану, الملك يلطوار ملك البلغار, т. е. «малик, который эльтебер, малик Булгара», или يلطوار ملك امير الصقالبة — «эльтебер, малик, эмир славян». А у Якута يلطوار * ملك الصقلاب «эльтебер, малик Славии».

Этимология древнетюркского титула *эльтебер*, зафиксированного для Эль алмыша мусульманским источником, не установлена. Как известно, язык булгар принадлежит к числу древнейших тюркских языков [4], и наличие в нем в IX в. фонетически освоенного древнетюркского титула *эльтебер* весьма показательно для истории народа. Булгарский его вариант (يلطوار) со свойственной, очевидно, для этого языка (диалекта) йотацией начального гласного и появлением долгого гласного может добавить некоторые данные для его пока еще скупой характеристики

[4] К фонетической характеристике тюркских языков см.: С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.—Л., 1951, с. 6.

и установления закономерных диалектных связей. Титул *эльтебер*, как мы знаем, носили не только сами тюрки, но и согдийцы в тюркской среде уже в VI в. Первые по времени известия о носителях титула *эльтебер* заключены в китайских источниках и относятся ко времени правления Дулань-кагана (588—599 гг.) и Хели-кагана. Так, еще отец бухарца Ту-ханя из рода Ань некий У-хань в самом начале VII в. (до 630 г.) переселился из Кучи в каганат и служил тюркским каганам, причем носил титул *сэлифа* (зафиксированная в китайских источниках иероглифическая передача титула *эльтебер*); тот же титул *эльтебер* носил отец согдийца А-и Кюль-таркана, чье имя упоминается среди тюркских вождей, сдавшихся китайцам в 742 г.

По мнению С. Г. Кляшторного, в каганате с титулом *эльтебер* было связано главенство его носителей над согдийскими колониями [5]. О силе и могуществе таких согдийских вождей свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что вышеупомянутый эльтебер Ту-хань привел с собой пять тысяч соплеменников.

Зафиксирован этот титул и в орхонских надписях на памятниках в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана [6].

Не лишено вероятности, что во второй части титула *эльтебер* следует видеть производное от древнетюркского глагола *таб-* ‘найти, снискать’, тогда как первый его компонент представлен, как и в вышеупомянутой категории вторичных имен собственных (в том числе и в имени малика булгар Эль алмыша), древнетюркским *эль* ‘племенной союз’, ‘народ’. В таком случае для последнего в арабской передаче титула следует, возможно, восстановить начальный его алеф (ایلطوار).

В чиновной иерархии тюркского каганата титул *эльтебер* носили племенные вожди, занимавшие место между обладателями титулов *апа* и *тудун* [7].

В Средней Азии в VII—VIII вв. титул *тудун* (tδwn/twδwn — в согдийском) носили, в частности, правители Чача, т. е. Ташкентской области. Кроме мусульманских источников этот титул зафиксирован за последними как в согдийских документах первой четверти VIII в., так и на согдоязычных чачских монетах соответствующего времени. В первой четверти X в. предшествующий ему по рангу, т. е. старший по отношению к нему, титул *эльтебер* принадлежал, как мы могли в этом убедиться, малику булгар Эль алмышу. Этот титул, который был несомненно выше титула главы (князя) кочевого племени, обозначал, согласно

---

[5] С. Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964, с. 126.

[6] К значению титула *эльтебер* см.: J. R. Hamilton. Les Ouïghours à l'époque des Cinq dynasties (907—60) d'après les documents chinois. P., 1955 (Bibliothèque de l'Institut des hautes études chinoises. Vol. 10), c. 97, 139.

[7] Там же, с. 97.

А. П. Ковалевскому, главенство Эль алмыша над всеми подвластными ему племенами. Другой его титул, «эльтебер малик славян», мог обозначать главенство этого лица не только над тюркскими племенами.

В качестве параллели для сложного титула булгарского князя الملك يلطوار ملك البلغار приведем согдо-тюркский титул γwβw tδwn упомянутых выше правителей Чача VII—VIII вв.[8]. В этом последнем титулу булгарского князя «малик» соответствует согдийское γwβw — титул главы рода, тогда как тюркскому его титулу *эльтебер* — тюркский титул правителя Чача *тудун*, который конкретизировал в свое время положение его носителя в каганате; такова же была, очевидно, функция титула *эльтебер* в двадцатых годах X в. в Приволжье, где он обозначал главенствующее положение его носителя как тюркского наместника.

II

Среди народов, подчиненных эльтеберу булгар, Ибн Фадлан кроме самих булгар называет два, очевидно важнейших: сувар и эскел или эсгел.

Сувары, как известно, оставили свое название одному из приволжских городов, о котором упоминают Истахри, Ибн Хаукаль, Мукаддаси и др. Название города «Сувар», как и «Булгар», значится на мусульманских монетах. Этимология названий этих племен не установлена. Можно лишь отметить созвучие первого из них, сувар, с древнетюркским титулом или названием народа (по Хирту) yšbara (санскр. usvara?) [9]. Откуда пришли эти племена в Приволжье, достоверно не установлено.

Исследователи пришли к заключению, что в Заречье и Хорасан проникновение тюрков-огузов началось до ислама. По мнению В. Ф. Минорского, в VI в. тюрки уже занимали прикаспийские степи. К тому же, видимо, времени относится миграция тюрков в районы современного Афганистана [10]. Время проникновения тюрков в Приволжье сколько-нибудь не уточнено.

Письменные источники в этом отношении скудны. Тем большую ценность представляют новооткрытые тюрко-согдийские монеты, надписи на которых, как удалось установить, содержат названия тюркских народов, таких, как 'skδk/'sklk, prγ'l̥ и 'lγ'.

---

[8] В согдийской среде титул *γwβw* равно присваивался, как известно, тюркским племенным вождям.

[9] С. Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники, с. 113, примеч. 174.

[10] Ḥudūd al 'Ālam 'The Regions of the World'. A Persian Geography 372 A. H. — 982 A. D. Transl. and explained by V. Minorsky. L., 1937 (GMS NS. 11), c. 311, 347.

Первое из них — ’skδk/’škδk или ’sklk/’šklk ‘скифец?’ (из ’škδ ‘скиф?’ + суф. -ăk) — соблазнительно сблизить с названием вышеупомянутых эскелей или эсгелей Приволжья или с именем их родоначальника [11]. Надпись, содержащая это название, сопровождает S-образный знак — протовариант рунического 𐰀 ä, нанесенный рядом с ним на одной из сторон монет, тогда как другая их сторона занята второй надписью и изображением разъяренного жеребца. Сопроводительная к знаку надпись определяет этот знак как родовую тамгу народа, название которого она содержит. На других монетах рунообразная тамга и надпись к ней заменяется портретом Шапура II, который позже уступает свое место голове злого божества типа маски с явно выраженными не иранскими, скорее монголоидными чертами лица и гривой жестких волос. Голова божества, в свою очередь, сопровождается согдийской надписью prn, т. е. словом, равнозначным в согдийско-тюркской среде тюркскому qut ‘благо, благодать’ [12]. Другая сторона всех этих монет остается неизменной, если не считать ее постепенной деградации, свойственной тюрко-согдийским монетам.

Археологически такие монеты датируются широко — от III в. н. э. (Фергана) по VI в. (Каршинский оазис). Монета с портретом Шапура II позволяет выделить среди них серию монет, которые относятся к концу IV—началу V в.

Ареал находок разнотипных монет с конем достаточно широк — от Ферганы до Каршинского оазиса. Единичные их находки отмечены в присырдарьинских районах. Рунообразный знак привязывает древнейшие их экземпляры к районам Ферганы (Исфара). Однако тот же знак отмечен и для присырдарьинских районов (Мунчак-тепе) и для верховий Зеравшана (Пенджикент). Он же использовался в свое время для надчеканов и проставлен на драхмах сасанидского клада V в., обнаруженного у северной окраины г. Душанбе. Последнее обстоятельство свидетельствует о могуществе того народа, которому принадлежала S-образная руническая тамга. А этим народом, по свидетельству тюрко-согдийских монет, вероятно, были эскелы (’skδ-).

Что касается второго этнонима, prγ’l, засвидетельствованного в надчекане на эфталитских среднеазиатских драхмах, то невольно обращает на себя внимание его созвучие с названием «булгар» (в арабской графике — بلغار *булг̣āр*). Два других тюрко-согдийских надчекана на тех же эфталитских монетах — *хакан* (тюрк.-

---

[11] Двойная фонетическая нагрузка l (лама) в согдийской письменности отражает чередование фонем в двух основных его диалектах (l/δ). Название «эскель» в мусульманских источниках засвидетельствовано в вариантах: اسكل, اشكل, اسغل и с искажением اسبل.

[12] К значению древнетюркского qut см.: ДТС, с. 471.

согд. γ'γ'n) и *тегин* (тюрк.-согд. tkyn/tkyyn) — определяют принадлежность этих трех надчеканов среднеазиатским тюркам. Не меньшего внимания заслуживает созвучие этнонима prγ'ḷ — надчекана на эфталитских монетах, со среднеазиатским современным топонимом Пархар[13]. Последний, как известно, сохранил нам название одноименного раннесредневекового города в Хуттале, засвидетельствованное мусульманскими источниками в вариантах Парг̣ āр, Палг̣ āр, Парг̣ āл и Фарх̮āр)[14]. Он же содержится в надписи на неизданной согдийской монете, обнаруженной нами среди найденных на Пенджикентском городище, в титуле (prγ'r γwβ-) санкционировавшего ее выпуск лица. По аналогии с другими равнозначными по содержанию титулами, известными нам по согдийским и мусульманским текстам, такими, как pwγ'r γwβ 'хваб (князь народа) пухар' и twγ'r γwβ 'хваб (князь народа) тухар (т. е. тохаров)', он должен означать «хваб (князь) Пархара» или «хваб (князь народа) пархар».

Сомнительное на первый взгляд сближение древних среднеазиатских народов 'sklk/'skδk и prγ'ḷ, чьи названия зафиксированы на тюрко-согдийских и эфталитских монетах, с современными эскелами и булгарами Приволжья, несмотря на территориальную отдаленность их носителей и хронологический разрыв, исторически допустимо и фонетически закономерно. Для убедительности можно привести не один аналогичный факт. Так, надписи, сопровождающие родовые тамги тюрков на ряде других тюрко-согдийских монет, содержат: одни — название тюркского племени хал(л)ач (в арабской графике — خلج ، خلّج), зафиксированное тюрко-согдийским γllč 'халлач'[15], другие — огузского племени алγа (в арабской графике — الغا), засвидетельствованное тюрко-согдийским 'lγ'(alγā)[16].

Оба эти названия помимо мусульманских источников и тюрко-согдийских монет сохранила нам современная топонимика. Первое из них — это город Халлач в Приволжье и поселок

---

[13] В настоящее время районный центр Кулябской области ТаджССР.

[14] Топоним Пархар возводится исследователем к санскр. vihara, означающему, в частности, буддийский храм. О тюрко-согдийском надчекане prγ'ḷ на эфталитских монетах и о возможной его связи со среднеазиатским топонимом см.: О. И. Смирнова. Согдийские монеты с именем Фарнбага. — Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. 13. М., 1977, с. 113—114.

[15] Воспроизведение одной такой монеты см.: О. И. Смирнова. Каталог монет с городища Пенджикент. М., 1963, № 790. О тюрках-халачах см.: E. Esin. «Butan-i Halaç». M. VII—X. yüzyıllarda halaç kültürünün sanat eserlerinde akisleri. — Türkiyat mecmuası XVII'den ayrı basım. İstanbul, 1972.

[16] О них см.: О. И. Смирнова. О древнетюркских монетах из Кувы (Фергана). Предварительное сообщение. — Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. 12. Ч. 1. М., 1977, с. 53.

Халач в Чарджоуской области Туркменской ССР, второе — поселок Алга в Актюбинской области Казахской ССР. Приведенные факты говорят о том, что в прошлом в этих районах обитали именно те тюркские племена, чьи названия закрепились за соответствующими населенными пунктами. Оба названия отмечены и в топонимике других не менее отдаленных друг от друга мест. Попутно отметим, что тамга, помещенная на монетах халлачей (халáчей), представляет усложненный вариант эфталитской, обстоятельство немаловажное, если вспомнить, что Й. Маркварт в свое время предложил рассматривать тюрков-халачей как потомков эфталитов.

Последующее исследование тюркской ономастики и титулатуры, а также родовых тамг на древнетюркских монетах и сопроводительных к ним надписей в свете данных топонимики, без сомнения, даст возможность уточнить исторические связи и пути расселения тюркских и других народов, а также время их появления в разных районах Средней Азии и за ее пределами.

И. В. Стеблева

К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕОРИИ ТЮРКСКОГО АРУЗА

«Трактат об арузе» Захираддина Мухаммада Бабура, созданный им в первой четверти XVI в. (не ранее 1523 и не позднее 1525 г.) [1], является наиболее полным сочинением по теории аруза на тюркском языке, где наряду с изложением правил канонического аруза мы находим и описание некоторых особенностей реализации системы аруза в тюркоязычной поэзии. Для изучения проблемы тюркского аруза в трактате Бабура интересны те сведения, которые он сообщает в разделе, посвященном правилам скандирования (*таṭӣʿ*) [2]. Здесь Бабур специально отмечает приемы построения стоп аруза, которые применялись именно в тюркоязычной поэзии. При этом в соответствии с традицией объяснение системы аруза в трактате опирается не на понятие звуков (согласных или гласных), а на понятие букв, и таким образом стопы метров аруза предстают в описании как сочетания огласованных (*мутаḥаррик*) и неогласованных (*са̄кин*) букв. Однако за общепринятой в подобного рода сочинениях формой выражения скрывается истинный смысл лингвистических явлений, хорошо сознаваемый автором. Поэтому современная интерпретация, можно сказать, расшифровка «буквенных» учений аруза необходима и для того, чтобы по достоинству оценить теоретический уровень мышления автора средневекового трактата, и для того, чтобы найти естественное и логичное объяснение некоторым условностям и допущениям теории тюркского аруза.

А. Н. Самойлович в свое время писал, что в тюркоязычных стихах, написанных арузом, долгими слогами условно считаются

---

[1] О датировке трактата см. подробно в кн.: Ẓахӣр ад-Дӣн Муḥаммад Ба̄бур. Трактат об ʿарӯẓе. Факсимиле рукописи. Изд. текста, вступит. статья и указатели И. В. Стеблевой. М., 1972, с. 20—21.

[2] Лл. 21а—27а рукописи. Перевод этого раздела содержится в статье: И. В. Стеблева. О правилах скандирования в «Трактате об арузе» Захираддина Мухаммада Бабура. — ППВ-1975 (в печати).

закрытые слоги (речь идет о тюркских словах, так как арабские и персидские слова употребляются по правилам канонического аруза), открытые слоги условно считаются краткими. Однако открытые слоги могут также скандироваться по метру и как долгие [3]. Это двоякое употребление в тюркском арузе открытых слогов с ритмической точки зрения казалось необъяснимым, и некоторые исследователи классической тюркоязычной поэзии сочли возможным или вообще пренебречь необходимостью учитывать регламентацию метров по распределению закрытых и открытых слогов, или усомниться в реальном значении противопоставления закрытого слога открытому. Иными словами, если открытый слог принимается и за краткий, и за долгий, то непонятно, в чем заключается его противопоставление закрытому слогу — долгому, и отсюда естественно вытекает суждение, что чередование открытых и закрытых слогов не создает ритмического пульса стиха путем их противопоставления. Такое суждение было бы верным, если бы не касалось системы аруза, в которой метрические схемы стоп представляют собой различные вариации сочетаний букв и их огласовок.

Известно, что в арабо-персидском арузе долгим слогом, звучащим при рецитации длиннее краткого, является открытый слог, содержащий долгий гласный, что графически выражается сочетанием огласованной буквы и неогласованной. Например, в персидском слове بَا (*бā*) буква *бā* огласована *фатхой* и в качестве неогласованной буквы обозначен *алиф*; в слове چِی (*чӣ*) буква *чӣм* огласована *касрой*, и неогласованной буквой является буква *йā*; в слове خُو (*х̣ӯ*) буква *х̣а* огласована *з̣аммой* (*д̣аммой*), неогласованная буква — *вāв*.

Долгим слогом в арабо-персидском арузе считается также закрытый слог, содержащий краткий гласный. Графически такой слог тоже выражается сочетанием огласованной буквы и неогласованной. Например, в слове دَر (*дар*) буква *дāл* огласована *фатхой*, после нее написана неогласованная буква *рā*; в слове دِل (*дил*) буква *дāл* огласована *касрой*, как неогласованная выступает буква *лāм*; в слове مُل (*мул*) буква *мӣм* огласована *з̣аммой* (*д̣аммой*), затем следует неогласованная буква *лāм*.

Следовательно, открытый слог, содержащий долгий гласный, и закрытый слог с кратким гласным, являющиеся в системе аруза ритмически долгими слогами, выражаются через сочетания огласованной буквы и неогласованной, т. е. одинаково, ибо буквы

[3] А. Н. Самойлович. Материалы по среднеазиатско-турецкой литературе. IV. Чагатайский поэт XV в. Атаи. — ЗКВ. Т. 2. Вып. 2. Л., 1927, с. 260—261.

1/2 17 Заказ № 1873

алиф, *вāв* и *йā*, которые передают гласные звуки, графически приравниваются любой букве, передающей согласный звук.

Кратким слогом в арабо-персидском арузе является открытый слог, содержащий краткий гласный. Графически такой слог выражается огласованной буквой или, иначе говоря, буквой и ее огласовкой. Например, в слове بَسَرْ (*басар*) первый слог (*ба*) — краткий, так как образован буквой *бā*, огласованной *фатхой*.

Таким образом, в каноническом арузе краткие гласные обозначались огласовками: *фатхой*, *заммой* (*даммой*) и *касрой*, которые проставлялись над буквой. Для обозначения долгих гласных кроме этих огласовок требовалось соответственно изображение букв: *алифа*, *вāва* и *йā* (ا, و, ى). Поскольку огласовки в рукописях не всегда проставлялись, чаще всего они отсутствовали, в словах изображались лишь буквы, передающие согласные звуки, и буквы *алиф*, *вāв и йā* в качестве показателей долготы гласных *ā*, *ӯ*, *ӣ*.

Однако известно также, что в среднеазиатских рукописях существовала традиция более полной передачи гласных, и поэтому в них буквы *алиф*, *вāв* и *йā* в тюркских словах употреблялись вместо огласовок. Например, в слове باش (*баш*) и в слове بو (*бу*) буквы *алиф* в первом случае и *вāв* во втором обозначают не долготу слогов, а передают соответственно гласные *а* и *у*.

С точки зрения теории тюркского аруза слово باش (*баш*) должно рассматриваться как долгий слог, так как оно представляет собой закрытый слог, графически выраженный через сочетание огласованной буквы и неогласованной: *алиф* здесь является огласовкой буквы *бā*, затем следует неогласованная буква *шӣн*. Таким образом, любой закрытый слог, выраженный буквой (т. е. согласным), ее огласовкой (т. е. гласным) плюс еще одной буквой (т. е. согласным), в тюркском арузе принимается за долгий слог.

Открытые же слоги могут иметь двойную интерпретацию. Например, если считать, что в слове بو (*бу*) буква *вāв* просто передает гласный *у* и таким образом является огласовкой предшествующей буквы *бā*, то мы получаем здесь одну огласованную букву, которая в арузе соответствует краткому слогу. Следовательно, в тюркском арузе слово بو представляет собой открытый и краткий слог, и любой другой открытый слог, в котором буквы *алиф*, *вāв* и *йā* употребляются как огласовки, принимается за краткий слог.

Вместе с тем часто при затруднениях с реализацией метров аруза в тюркских словах, не имевших долгот, допускалась определенная условность — буквы *алиф*, *вāв* и *йā* в тюркских словах

считались не огласовками, а буквами. Тогда открытые слоги, содержащие эти буквы, условно принимались за долгие и скандировались как долгие. Например, если рассматривать то же слово بو (*бу*) с позиций канонического аруза, оно представляет собой сочетание буквы *бā*, огласованной *ẓаммой* (*даммой*), затем следует неогласованная буква *вāв*: بُوْ. Графическое выражение этого слога получается такое же, как графическое выражение любого арабского или персидского открытого слога, содержащего долгий гласный. Поэтому в тюркском арузе любой открытый слог в любом тюркском слове может при необходимости условно приниматься за долгий. Средневековые поэты и их читатели хорошо понимали и знали разницу между тюркским открытым кратким слогом и открытым долгим слогом, ибо с точки зрения учения теории аруза о трех элементах стоп (*сабаб*, *ватад*, *фāṣила*), складывающихся из разных сочетаний огласованных и неогласованных букв, данные открытые слоги представляли собой принципиально разные сочетания огласованных и неогласованных букв и соответственно им входили в эти элементы стоп. Разнообразные же сочетания элементов стоп формировали самые стопы, из разнообразных сочетаний которых складывались метры аруза с их многочисленными вариантами. Весьма часто исследователю классической тюркоязычной поэзии, недостаточно сведущему в теории канонического аруза и его тюркской модификации, бывает трудно правильно определить метр аруза в стихах именно из-за двойственного употребления открытых слогов. Отсюда же появляются суждения о том, что чередование закрытых и открытых слогов не образует метров стиха и в качестве организатора ритма следует искать нечто иное. Однако понимание графического принципа интерпретации теории аруза и приемов приспособления с помощью этого принципа метрических схем аруза к тюркским словам сразу ликвидирует неясность с употреблением открытых слогов в тюркском арузе.

Объяснение этих приемов имелось уже в XVI в. в «Трактате об арузе» Бабура. Здесь Бабур пишет о главном правиле тюркского аруза, касающемся способа передачи гласных в тюркских словах: «Основное правило для тюркского языка таково, что после [полагающихся в словах] *фатхи*, *ẓаммы* и *касры* следует писать *алиф*, *вāв* и *йā*» (л. 21б). Причем говорится об этом не как об орфографической особенности написания тюркских слов арабскими буквами, а как об основном правиле тюркского языка, имеющем значение для системы аруза. Далее, снова упомянув это правило, Бабур специально показывает, как одно и то же сочетание слов может скандироваться по-разному, в зависимости от того, какие открытые слоги считать долгими и какие — краткими. Например, при употреблении словосочетания سینی کورسام

(*сени кöрсäм*) в стопе فعلاتن (*фа*ʿ*илāтун*) в слове *сени* буква *йā* хотя и обозначена на письме, но не учитывается как буква и является огласовкой. Поэтому данное слово образует два кратких слога, требуемых парадигмой стопы метра *рамал*, измененной *зиḫāфом ḫабн* (стопа *маḫбӯн*) (л. 23а).

Далее приводится другой случай, когда то же словосочетание употребляется в метре *хазадж* (л. 23б). Если سینی کورسام (*сени кöрсäм*) скандировать согласно парадигме стопы مفاعیلن (*мафā*ʿ*ӣлун*), то буква *йā* в конце слова *сени* будет учитываться. Происходит это потому, что второй слог стопы *хазаджа* должен быть долгим, поэтому вторая буква *йā* в слове *сени* считается не огласовкой (как первая буква *йā* в этом слове), а буквой; огласовка же буквы *сӣн* — *касра* — подразумевается (т. е. хотя в написании она отсутствует, но известно, что она здесь есть). Поэтому последний слог данного слова графически рассматривается как долгий и скандируется как долгий. Тут же Бабур делает очень важное замечание о том, что если буквы *алиф*, *вāв* и *йā* на концах слов учитываются при скандировании, т. е. они являются буквами (а не огласовками) и в качестве таковых образуют долгие слоги, то они не свободны от «усиления (*ṣаḳл*)». На основании этого можно сделать вывод, что протяженность ударных гласных на концах слов вполне ощущалась и в тюркском арузе использовалась.

В следующем примере Бабур показывает, как то же сочетание слов может скандироваться в метре *рамал*. Если سینی کورسام (*сени кöрсäм*) произносить согласно парадигме فاعلاتن (*фā*ʿ*илāтун*), то первая буква *йā* в слове *сени* будет при скандировании учитываться, т. е. будет считаться буквой, а не огласовкой. Поэтому первый слог слова *сени* условно принимается за долгий, что соответствует парадигме метра *рамал*. Вторая буква *йā* в этом слове считается только огласовкой, поэтому второй слог получается кратким, что также обусловлено схемой метра.

На основании сказанного мы видим, как одно и то же тюркское слово (*сени*), имеющее два открытых слога, может использоваться в трех разных ритмических конфигурациях: в стопе метра *рамал*, измененной *зиḫāфом ḫабн*, когда оба слога принимаются за краткие (обе буквы *йā* — огласовки); в правильной (полной) стопе метра *хазадж*, когда первый слог — краткий (первая буква *йā* — огласовка) и второй слог — долгий (вторая буква *йā* считается не огласовкой, а буквой); в правильной (полной) стопе метра *рамал*, когда первый слог — долгий (первая буква *йā* считается не огласовкой, а буквой) и второй слог — краткий (вторая буква *йā* — огласовка); соответственно образуется: ⏑⏑; ⏑–; –⏑ (слева направо).

Случая употребления примера سینی کورسام (*сени кöрсäм*) в такой парадигме, где оба открытых слога в слове *сени* принимались бы за долгие (— —), Бабур не приводит, так как стечение нескольких открытых слогов в качестве долгих считалось технически несовершенным. Поскольку по правилам тюркского аруза долгие слоги должны быть закрытыми, в том случае, когда согласно парадигме метра следовало несколько долгих слогов, например в стопе метра *хазадж* (◡ — — —), допускалось только чередование слогов закрытых и потому долгих, и открытых, но считающихся по вышеизложенным причинам не краткими, а долгими.

Бабур указывает, что на концах слов *фатхой* (т. е огласовкой последней буквы слова) кроме буквы *алиф* иногда служит буква ها (*хā*). Она также может учитываться при скандировании в качестве буквы в том случае, когда явственно ощущается ее усиление (*сакл*) (л. 23б), иными словами, когда конечный гласный слова находится под ударением. Например, если скандировать сочетание слов قیلسه وفا (*кылса вафā*) в метре *раджаз* согласно парадигме مستفعلن (*мустаф ʿилун*), то здесь, пишет Бабур, на конце слова *кылса* появляется усиление (*сакл*), и поэтому буква *хā* является здесь не обозначением *фатхи* — огласовки буквы *сūн*, но считается буквой, т. е. формирует долгий слог метра.

Если же скандировать данное сочетание слов согласно парадигме مفتعلن (*муфтаʿилун*), то тогда в слове *кылса* усиление (*сакл*), как пишет Бабур, не принимается во внимание. Происходит это потому, что в парадигме этой стопы *раджаза*, измененной *зихāфом тайй* (стопа *матвū*), второй слог краткий, и, следовательно, буква *хā* в слове *кылса* является только обозначением *фатхи*, т. е. огласовкой.

Приведенные Бабуром примеры показывают, каким образом буквы *алиф*, *вāв* и *йā*, использующиеся в орфографии среднеазиатских рукописей в качестве огласовок, в системе тюркского аруза могут употребляться действительно только как огласовки, и тогда они служат графическими показателями краткости открытых слогов, но также — как они могут считаться и буквами при необозначенных в письме, подразумевающихся огласовках. В таких случаях они графически формируют долгие слоги и являются показателями условной долготы открытых слогов. Иногда на концах тюркских слов вместо *алифа* пишется буква *хā*, на которую распространяется это же правило.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что теоретики аруза, как, впрочем, и сами авторы тюркоязычных стихов, не только вполне понимали фонетический смысл используемых в арабо-персидском арузе сочетаний огласованных и неогласованных букв, но и знали, каким образом можно использовать тюрк-

ские слова, в которых отсутствует различение долгих и кратких гласных, как в арабских и персидских словах, в системе аруза, словно они действительно обладают долгими и краткими слогами. Графическое истолкование системы арабо-персидского аруза, основывающееся на понятии буквы и представляющее долгие и краткие слоги в стопах аруза как сочетание огласованных и неогласованных букв, позволило тюркоязычным поэтам пренебречь представлением о подлинной природе того или иного слога в тюркских словах и обратиться к представлению о том, что́ эти слоги, написанные в арабской графике, представляют собой графически. И хотя в тюркских словах не было долгих и кратких слогов, аналогичных арабским и персидским, в них обнаружились такие же графические сочетания букв, которые в арабо-персидском арузе действительно обозначали долгие и краткие слоги. Отсюда родился прием приравнивания закрытых слогов в тюркских словах долгим слогам и открытых — кратким, а также прием двойственного употребления открытых слогов (как кратких и как долгих). Следует сказать, однако, что поэты избегали скопления открытых слогов в качестве долгих. Если по схеме метра следовало подряд несколько долгих слогов, то обычно в стихе открытые слоги в качестве долгих перемежались с закрытыми слогами, которые всегда принимались только за долгие. Применение этих приемов, разработанных в течение многовековой практики тюркоязычной поэзии, явилось основным условием приспособления тюркского языка к метрам аруза в главной области ритмообразования, охватывающей систему гласных. Затем, уже значительно позднее, описание этих приемов появилось в трактатах об арузе, получив естественно традиционную форму выражения, что не умаляет их значения, но требует особого понимания. Говоря современным языком, о с н о в н о е   п р а в и л о тюркского аруза, о котором писал в своем трактате Бабур, связано с принципом изображения гласных в тюркских словах и определяется им.

Кроме основного правила, обусловившего возможность существования ритмических схем аруза на тюркоязычном материале и касающегося системы гласных, Бабур отмечает также некоторые более частные приемы написания и произнесения в тюркских словах согласных. И здесь автор трактата также проявляет понимание сути фонетических явлений. На л. 22б речь идет об использовании в арабо-персидском арузе удвоенных (*мушаддад*) букв, как, например, в слове خرّم (*хуррам*). Данное слово, скандируемое согласно парадигме стопы فعلن (*фа*ʿ*лун*), состоит из двух долгих слогов, поскольку буква *rā* с *ташдūдом* принимается за две буквы, и таким образом первый слог слова является закрытым. Упомянув это правило, Бабур далее описы-

вает возможность использования *ташдӣда* в тюркских словах. Он пишет, что в тюркских словах *ташдӣд* появляется от прибавления к основе глагола буквы (в современной терминологии — показателя) прошедшего времени. При этом, указывает Бабур, буква *дāл* заменяется буквой *тā*. Например, если основа глагола оканчивается буквой *тā*, то буква *дāл* (употребляя современные термины, согласный *д* в аффиксе 3-го л. ед. ч. прошедшего времени) будет заменяться буквой *тā* (т. е. согласным *т*): يتتى (*йетти*). Бабур отмечает, что в подобных случаях иногда пишут слова с одной буквой *тā*: يتى (*йетти*). Если это слово скандируется в соответствии с парадигмой стопы فعلن (*фаʿлун*), то в нем учитываются две буквы *тā*, хотя *ташдӣд* на письме не обозначен (известно, однако, что он здесь имеется). Следовательно, здесь также получаются два долгих слога, поскольку двойная буква *тā* делает первый слог закрытым. Иногда же, указывает Бабур, такое слово пишут просто с двумя буквами *тā*: يتتى (*йетти*), т. е. без *ташдӣда* (обозначенного или подразумевающегося). Употребление его в стопе метра таково же, как и в первом случае.

Другой вид употребления удвоенных букв в тюркских словах наблюдается в таких примерах, как: دولتته (*давлатта*), فراغتتين (*фарāғаттин*), ايليككا (*иликка*). При этом, отмечает Бабур, буквы *ғайн*, *ḳāф* и *кāф* также могут заменяться друг другом. В этом виде употребления удвоенных букв на письме обозначаются обе буквы. Переводя сказанное Бабуром на язык современных лингвистических понятий, здесь описываются фонетические явления, возникающие при прибавлении к основам имен существительных аффиксов местного, исходного и дательно-направительного падежей.

Эти примеры появления «удвоенных букв» в тюркских словах говорят о том, что Бабуру был известен закон прогрессивной ассимиляции согласных при словоизменении и он понимал необходимость учитывать этот закон при построении ритмических схем. Понятие *ташдӣда* дало возможность приспособить тюркские фонетические явления к теории арабо-персидского аруза путем нахождения адекватных или приблизительно сходных представлений.

Интересно замечание Бабура об акустической форме проявления вышеуказанных особенностей тюркского аруза: «. . . и при исполнении [стиха] в пении [буквы] *дāл* и *ғайн* от соседства с [буквами] *тā, ḳāф и кāф* заменяются [буквами[*тā*, *ḳāф* и *кāф*» (л. 22б). Это замечание свидетельствует о том, что для средневекового теоретика аруза важным являлось не только понимание необходимости учитывать фонетические законы, реально существовавшие в языке, но и осознание возможных различий между графической и акустической формами стиха, различий, которые

в некоторых случаях (как в названном) полностью уничтожались и приводили к тождеству обеих форм стиха. И хотя Бабур, описывая данные явления, пользовался традиционными понятиями, его рассуждения показывают глубину проникновения в сущность стиховедческих проблем, которые не потеряли актуальности и в наше время.

В разделе о правилах скандирования в трактате Бабура мы находим специальное упоминание о правиле обращения в тюркском арузе с сочетаниями букв *нӯн* и *кāф*, которые, как мы знаем, передают тюркский согласный *н͡г*. Бабур пишет, что если после неогласованной буквы *нӯн* стоит буква *кāф*, то этот *нӯн* при скандировании не учитывается, как, например, в словах ينكليغ (*йан͡глыг*), تونكلوك (*тӱн͡глӱк*), образующих стопу فعلن (*фаʿлун*). Речь здесь идет о том, что буквой, закрывающей слог, считается буква *кāф*, и этого достаточно, чтобы первый слог был долгим в соответствии с парадигмой стопы. Поэтому буква *нӯн*, предшествующая букве *кāф*, при построении такой стопы опускается, т. е. считается лишней. Суть этого явления, которую Бабур прекрасно понимал, заключается в том, что в арабской графике не нашлось лишней графемы для тюркского звука *н͡г*, который стал передаваться сочетанием двух арабских букв — *нӯн* и *кāф*. Поскольку акустическая форма слов, содержащих звук *н͡г*, не тождественна их графической форме (один звук обозначается двумя буквами), а традиционная интерпретация теории аруза опускает понятие звука, Бабур вынужден специально указать на то, что из двух написанных букв в схеме приведенной стопы будет использоваться только одна буква, другая же оказывается ненужной.

В заключение следует сказать, что интерпретация теории аруза, основанная на раскрытии содержания традиционных понятий одновременно и с точки зрения средневековой поэтики, и в свете современных представлений, помогает найти объяснение многим до сих пор неясным и спорным вопросам теории и практики тюркского аруза.

Л. Ю. Тугушева

О СТРУКТУРЕ ДРЕВНЕУЙГУРСКИХ ТЕКСТОВ

Произведения словесного искусства предстают перед нами в форме текста как «требующая построения, информативно успешная последовательная связь между уже упомянутыми и еще не упомянутыми семантемами» [1]. В тексте сведены воедино и упорядочены по некоторым заданным правилам комбинаторики элементы разных уровней нехудожественных и художественных структур, включенных в сложную систему внетекстовых связей. Для того чтобы текст мог функционировать успешно, необходимо не только соблюдение правил комбинаторики структур разных уровней, но и осведомленность участников коммуникации в пресуппозиции текста — некоторой области знаний, являющихся исходной основой, общей для отправителя и получателя. Выбор структуры текста определяется не только позицией адресанта, заинтересованного в том, чтобы довести до сведения аудитории (читателя) какой-то объем информации, но и позицией адресата, степенью его подготовленности к приему этой информации в определенной коммуникативной форме. Объем и характер извлекаемой из текста информации обусловлен правильностью выбора кода для дешифровки; успешная дешифровка текста предполагает знание правил комбинаторики не только на уровне естественного языка, но и на уровне языка словесного искусства, являющегося по отношению к естественному языку вторичной моделирующей системой [2]. В настоящей работе предпринята попытка рассмотреть функционирование некоторых элементов текста как элементов языка словесного искусства в раннесредневековой уйгурской литературе, условно называемой древнеуйгурской.

Раннесредневековая уйгурская литература государства Кочо складывалась в условиях столкновения разных религиозных на-

---

[1] P. H a r t m a n n. Zur anthropologischen Fundierung der Sprache. — Symbolae Linguisticae in honorem G. Kuryłowicz. Warszawa, 1965, § 25.

[2] Ю. М. Л о т м а н. Структура художественного текста. М., 1970, с. 30.

правлений. Манихейство, получившее с 762 г. статус государственной религии, уступало свои позиции буддизму. Религиозные деятели и проповедники должны были искать действенные пути воздействия на массы; не последняя роль в этой борьбе была отведена словесному искусству. Необходимая информация доводилась до аудитории не только средствами доступного ей естественного языка, но и тем, что текст был организован по особым законам «как уникальный, ad hoc сконструированный знак особого содержания» [3], как текст художественный. Естественный язык используется в этом случае лишь как средство, как материал, на основе которого создается особый «вторичный» язык искусства. Семантика знаков в художественном тексте не равна их семантике в качестве знаков естественного языка, и дешифровка художественного произведения лишь как совокупности знаков естественного языка не приносит должных результатов, так как при этом вне поля зрения дешифровщика остается система значений, актуализируемая художественной структурой.

Раннесредневековые уйгурские тексты по их структурным свойствам делятся на два типа. Отличительной чертой одного из них является равномерность, функциональная однородность составляющих сегментов, неограниченность (неотмеченность начала и конца текста). К этому типу могут быть отнесены сочинения, составленные в качестве пособий для врачевания, гадания, а также календари и прочие сочинения подобного рода. Другой тип текстов отличается конструктивной неравномерностью, функциональной разнородностью составляющих сегментов, ограниченностью (отмеченностью начала и конца текста, нередко и отдельных разделов внутри текста). Ко второму типу относятся деловые документы, письма и преобладающие в количественном отношении сочинения, связанные с мифологией, религией, культом. С точки зрения структурной организации наибольший интерес представляют тексты второго типа, так как только среди них встречаются разновидности текстов, характеризуемые как тексты художественные.

В произведениях раннесредневековой уйгурской литературы обращает на себя внимание «нарочитость» формы; внутритекстовые структурные отношения по большей части представлены в них в явном виде (в форме специальных литературных приемов). Материальность, выраженность структурных отношений в виде специальных приемов, по всей видимости, упрощала задачу выбора кода для дешифровки текста. Изложение ведется в строгом согласии с ритуалом. Сочинитель (переводчик) мог приступить к делу только во всеоружии бесчисленного множества ритуальных элементов, которыми он должен был владеть безупречно, так

[3] Там же, с. 31.

как отступление от ритуала было бы воспринято как нарушение «соглашения» и безграмотность сочинителя.

Древнеуйгурская литература характеризуется высокой степенью разработанности системы литературных приемов. В ней нормализованы все уровни, начиная от графического облика отдельных лексических единиц до структуры больших разделов текста с их специфическими зачинами и концовками, сложной взаимосвязью элементов. Созданию такой системы должна была предшествовать скрупулезная работа не одного поколения словесников. Элементы ритуалов, как известно, могут перемещаться из одной культурной среды в другую; но в словесном искусстве, будучи перенесенными в иную языковую среду, они претерпевают изменения под давлением материала языка и в стихии нового языка воссоздаются в новом качестве.

Приемы, используемые в древнеуйгурском литературном языке, чаще всего текстуально выражены, поэтому их описание и подсчет не составляют большого труда. В уйгурской литературе раннего средневековья представлены разные виды аллитераций, анафор, рифм, параллелизма, тропов и т. п. Но констатация их наличия и даже подсчет относительной частоты употребления, как правило, не раскрывают своеобразия их функционирования и, следовательно, их роли как элементов семантического единства, называемого текстом. С точки зрения раскрытия семантики художественного текста установление роли литературных приемов как признаков, указывающих на структурные связи в тексте, не менее важно, чем установление общеязыкового значения материала, из которого составлен текст.

Литературные приемы, используемые в раннесредневековой уйгурской литературе, не служат тому, чтобы представить наблюдаемое явление в его индивидуально-неповторимом виде. Сопоставим, к примеру, слова и выражения, в которых описываются жесты, обозначающие высокую степень почтения, в текстах, выполненных разными литераторами в отличной друг от друга стилистической манере:

1) t(ä)ŋri t(ä)ŋrisi burxan-tïn bu yarlïγ-ïγ äšidip biš yüz arxantlar olurmïš orun-larïnda örü turup tiz-lärin čökidip ay-a-larïn qavšurup ... t(ä)ŋri t(ä)ŋrisi burxan-[qa] ïnča tip öḍüg öḍüntilär 'услышав эту речь бога богов Будды, пятьсот архатов поднялись со своих мест, преклонили колена, сложили ладони... и обратились к богу богов Будде с такими словами' (Insadi 553—560);

2) ötrü olurmïš orunïntïn örü turup oŋ ägnin tonïn birtin ačïnïp tizin čökidip iligin qavšurup t(ä)ŋri t(ä)ŋrisi burxanqa ïnča tip ötüg ötünti 'поднявшись со своего места, обнажив одно левое плечо, преклонив колено, сложив руки (ладони ?), обратился к богу богов Будде с такими словами' (TT VI 011—013);

3) ol t(ä)ŋri qïzï ... ötrü orun-ïntïn örü turup birtin sïŋar oŋ tizin čökitip ayasïn qavšurup aγïr ayamaq-ïn t(ä)ŋri t(ä)ŋrisi burxan-qa ïnča tip ötündi... ‘эта богорожденная дева ... поднялась тогда со своего места, преклонила одно правое колено, сложила ладони и с великим почтением обратилась к богу богов Будде со следующими словами’ (AY 372_{1-7}).

В приведенных примерах для описания некоторых внетекстовых ситуаций используется один и тот же стереотип с незначительными отступлениями от шаблона. Использование разными литераторами единого трафарета для перевода однозначных фрагментов текста из разных сочинений с одного языка на другой говорит не только о высокой степени нормализации литературного языка. Вместо множества возможных вариантов перевода представлен один стереотип. Этот факт сам по себе свидетельствует о том, что в приведенных примерах имеет место не описание реальной ситуации, а некоторого идеализированного представления об этой ситуации. Между ситуацией и ее изображением располагается идеализированный знак этой ситуации — литературный штамп. Такого рода эстетическое мышление характерно для эпохи средневековья, и в ее основе лежит гносеологическая идея, согласно которой истина воспринимается как изначально данная и «познание осуществляется путем приравнивания частных явлений к общим категориям, которые мыслятся как первичные» [4]. Конструктивную роль в знании играет категория сходства [5]. Ничто из конкретных явлений непосредственного окружения не заслуживает внимания само по себе; предметом искусства что-либо может стать лишь постольку, поскольку оно служит подтверждением какой-либо изначально данной авторитетной идеи. Отсюда проистекает стремление отделить язык «высокой литературы» от бытовой речи. Стилистические нормы этого языка с его привычным набором ритуальных трафаретов служили напоминанием об отвлеченном содержании описываемых явлений и способствовали созданию условно-литературных образов, отстраненных от конкретной реальности. Этим же фактором определяется преобладание в раннесредневековой уйгурской литературе произведений неоригинальных. Интерес могли представить только авторитетные сочинения, переводу и пересказу которых отводится главное место в литературе. Заслуживало внимания то, что «доверено Скрижалям», «слово истины нужно было находить в книге» [6]. Общие мировоззренческие установки эпохи влияли также на формирование конкретных приемов литературы, в частности тропов (метафор, сравнений и т. п.). В уйгурской

---

[4] Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, с. 157.
[5] М. Фуко. Слова и вещи. М., 1977, с. 61.
[6] Там же, с. 86.

литературе рассматриваемого времени предмет или явление, произвольно выбранное из окружающей действительности, не может стать объектом для сравнения; таковыми могут выступать лишь особым образом отмеченные (имеющие знаковый смысл) явления окружающего мира. К числу таковых отнесены прежде всего некоторые фундаментальные явления природы (ветер, туман, небо, земля, гора, океан, река и т. п.) и явления, связанные с представлением о божественном. Ср.: tüt[süg] tütüni-i bulïtlayu yadïltï 'дым курительных свечей раскинулся подобно облаку' (СЦ VI 3б 5—7); ol bäglär basasïn-ta körünč-či-lär bulït täg ärd[i] '[толпа] любопытствующих, следовавших за этими беками, была подобна туче' (СЦ VI 1б 4—5); bušï-lïɣ aqïn ögüz-üg aqïdtï-lar·burxan qudï-lïɣ etiz sumir taɣ-ïɣ yapï(d)dï-lar 'по их воле потекли реки пожертвований и [из пожертвований] была образована достойная благодати Будды великая гора Сумеру' (Insadi 345—347); ïduq äzrua ünin toyïn-larïɣ oqïp 'окликнув служителей [монастыря] голосом, [подобным] священному голосу Брахмы' (Insadi, 266—267); bu tïltaɣ-ïn yiti kün čedavan säŋräm-tä mün qataɣ-lïɣ qara yil-lär yiltirdi 'по этой причине в монастыре Джетавана семь дней бушевали ветры злодеяния' (Insadi 334—336); mün qadaɣ-lïɣ qar-a bulïd 'черная туча злодеяния' (Insadi 325—326); ögrünč-lüg ögüz-läri yayqaldï 'реки их радости всколыхнулись' (Insadi 391—392); bušuš-luɣ bulïd-larï ürdülti 'тучи их скорби затянули [небо]' (Insadi 393—394). С точки зрения современных литературных норм такого рода сравнения и метафоры были бы восприняты как тривиальные. Но в соответствии с эстетическими нормами той эпохи эти сравнения воспринимались как раскрытие новых, еще неизведанных сторон некоторых изначальных явлений, как углубление в их сущность и, следовательно, как неожиданные, нетривиальные.

Одной из отличительных особенностей формы раннесредневековых уйгурских текстов является смешанный характер ритмической организации. Исследователи уйгурских текстов не оставили этот факт без внимания. Ш. Текин в предисловии к изданию IX и X глав сутры «Алтун ярук» пишет: «Внешняя форма сутр — нормальная проза, которая прерывается стихами. Стихи появляются там, где повествование должно быть особо подчеркнуто» [7]. В самом деле, в моменты, когда излагаемое событие (факт) с точки зрения повествователя достойно сопереживания (пафоса, восторга, презрения и т. д.), текст специальным образом структурно организуется. Идет ли речь о действиях Сюань-цзана, «преодолевшего снежные вершины и без-

[7] Ş. Tekin. Die Kapitel über die Bewußtseinslehren im uigurischen Goldglanzsūtra (IX. und X.). — Veröffentlichungen der Societas Uralo-altaica. 3. Wiesbaden, 1971, с. 16.

жизненные пустыни», о недостойном поведении отрицательных персонажей в «Инсади-сутре», о божественных деяниях и т. п., для достижения соответствующей реакции слушателей повествующий прибегает к помощи специальным образом упорядоченных языковых структур:

amtï kälip
baryaga višay uluš-dïn ärtip
kaviša višay ildin [a]šïp
käz art-dïn käčip
[p]iamal arqu-dïn ävrilip ötdüm

'теперь, вернувшись,
я снова прошел через страну Барьяга,
миновал страну Кавиша,
преодолел хребты Кеза
и ущелье Пиамала'
(СЦ V 13a 14—18);

ot čümgän-lärig аča
oy yer-lärig qaz-a
mandal-larïn bayu
mahišv(a)rïγ oqïyu
az-rua t(ä)ŋrig ymä ödünü
qasγuq üz-ä yerig s(a)nča
qapïrïγ-ï üz-ä yerig yïrtïz-qayu

'кусты и травы раздвигая,
ямы разрывая,
завязав свои мандала,
взывая к Махешвара,
к Брахме с мольбой обращаясь,
кирки в землю вонзали,
лопатами землю рыли' (Insadi 281—285);

sačtï us tatïγïγ sïγun-lar bärkintä:
yarutdï nom ärdini-ig q(a)ra quš säŋir-lig taγ-da

'он рассыпал сладкую росу в Оленьем парке,
засветил драгоценную жемчужину Мани на горе Коршуна'
(СЦ V 10a 4—7)

Во всех трех приведенных отрывках текст помимо общеязыкового содержания приобретает некоторый дополнительный семантический компонент, который в записи на естественном языке звучал бы следующим образом:

1) его не могли остановить никакие препятствия; он шел к цели без колебаний и достиг ее;

2) брахманы — недостойные люди, и их поступки вызывают презрение;

3) ему удавалось совершать то, что простым смертным было недоступно.

Сопоставляя эти записи, нетрудно заметить, что они содержат общий семантический элемент — оценочное отношение

к текстуально излагаемой ситуации. Дополнительный семантический компонент, привносимый структурной организацией, имеет метатекстовое содержание; он выступает как бы комментарием к тому, что изложено в тексте на общеязыковом уровне. Подобный способ передачи метатекстового содержания как нельзя более отвечал общей ориентации модели культуры того общества. В средневековой модели культуры точкой отсчета для оценки какого-либо явления служило представление об «идеальной норме истории человечества и поведения людей» [8], но не личная позиция автора, которая в средневековом обществе не являлась социально значимой. Введение в текст прямых оценок по эстетическим нормам того времени могло быть воспринято как внесение в литературу элементов повседневности, как напоминание об индивидуальной точке зрения повествователя и, следовательно, нарушение этикета. Не стремлением к «украшательству» определялась разнородность в оформлении текста, а жесткими требованиями «литературного этикета», которые в конечном итоге обусловлены способом мировосприятия. Со-противопоставление структурно разнородных сегментов текста служит источником дополнительной семантизации текста.

К числу наиболее употребительных приемов, используемых для передачи метатекстового содержания, в уйгурской литературе раннего средневековья можно отнести параллелизм и повторы. В литературе уйгуров существуют стилистические разновидности речи, в которых параллельное оформление сегментов является едва ли не нормой. К таковым можно отнести, в частности, разновидность речи, которую условно можно было бы назвать речью ораторской, так как она особенно характерна для диспутов. Типическим образцом этой разновидности речи может служить, например, речь Алока-чинтамани, обращенная к Брахме, в сутре «Алтун ярук»:

q(a)ltï suv ičindäki ay t(ä)ŋri bodi yorïq-ta yorïmïš täg
mäniŋ bodi yorïq-ta yorïmaq-ïm ančulayu oq ärür: :
q(a)ltï tüšämiš tül bodi yorïq-ta yorïmïš täg
mäniŋ bodi yorïq-da yorïmaq-ïm ančulayu oq ärür: :
q(a)ltï say-taqï saqïγ bodi yorïq-ta yorïm-(ïm)ïš täg
mäniŋ bodi yorïq-ta yorïmaq-ïm y(i)mä ančulayu oq ärür: :
q(a)ltï qïsïl yaŋqu-sï bodi yorïq-ta yorïmïš täg
mäniŋ bodi yorïq-ta yorïmaq-ïm y(i)mä ančulayu oq ärür

'Подобно тому как луна, [отраженная] в воде, идет по пути прозрения, таков и мой путь прозрения;
подобно тому как приснившийся сон идет по пути прозрения, таков и мой путь прозрения;
подобно тому как мираж в пустыне идет по пути прозрения, таков и мой путь прозрения;

[8] Ю. М. Лотман. Структура художественного текста, с. 323.

подобно тому как эхо ущелий идет по пути прозрения,
таков и мой путь прозрения' (AY 382_{1-12}).

В сутре «Säkiz yükmäk» речь бодхисаттвы Асанга состоит из тринадцати параллельных звеньев, построенных по единой схеме: bilgä az biligsizlär üküš täŋrim üč ärdinikä tapïγčï tïnlïγlar az yäkkä ičkäkkä qamqa tapïγčï tïnlïγlar üküš täŋrim. . . 'Мудрых (имеющих знания) — мало, невежественных — много, господин мой; поклоняющихся трем сокровищам — мало, почитающих демонов и чародеев — много, господин мой. . .' (TT VI 016—018) и т. д.

Такого рода речевые построения с равномерно повторяющимися звеньями, которые семантически варьируются путем смены лексем на определенных участках этих звеньев, позволяют выразить идею в гиперболизированной форме. Со-противопоставление сменяющихся лексем, обусловленное идентичностью их позиций в параллельных конструкциях, способствует выделению в них черт общности и различия и возникновению архисемы, семантический вес которой возрастает пропорционально числу повторяющихся звеньев построения. Конструкции этого типа заключают в себе метатекстовое значение, которое состоит отчасти в гиперболизации архисемы.

В зависимости от замысла повествователя элементы текста разных уровней могут быть включены в сложную систему внутритекстовых оппозиций. Например, фрагмент текста из «Инсадисутры», составляющий некоторое смысловое единство, по структурной организации может быть расчленен на метамерические части (строки):

(1) ud törösin tudup möŋörgüči-lär
(2) ït törösin tudup ulïγučï-lar
(3) čar sačlïγ čökä
(4) uvudïn avyatïn ïčγïnmïš
(5) ösüdin ažun-ïn unïdmïš
(6) qalïn braman-lar

'Наподобие коров мычащие,
наподобие собак воющие,
со связанными узлом космами (=скр. jatā) čökä (?),
отбросившие стеснение и стыд,
забывшие о своей душе и о своем рождении
неотесанные брахманы' (Insadi 269—274).

Первые две строки этого фрагмента текста отмечены полным морфо-синтаксическим параллелизмом, на фоне которого особо подчеркнуто несовпадение лексических элементов ud // ït, möŋör- // ulï-, вносящее дополнительный семантический элемент наращивания эффекта, вызванного первой строкой. Параллельные по конструкции строки 4 и 5 также построены по принципу морфо-синтаксического параллелизма с различающимися лексическими

элементами, но имеют в отличие от строк 1 и 2 иной ритмический рисунок, подчеркивающий самостоятельность, независимость заключенной в них идеи. Строки 3 и 6, разделяющие эти две самостоятельные части высказывания, не имеют видимых признаков нарочитости в организации и противопоставлены структурно-организованным частям высказывания, подчеркивая их окказиональное содержание. Элементы, занимающие идентичные синтаксические позиции в параллельных конструкциях, со-противопоставлены друг другу. На пересечении полей значений со-противопоставленных единиц возникает общее семантическое ядро. Общности семантических признаков со-противопоставленных единиц нередко сопутствует частичный параллелизм и на фонологическом уровне. Ср.:

ayaz-ta yulduz körü
yaγïz-ta yer ïdïšqayu

'озирая звезды на ясном небе,
обнюхивая почву на бурой земле'
(Insadi 244—245).

Противопоставленные позиционно лексические единицы ayaz // yaγïz и yulduz // yer характеризуются общностью фонем a, y, z — в первой паре и фонемы y — во второй. Морфо-синтаксический и частичный фонологический параллелизм служат здесь основанием для сопоставления и выделения общего для них семантического элемента, сводимого к понятию «все пространство универсума данной поэтической структуры». Тот же прием использован в конструкции: isig üz-ä aγu-qup // öŋž-in üz-ä adaqïp 'обезжизненная зноем, подверженная козням злых духов' (СЦ V 146 26—27), в которой соотнесенные позиционно лексические единицы aγu-qup // adaqïp объединены общностью фонем a, q. Таким образом достигается необычная для естественной речи семантическая активизация лексики.

Сигналами того, что текст является особым образом организованной художественной структурой в раннесредневековой уйгурской литературе, служат также анафорическая аллитерация и рифма, которые часто сопутствуют ритмическому и синтаксическому параллелизму:

kečä bolγu-sïn baq-a
kiši adaqï amrïlγu-sïn küd*ä*
ot ar-a yaša
oy yer-lär-tä bük*ä*
olurdï-lar

'ожидая, когда наступит вечер,
выжидая, когда затихнут шаги,
прячась среди кустов,
пригнувшись в ямах,
они сидели' (Insadi 212—214)

Анафорические повторы и рифма, являясь внешне сходными проявлениями эвфонии, функционально не тождественны. Функциональное различие их между собой проявляется, в частности, в том, что начальная аллитерация выступает общим элементом синтаксически параллельных сегментов текста, как бы фиксируя границы их сочленения: рифма же служит объединяющим элементом некоторой единицы текста. В вышеприведенном отрывке из четырех звеньев смежная анафорическая аллитерация в структурном плане дополняется перекрестными рифмами. Еще более отчетливо особенность каждой из них проявляется в цитировавшемся выше фрагменте текста:

(1) ot čümgän-lärig ača
(2) oy yer-lärig qaz-a
(3) mandal-larïn bay*u*
(4) mahišv(a)rïγ oqïy*u*
(5) äzrua t(ä)ŋrig ymä ödünü
(6) qasγuq üz-ä yerig s(a)nča
(7) qapïrïγ-ï üz-ä yerig yïrtïzqay*u*.

В этом фрагменте стандартная форма анафорической аллитерации сочетается со смежными рифмами, причем рифма шестой строки перекликается с рифмами первых двух строк, рифма седьмой строки — с рифмами третьей и четвертой строк. Пятая строка, обособленная ритмически, не имеет каких-либо видимых признаков организации и, будучи противопоставлена всему фрагменту, подчеркивает его организацию.

Различие функций анафорической аллитерации и рифмы не всегда проявляется столь очевидно. Нередко они сочетаются, охватывая сегменты метамерического ряда с двух сторон и образуя своего рода рамку, благодаря которой особенно явственно проступают единство и со-противопоставленность сегментов и сходство и несходство внутрисегментных элементов:

tört tavip yirḍinčü-nüŋ körki.
tüdrüm täriŋ taluy ögüz-nüŋ türki.
tört-tin sïnar-qï taγ-lar-nïŋ börki:
tüz yaγïz yir üztäŋiniŋ örki

'он — краса четырех dvīpa-миров,
он — мощь глубоких вод океанов,
он — крыша (букв. шапка) гор
четырех направлений света,
он — высочайшее из [всего, что есть]
на ровной бурой земле' (Erntesegen, с. 113_{18-21});

qïlmïš iši qïyïq
qïlïqï kändü sïyuq
qïqïrïp qačar qïrïq
qïrḍïšï äski čaruq

'совершаемые им поступки — кривы,
его нрав — ломаный,
[при виде его] с воплями убежит [и] разбойник,
вид его подобен старым чарыкам'
(Erntesegen, с. $116_{131-135}$).

Своеобразный тип повторов являют собой общие места. Они используются в виде готовых клише (ср.: üsdünki täŋri-lär ögirdi-lär altïnqï yalaŋuq-lar sävindi-lär 'божества наверху возрадовались, люди внизу возликовали' — Insadi 574—575) в различных текстах, объединенных по языковому и жанровому признаку. Их отличие от других видов повторов состоит в том, что сфера со-противопоставления в этом случае не ограничивается пределами одного текста, но включает в себя и другие тексты данного комплекса, знания о которых, как подразумевается, хранятся в памяти аудитории. В прочих отношениях общие места функционируют аналогично другим видам повторов, общим свойством которых является активизация семантики включенных в структуру текста языковых единиц.

Особого рода метатекстовая семантика может быть выражена также с помощью:

1) разного рода инверсий: körüp ämgäklig ört ičintä küy-ä ördänü turur-larïn 'видя, что они горят на огне страданий' (Insadi 63); ol yirdä [taŋ]lančïγ tatïγlïγ šäkär qamïš [önt]i ïnča q(a)ltï süt täg 'на этом месте вырос удивительный сахарный тростник, сладкий, как молоко' (СЦ V 7а 14—15); ay-ï taŋlattï ay bo braman-lar 'ну и удивили же эти брахманы' (Insadi 44); m(ä)n kuintso bardïm burxan toγmïs kidin änätkäk iliŋä 'я, Сюань-цзан, пошел на запад в страну Индию, где родился Будда' (СЦ V 12а 19—20); yalvardï-lar il [orn]-ïŋa olurdačï idi ava bulalïm tip 'они молили и просили о том, [чтобы] найти правителя, достойного воссесть на трон' (СЦ V 6б 22—24); bitig tägip bilti [. . .] samtso ačari biz-iŋä yaγumïš tip 'пришло письмо, и он узнал, что наставник в Трипитаке приближается к ним' (СЦ V 15б 2—4);

2) некоторых морфо-синтаксических показателей, как, например:

а) сочетание акцентируемого элемента с условной формой глагола är- 'быть': abiš-ik täginmäyük ärsär darni-čï tigäli bolmaz 'тот, кто не постиг абхишека, не может называться познавшим дхарани' (Mañjuśrī 124); m(ä)n bu güγ xu-a küŋ atl(ï)[γ] säŋrämkä kältim ärsär: uγrayu tayražaki nomuγ t(a)vγač tilinčä ävirgü üčün kältim 'если я и прибыл в монастырь Юхуагун, то лишь для того, чтобы перевести на табгачский язык сутру Махапраджняпарамита' (СЦ X 445—449); män ärsär toyïn-lar-a braman ärür-män nirvan bulmïš 'я же, о монахи, брахман, обретший нирвану' (Insadi 48);

б) повтор одного и того же морфологического показателя при разных элементах конструкции: biz arïγ-biz biz dindar-biz t(ä)ŋri ayγïn tükäti išl-äyür-biz 'мы святые, мы монахи; заветы всевышнего мы выполняем неукоснительно' (TT II 2—3). Конструкции 1 и 2 объединены общим признаком: они являются коммуникативными вариантами какой-либо (основной) структурной схемы, отличающимися от нее характером выраженной в них актуальной информации, особым образом расставленной акцентуацией. Но с точки зрения надфразового синтаксиса они являются нормированными, типовыми.

Наряду с вышеперечисленными в раннесредневековой уйгурской литературе существуют также приемы организации текста, которые не соотносятся непосредственно с содержательной стороной текста, а служат связующими элементами между звеньями надфразового синтаксиса. Они являются носителями некоторого метатекстового содержания, но это содержание не нацелено на то, чтобы регулировать отношение слушателя к содержанию текста, а связано с представлением о его характере. К такого рода приемам могут быть отнесены разные типы зачинов и концовок, риторические вопросы и некоторые другие виды стереотипных оборотов. Эти виды трафаретных выражений служат своего рода сигналом о том, какого рода текст за ними последует. Например, вступление к письму строится по тому или иному образцу в зависимости от того, последует ли за ним частное послание, сообщение или официальное распоряжение. Ср.: aγïr ayamaq-ïn äsängüläyü üküš köŋül ayïtu ïdurbïz 'мы посылаем Вам приветствие, выражая свое почтение и осведомляясь много[кратно] о Вашем самочувствии' (СЦ VII 1824—1826); toyïn kuintso savïm 'слово мое — монаха Сюань-цзана' (СЦ V 11б 22—23); el ögäsi bilgä bäg bitigim(i)z arslan taγ tutuq-qa biz-iŋ sav ïnča bilgil 'наше, правителя страны Бильге-бека, послание Арслану Таг-тутуку. Наше слово таково, знай!' (Ярлыки, с. 249). В риторическом вопросе содержится некоторая информация о содержании последующего фрагмента текста, рассчитанная на активизацию внимания слушателя (читателя), так как за риторическим вопросом, как правило, следует сентенция, легенда или какая-либо иная особо значимая часть текста. В этом плане риторический вопрос функционально сближается с зачином: nä tïltaγ-ïn udun-qa käldi tisär 'если спросят, почему он перешел в Удун' (СЦ V 7б 15—16); nä tägin itdi tip tisär 'если скажут: «Каким образом он устроил?»' (СЦ V 9а 19—20); qayo-lar ol yete tep tesär 'если скажут: «Кто они эти семь [родов существ]?»' (Insadi 622—623); nä üčün büdmäz tep tesär 'если скажут: «Почему не удастся?»' (Insadi 627); nä üčün qaŋïmïz tükäl bilgä biliglig täŋri täŋrisi burxan bo yarlïγ-ïγ yarlïqadï ärki tep tesär 'если скажут: «Почему же наш отец — обладающий со-

вершенным знанием бог богов Будда — провозгласил это наставление?»' (Insadi 495—497).

Особое место в отношении структурной организации текста в раннесредневековой уйгурской литературе занимают синонимические сочетания. Среди поэтических приемов синонимия является одним из основных; значение любого члена предложения может быть «усилено» с помощью синонимического повтора, предполагающего совпадение некоторых семантических признаков лексем при их фонетическом различии: laγki balïqdaqï toyïn igil yügürü kälip sïqtašdï-lar yïγlašdï-lar 'священнослужители и миряне города Ло-цзинь сбежались и рыдали и стенали' (СЦ X 1066—1068); qaŋï qan bu sav išidip kök täŋri tapa ulïdï sïqtadï. . . ög-sirädi taltï 'его отец хан, услышав эту весть, обратил [свой лик] в сторону неба и стал стенать и плакать. . . и лишился чувств' (КР LXI 3—6); köriŋlär bu šaki-lïγ toyïn-lar-nïŋ körk-süz yavïz iš-lärin küč-lärin 'взгляните на неприглядные, дурные дела этих служителей Шакья' (Insadi 305—307); saŋram itgülük yig adruq yir orun talulap 'выбрав лучшее место для строительства монастыря' (СЦ V 10б 13—14) и т. д.

Согласно одной из существующих точек зрения это явление в средневековом словесном искусстве имеет мировоззренческую основу и мотивируется тем, что «автор как бы колеблется выбрать одно окончательное слово для определения того или иного явления и ставит рядом два или несколько синонимов, равноценных друг другу. В результате внимание читателя привлекают не оттенки и различия в значениях, а самое общее, что есть между ними. . . Авторы стремятся избежать законченных определений и характеристик. Они подыскивают слова и образы, не удовлетворяясь найденным. Они без конца подчеркивают те или иные понятия и явления, привлекают к ним внимание, создают впечатление невыразимой словами глубины и таинственности явления, примата духовного начала над материальным» [9]. Сходную картину мы наблюдаем в раннесредневековой уйгурской литературе, которая, как и всякое искусство, основанное на эстетике тождества, исходила из допущения, что познавать вещи значит «раскрывать систему сходств, сближающих и связывающих их между собой» [10]. Но вопрос о функциях синонимии как литературного приема в уйгурской литературе имеет и другой аспект. Нельзя не заметить того, что между структурной организацией раннесредневековых уйгурских художественных текстов и эпическими произведениями на тюркских языках в некотором отношении существует параллель. Для уйгурской литературы, так же как

---

[9] Д. С. Лихачев. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.—Л., 1962, с. 56—58.

[10] М. Фуко. Слова и вещи, с. 89.

и для эпоса, характерна особого рода последовательность структурно упорядоченных и неупорядоченных частей, ориентированных на разные способы представления семантики в тексте. Наиболее упорядоченные части в тех и других видах текстов ориентированы на передачу метатекстового содержания, в то время как менее упорядоченные части по своему семантическому потенциалу сближаются со структурами естественного языка. Клише, кочующие из одного текста в другой [11], и прозаические вставки в эпосе [12] являются двумя крайними точками на шкале упорядоченности текста. Постоянное переключение внимания от организации одного порядка на другой создает необходимое напряжение, позволяющее владеть вниманием аудитории. Этой же цели в конечном итоге служат разного рода повторы. Повтор неэквивалентных с точки зрения языкового выражения, но объединенных общим семантическим признаком языковых единиц способствует концентрации внимания на общем для них семантическом признаке, благодаря чему на каждую единицу семантики отводится больше повествовательного времени. Повествование строится таким образом, чтобы ничто семантически значимое не могло ускользнуть, пройти мимо внимания слушателей. Между информативной интенцией, заключенной в семантической единице, и количеством затраченного на нее повествовательного времени устанавливается взаимообусловленность; с помощью повторов регулируется соотношение между информативной интенцией семантической единицы и количеством повествовательного времени. Повтор семантических элементов в разных вариантах, по всей

---

[11] Типическими образцами такого рода клише являются, к примеру, следующие фрагменты из эпоса:

Жетпіс үйлі Жебір бар,
Сексен үйлі Ыбыр бар,
Токсан үйлі Тобыр бар

'Есть Жебиры о семьдесят домов,
Есть Ыбыры о восемьдесят домов,
Есть Тобыры о девяносто домов'
(Камбар батыр. Казахский эпос. Кн. 1. А.-А., 1957, с. 8).

Төрт түлігі сай болған.
Ішкендерін сұрасаң
Шекер менен шай болған.

'Четырех видов (скота) у него было в достатке.
Если ты спросишь, что они пили,
То был чай с сахаром' (Камбар батыр, с. 8).

[12] Ср.: Әзімбай аулының қасында бір көл бар еді, оған адам бендесін жібермейтін еді. . . и т. д. 'Рядом с аулом Азимбая было озеро; ни одного человека он к нему не подпускал. . .' (Камбар батыр, с. 12).

видимости, потому и способствует созданию впечатления «эпического спокойствия повествования» [13], что при этом создается соответствующее распределение информации во времени.

Наличие этих черт в письменной уйгурской литературе свидетельствует о том, что она не до конца утратила связи с устной.

Раннесредневековые уйгурские литературные произведения сближаются с произведениями устного народного творчества также по характеру совмещения в них «заданного» и «творческого». При всей жесткости условий ритуала, диктуемых правилами эстетики тождества, остается участок, где свобода творчества и импровизации практически неограниченна. Таковым в уйгурских художественных текстах, так же как и в эпосе, являются способы распределения заданных элементов и подбор лексического и фразеологического материала на участках текста, имеющих относительно мягкую структуру.

Выше было отмечено, что для средневековых литератур характерно тяготение к «авторитетным» сюжетам. Этим свойством раннесредневековой уйгурской литературы в значительной мере определяется ее неоригинальный, переводный характер. Но вместе с тем сопоставление уйгурских версий текстов с их оригиналами показывает, что принципы построения уйгурских текстов относительно независимы и с точки зрения структурной организации текста уйгурская литература обладает известной самостоятельностью [14]. Эта независимость проявляется уже в том, что во многих произведениях, в частности таких, как «Инсади-сутра», «Алтун ярук» и др., структурно-упорядоченные части уйгурской версии часто не соответствуют таковым в тексте оригинала. Фрагменты же, имеющие в оригинале явно выраженную упорядоченную структуру, содержащие нередко прямые указания на особый способ их построения, в уйгурской версии строятся произвольно без видимых признаков организации: šlok -ta ymä sözlämiš bar : : [. . .] övkä qaqïγ ọọč käk köŋül tudmïš-lar-nïŋ : : [. . .] sanvar-lïγ ögüz suvï-nïŋ aqïnï tïdulur (!) : : [. . .][buyan-lïγ gaŋ ögüz suvï äksümäsär kirikmäsär : : [. . .] sanvar-lïγ gaŋ ögüz suvï-nïŋ, tïdïlmaqï särilmäki bulduqmaz 'В стихе сказано: течение потока Самвара людей, хранящих в душе чувства ярости, злобы, ненависти и мести, приостанавливается. Если Ганг-река благих деяний не приуменьшится и не замутится, то не случится того, что Ганг-река [потока] Самвара приостановится и иссякнет' (Insadi 674—683); šlok taqšutïn ïnča tip ötündi : : : : küsüš-üm ol ötüngü-lük . . yirtinčüg y(a)rrutdačïqa (!) . . iki ataq-lïγ-lar-ta yig qopda . . atruq ayaγ-qa tägimlig-kä . . bodis(a)t(a)v-lar köni

---

[13] Р. Уэллек, О. Уоррен. Теория литературы. М., 1978, с. 193.

[14] Ср.: P. Zieme. Zur buddhistischen Stabreimdichtung der alten Uiguren. — «Acta orientalia hungaricae». T. 29. Fasc. 2, с. 189—190.

nom-ta̤ . . nätäg yaŋïn yorïmaq-ïn . . küsüš-ümin adï kötrülmiš . . taplaγay mu ärki bilmäz-m(ä)n tip 'Она так сказала в стихах: «Вопрос, с которым я обращаюсь к тому, кто освещает весь мир, к лучшему среди людей (букв.: двуногих), избранному среди всех, достойному почитания, следующий: каким образом бодхисаттвы следуют истинному закону?» Одобряет ли досточтимый мой вопрос, я не знаю' (AY 372 $_{12-18}$). Сопоставив приведенные отрывки из «Инсади-сутры» и сутры «Алтун ярук», квалифицируемых в самом тексте как стихотворные, с рассмотренными выше фрагментами из тех же произведений, нетрудно установить, что степень упорядоченности последних заметно выше. Поскольку упорядоченность является одним из способов семантизации текста, на основе такого рода фактов можно сделать вывод о том, что метатекстовая семантика уйгурских текстов варьируется независимо от установок, заданных в оригиналах.

* * *

Язык раннесредневековых уйгурских письменных памятников — строго нормализованный, стандартный литературный язык. Но, как и всякий литературный язык, он вариативен. Это сложная стилистическая структура, в которой каждый из стилей имеет свою целевую (функциональную) направленность и служит для выполнения определенных социальных задач. В разных типах памятников используются разные стили, обусловленные конкретной функцией текста в процессе социального общения. В зависимости от задач коммуникации видоизменяется и структура текстов. Структура деловых документов, составляющих одну из разновидностей текстов второго типа (см. выше), формируется на основе иных принципов, чем структура художественных текстов. Знакомство с документами показывает, что они построены по определенным образцам и тем не менее каждый раз являют собой вновь воссоздаваемое речевое событие, в основе которого лежит особый языковой субкод, находящийся в сложном взаимодействии с другими стилистическими разновидностями уйгурского языка. В отличие от «высокого» стиля религиозной и художественной литературы, оторванной от повседневной жизни и конкретного быта в силу своей функции, осуществляемой с помощью разработанной образно-поэтической и понятийной системы и системы литературных шаблонов и трафаретов, предметом (сюжетом) деловых документов выступают обыденные ситуации. Различие в фактической основе не могло не привести в конечном итоге к расхождению между языком деловых документов и языком «высокой» литературы. Лишь в силу существования определенного языкового расстояния, отделяющего язык документов от прочих стилей уйгурского языка, в деловом субкоде языка могли появиться семемы, нахо-

дящиеся в отношениях дополнительной дистрибуции с другими вариантами этих же семем.

Существует расхождение между общеязыковым значением некоторых лексем и значением, приобретаемым ими в деловых документах: söz 'сообщение' вм. общеязыкового 'слово', satïγ 'продажная цена товара' вм. 'торговля', tilä- 'ходатайствовать' вм. 'хотеть, желать', asïγ 'процент (долговой)' вм. 'польза', tüš 'процент (долговой)' вм. 'плод, семя', qïn 'штраф' вм. 'тягота', iki baγ 'рулон двойного размера' вм. 'две связки' и т. п. Своеобразием этого участка уйгурского языка определяются и некоторые иные особенности его семантической структуры. Нередки случаи, когда общеязыковое значение всех элементов какого-либо языкового выражения определимо, их комбинации не образуют сочетаний со связанным, контекстно-обусловленным значением, но, несмотря на это, значение выражения в целом остается неясным. Например, в стереотипном выражении, используемом в документах о займе, bar yoq bolsar-män, с точки зрения общеязыкового значения все элементы в достаточной мере прозрачны, но общий смысл его оставался невыявленным до тех пор, пока не было проведено специальное исследование, в результате которого было установлено, что оно содержит некоторую дополнительную текстуально не выраженную семантику [15]. Феномен такого рода в языке уйгурских деловых документов не редкость, и потому, интерпретируя содержание деловых документов, невозможно обойти вопроса об этом участке семантики и способах ее выявления.

Судя по содержанию раннесредневековых уйгурских деловых документов, уйгурское право предусматривало письменную фиксацию любого рода сделок. В роли писца при составлении контракта могли выступать как третье лицо, так и один из контрагентов. При именах составителей документов нет каких-либо помет, указывающих на их принадлежность к сословию писцов или правоведов. Эти факты привлекали внимание уже на первых этапах дешифровки уйгурских деловых документов. А. фон Лекок, в частности, в связи с этим писал: «Во многих документах ясно указано, что один из участников составил документ сам. Так как мы нигде не читаем, что какой-либо правовед контролировал составление, должно быть, знание употребительных в каждом случае юридических формул было общедоступно. В сравнении с Европой примерно той же эпохи — мы говорим о времени до и после Крестовых походов — эти тюрки, таким образом, обнаруживают и здесь известное превосходство: многие ли из благородных феодалов

[15] M. Mori. A Study on Uygur Documents of Loans for Consumption. — «Memoirs of Research Department of the Toyo Bunko». № 20. 1961, с. 132—144.

19 Заказ № 1873

Европы были в состоянии в то время по всем правилам составить подобные договоры? Среди уйгуров это мог сделать уже сельский ремесленник» [16]. В самом деле, судя по материалам документов, составители документов не принадлежат к какому-либо одному сословию. Среди них встречаются как титулованные особы, относящиеся к привилегированному сословию (ädgü toγrïl, älgir tutuŋ, qïytso tutuŋ и пр.), так и рядовые члены общины (körü, alp, töläk tämür и т. п.). Но заслуживает внимания в данном случае не только тот факт, что среди членов этой общности был относительно высокий уровень грамотности, но в не меньшей степени — характер грамотности: рядовой член общины мог самостоятельно, без консультаций составить юридический документ, т. е. обладать достаточными знаниями, чтобы принимать участие в делопроизводстве. Это ситуация особого рода, и она возможна в обществах, для которых характерна неглубокая профессиональная дифференциация, в которых определенный круг жизненно необходимых знаний и сведений является достоянием едва ли не всех членов, что неизбежно приводит к своеобразному способу экономии языковых форм, основывающейся на сокращении способов выражения при максимальной широте вкладываемой в них информации [17]. Слова и выражения оказываются насыщенными значениями, выходящими за пределы их общеязыкового значения. Эти значения более конкретны, более детализованы. Они контекстуальны и «замещают» ту ситуацию, в которой они систематически используются. В вышеупомянутом выражении bar yoq bolsar-män, буквально переводимом «буду я или нет», участок семантики, который остается нераскрытым при этом переводе, имеет ситуативный характер; в его основе лежит знание того, что в данном социуме поручительство за должника осуществлялось согласно принципу, предусматривающему ответственность поручителей в случае отсутствия (бегства, выезда и пр.) должника в момент выплаты долга, но не в случае его смерти [18]. Содержание стереотипных выражений asïγqa aldïm, tüškä aldïm также не ограничивается тем, что отражено в буквальном переводе «взял в долг под процент». Они заключают в себе дополнительное значение погашения процентов тем же самым предметом, что и предмет займа [19]; и эти факты не единичны. Значения, основанные на некоторых общих знаниях, которыми владеют члены данного общества, не отражены в составе текста и являются значениями конвенциональными. Вне общества, владеющего необходимыми

---

[16] A. v. Le Coq. Handschriftliche uigurische Urkunden aus Turfan. — Túrán. 1918, 8, с. 452.

[17] См.: Джон Л. Фишер. Синтаксис и социальная структура: Трук и Понапе. — Новое в лингвистике. Вып. 7. М., 1976, с. 412—413.

[18] M. Mori. A Study on Uygur Documents, с. 132—144.

[19] Там же, с. 118—119.

общими знаниями, это дополнительное значение словесных формул утрачивается. Не приходится говорить о том, сколь существенно с точки зрения изучения социальных ситуаций раскрытие дополнительного конвенционального значения коррелирующих с ними речевых событий. Но когда речь идет о памятниках прошлых эпох, нередко единственным источником сведений выступают те самые речевые события, которые предстоит дешифровать. В этих случаях малопригодны методы и приемы изучения ситуативного содержания текстов, рассчитанные на то, что ситуации, коррелирующие с речевыми событиями, доступны прямому наблюдению. Отсутствие возможности прямого наблюдения побуждает к поискам иных способов получения необходимой информации. Деловые документы как речевые события строятся по схемам, мотивированным их содержанием, и с этой точки зрения структура документов информативна отчасти и в отношении тех внетекстовых ситуаций, отражением которых эти документы являются. В самом непосредственном виде связь между схемой документов и отраженной в них ситуацией проявляется в том, что документы с жесткой системой альтернатив (документы о займе, аренде, продаже) имеют «жесткую» форму. В их построении недопустима индивидуальная вариативность; вариативность в них обусловлена изменениями в самой ситуации и также жестко фиксирована. В других типах документов (письмах, записях) допускается бóльшая свобода оформления. Между схемой документов и характером ситуации могут существовать и вторичные связи. Например, в двух разных типах документов — документах о займе и документах о продаже — пункт, содержащий мотивировку сделки, строится по единому образцу независимо от того, идет ли речь о недвижимом имуществе, скоте, рабах или мелких предметах домашнего обихода, небольших количествах сельскохозяйственных продуктов, ткани, вина и т. п. В этом пункте указывается всякий раз, что одному из контрагентов понадобилось нечто, в связи с чем совершена данная сделка. Как и в случае займа, так и в случае купли-продажи один из контрагентов выступает в роли просителя. Подобная форма взаимоотношений характерна для некоторых типов обществ, в которых акт купли-продажи и акт займа рассматриваются как проявление личных отношений [20]. Разумеется, в этом случае нельзя не учитывать того, что элементы ритуала могут быть заимствованными из других культур. В частности, схемы деловых документов в каких-то частях являются общими для ряда центральноазиатских обществ рассматриваемой

[20] См.: J. Hamilton. Un acte ouigour de vente de terrain provenant de Yar-Khoto. — «Turcica». T. 1. 1969, с. 37; J. Gernet. La vente en Chine d'après les contrats de Touen-houang (IX^e—X^e siècle). — T'P. Vol. 45. 1957, с. 325.

эпохи, что, вероятнее всего, является следствием взаимовлияния культур. Когда речь идет об элементах, заимствованных из других культур, важно установить прежде всего, остались ли они «внешними» по отношению к культуре данного общества или органично вошли в нее, приобретя статус факторов, регулирующих поведенческие нормы. В данном случае факт последовательной регистрации в документах актов купли-продажи независимо от ценности продаваемого имущества сам по себе говорит о том, что они имели в этом обществе знаковый смысл. Элементы культуры, которые хотя и проникли в какую-либо культурную среду, но не получили в ней знакового смысла, не регистрировались бы столь последовательно, так как с точки зрения отношений, имеющих место в данном социуме, они несущественны. Исходя из этого, можно предполагать, что сходство схемы документов в данном случае отразило сходство социального контекста.

Рассмотренные факты показывают, что структурная организация деловых документов также ориентирована на аккумуляцию некоторой семантики, не выраженной текстуально, но эта семантика имеет иную природу, чем метатекстовая семантика художественных текстов, созданных в том же обществе; соответственно различаются и способы ее реализации в структуре текста.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АY — Suvarṇaprabhāsa (Сутра Золотого блеска). Текст уйгурской редакции. Издали В. В. Радлов и С. Е. Малов. СПб.—Пг., 1913—1917 (Bibliotheca Buddhica. 17. Вып. 1—8).
Erntesegen — P. Zieme. Ein uigurischer Erntesegen. — Altorientalische Forschungen. III. Schr. Or., 1975.
Insadi — Semih Tezcan. Das uigurische Insadi-Sūtra. — Berliner Turfantexte. III. Schr. Or., 1974.
KP — J. R. Hamilton. Le conte bouddhique du Bon et du Mauvais prince en version ouigoure. P., 1971.
Mañjuśrī — G. Kara, P. Zieme. Die uigurischen Übersetzungen des Guruyogas «Tiefer Weg» von Sa-skya Paṇḍita und der Mañjuśrīnāmasaṃgīti. — Berliner Turfantexte. VIII. Schr. Or., 1977.
Schr. Or. — Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients. B.
TT II — W. Bang und A. von Gabain. Türkische Turfan-Texte. II. Manichaica. — SPAW Berl. 1929, 22, c. 411—429.
TT VI — W. Bang, A. von Gabain, G. R. Rachmati. Türkische Turfantexte. VI. — SPAW Berl. 1934, 10, c. 92—192.
СЦ V — Л. Ю. Тугушева. Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана. М., 1980.
СЦ VI — Неопубликованные фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана из рукописного собрания ЛО ИВАН СССР.
СЦ VII — A. von Gabain. Briefe der uigurischen Hüen-tsang-Biographie. — SPAW Berl. 1938, 29, c. 371—415.
СЦ X — Semih Tezcan. Eski uygurca Hsüan Tsang biyografisi. X bölüm. Ankara, 1975.
Ярлыки — Л. Ю. Тугушева. Ярлыки уйгурских князей из рукописного собрания ЛО ИВАН СССР. — ТС-1971. М., 1972, с. 244—260.

А. И. Чайковская

ФОРМЫ УСЛОВНОГО НАКЛОНЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ГРАММАТИКАХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

В ранних филологических трудах восточных авторов, посвященных тюркским языкам и написанных предположительно на территориях мамлюкского государства Египта и Сирии в XIII—XIV вв.[1], средства выражения условного наклонения представлены по-разному. Сочинения интересны как авторскими трактовками этого вопроса, значительно различающимися между собой, так и наличием редких для средневековья форм и малоупотребительных во многих современных языках сочетаний аффиксов. То и другое предоставляет новые возможности для решения некоторых старых, но все еще актуальных вопросов о соотношениях форм наклонения и времени в тюркских языках, а также дает полезный материал для исторической грамматики и диалектологии.

Автор труда «Ал-хилйа» Ибн Муханна упоминает условные формы в следующих, в целом немногочисленных случаях [2]:

1) одна из небольших глав сочинения посвящена «частице условия» äsä, которая определяется как соответствие союзу in

[1] См.: Э. Н. Наджип. Кыпчакско-огузский литературный язык мамлюкского Египта XIV в. АДД. М., 1965; Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, с. 70—74; З. Б. Мухамедова. Исследования по истории туркменского языка XI—XIV вв. Аш., 1973; А. К. Курышжанов. Язык старокыпчакских письменных памятников XIII—XIV вв. АДД. А.-А., 1973; O. Pritsak. Das Kiptschakische. — PhTF. T. 1. 1959, с. 74—87.

[2] Цит. по: П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900. См. также: Ahmed Rif'at. Kitāb ḫiljat al-insān wa ḫalbat al-lisān. İstanbul, 1340/1921 (на араб. яз.); С. Е. Малов. Ибн-Муханна о турецком языке. — ЗКВ. Т. 3. Вып. 2. Л., 1928, с. 221—248; A. Battal. Ibnü-Mühenna lûgatı. İstanbul, 1934; A. Taymas, H. Eren. Ibnü-Mühenna lûgatı hakkında. — Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. Ankara, 1950; З. Б. Мухамедова. Об изданиях некоторых арабоязычных филологических сочинений XI—XIV вв.—ИАН ТуркмССР. Серия общественных наук. 1967, № 1, с. 70—74; Юсиф-Зия Ширвани. Некоторые замечания относительно Ибн-Муханны и его сочинения. — Структура и история тюркских языков. М., 1971, с. 296—300.

'если' в арабском языке: Zajd barɣaj äsä bilän barɣaj-män 'Если пойдет Зейд, я пойду с ним' (с. 16 : 021—022). Следует отметить, что на письме эта частица передается как اسا или اسه, но огласована она в единственном случае как äsä (أسا). Как отмечает П. М. Мелиоранский, частица äsä в арабском письме обычно передается как ايسه, т. е. иначе, чем у Ибн Муханны (с. 021);

2) к «частицам условия» в «Ал-хилйа» отнесены также местоимения nä и kim. Первое рассматривается как соответствие арабскому союзу условия mahmā 'что бы ни'; приведен пример: mänüm bilän [nä] igülük äd-är-sä-n tapuq ät-gä-män jaxšylyɣy qadarynča 'Что бы ты ни сделал мне хорошего, я [за все] услужу тебе соответственно' (с. 17 : 022), в котором само местоимение nä отсутствует. Местоимение же kim представлено как соответствующее арабскому союзу условия man 'кто бы ни': kim gäl-ür-sä gälsün 'кто бы ни пришел, пусть приходит' (с. 17 : 022). В обоих примерах наличие аффикса -sä в составе тюркского глагола оставлено автором сочинения без внимания;

3) аффикс -sa упоминается в главе о будущем времени, где «сйн» и «алиф» (т. е. -sa/-sä) рассматриваются в качестве одной из примет будущего времени, употребляющейся в «редких случаях» и имеющей значение, аналогичное союзу условия iδā 'когда'. Подчеркивается, что сказуемое при этом должно стоять в форме будущего времени на -ɣa(j): gün toɣ-sa sängä gäl-gä-män 'когда солнце взойдет, я к тебе приду' (с. 33 : 029).

Во всех случаях автор сочинения не выделяет аффикса -sa/-sä в составе глагольной формы как показатель условия, разграничивает функции аффикса -sa и вспомогательного глагола äsä и вообще не рассматривает глагольную форму как средство выражения условия. В этом, несомненно, сказалось влияние арабской грамматики. В арабском языке значение условия передается лексическими средствами, а именно условными союзами, причем «условный» тип предложения не сказывается на форме глагола. Видимо, поэтому и в тюркском языке Ибн Муханна обратился к лексическому инвентарю в поисках средств выражения условия, аналогичных арабским. Поскольку äsä он рассматривал как неизменяемую часть речи, эта «частица» и была избрана в качестве тюркской аналогии арабским условным союзам.

В сочинении «Ал-идрак» Абу Хаййана [3] средства выражения условия рассматриваются в разделе синтаксиса (с. 152—154). В отличие от Ибн Муханны Абу Хаййан выявляет, что значения,

[3] Цит. по: A. Caferoğlu. Kitāb al-Idrāk li-lisān al-Atrāk. Endülüslü Esiriddin Abu Hayyan eseri. İstanbul, 1931. См. также: М. Н. Маженова. Абу-Хаййан — исследователь кыпчакского языка (материалы к истории казахского языка). АКД. А.-А., 1969; Н. А. Расулова. Исследование языка «Китāб ал-идрāк ли-лисāн ал-атрāк» Абу Хаййана (морфология, лексика и глоссарий). АКД. Таш., 1969.

передаваемые в арабском языке различными условными частицами, в тюркском выражаются формой глагола с «частицей -sa». Этот показатель условия -sa присоединяется непосредственно к основе глагола, положительной или отрицательной, и между ними «ничего нельзя вставлять». В зависимости от временной отнесенности условного действия автор делит глаголы условного наклонения на две группы. Он пишет, что условное действие может относиться или к плоскости будущего времени — и тогда будет соответствовать значению арабского условного предложения с союзом in ʻеслиʼ, — или к плоскости прошедшего времени, что в арабском языке передается конструкцией с союзом law ʻесли быʼ. Заметим, что в арабском эти типы условных конструкций противопоставлены друг другу как выражающие реальное и ирреальное условие соответственно. При этом конструкцией с in передается действие, относящееся к будущему времени, а с союзом law — условное предположение или невыполненное условие в прошлом [4].

Как пишет Абу Хаййан, в тюркском языке условие для будущего времени выражается формой, образованной присоединением аффикса -sa/-sä непосредственно к основе глагола. При этом глагол следствия, т. е. сказуемое главного предложения, должен стоять в форме будущего времени: Sanǯar tur-sa Sonqur tur-γaj — in qāma Sanǯar qāma Sonqur ʻесли встанет Санджар, встанет Сонкурʼ; tur-sa-n tur-γa-män — in qumta qumtu ʻесли встанешь ты, встану яʼ (с. 152). В комментарии к этим примерам Абу Хаййан проводит интересную параллель. Он замечает, что в арабском условном предложении с союзом ʼin перфектная форма условного глагола qāma не выражает прошедшего времени, а замещает форму будущего, и точно так же в тюркском языке повелительная форма, являющаяся основой условного глагола, выражает не повеление, а условие для будущего времени (с. 152). Это замечание Абу Хаййана отчетливо характеризует его метод исследования тюркского языка как сравнительно-сопоставительный.

Вспомогательный глагол isä рассматривается в сочинении «Ал-идрак» в отличие от «Ал-хилйа» как обычная форма условия от основы глагола i- ʻбытьʼ: «Sanǯar da turdy isä Sonqur turmyštur — здесь sä — частица условия, i- — глагол в значении kāna (ʻбыть, статьʼ)» (с. 152).

К плоскости прошедшего времени относится, по Абу Хаййану, условное действие, выражаемое в тюркском языке следующими глагольными образованиями: tur-myš-missä idin tur-myš-ydym — law qumta qumtu ʻесли бы ты встал, встал бы яʼ; Sanǯar tur-myš-missä Sonqur tur-myš-ydy — law qāma Sanǯar qāma Sonqur ʻесли бы Санджар встал, встал бы и Сонкурʼ (с. 153); Sanǯar

---

[4] Б. М. Гранде. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М., 1963, с. 423—425.

dägül-missä Sonqur tur-myš-ydy — law lā Sanǯar qāma Sonqur 'если бы не Санджар, Сонкур бы встал'; män dägül-missä-m Sanǯar tur-myš-ydy 'если бы не я, Санджар бы встал' (здесь: -missäm < -missä idim, с. 154); biz dägül-missä-j-idü-k Sanǯar tur-myš-ydy 'если бы не мы, Санджар бы встал'; sän dägül-missä-j-idü-n 'если бы не ты'; anlar dägül-missä idi-lär 'если бы не они' (с. 154).

В приведенных примерах Абу Хаййан выделяет аффикс -missä как передающий значение нереального условия и называет его «частицей нереальности наличия/существования и [отсутствия] правдивости речи» (с. 154). Аффикс -missä он рассматривает как сложный, состоящий из -mis- и «частицы условия» -sä («-sä в -missä есть частица условия», с. 154). Автор пишет, что формант -mis- не употребляется, когда «сказуемым является глагол», т. е. при образовании условной формы от основы глагола: käškä Zajd čyq-sa-jdy.'o, если бы Зейд вышел!' (с. 127). По его свидетельству, форма с показателем -mis- образуется только от именных частей речи (заметим, что в арабской грамматике к классу имен относятся и причастия): käškä Sanǯar ävdä-missä-jdi 'о, если бы Санджар был дома!'; käškä Sanǯar kül-är-missä-j-idi 'о, если бы Санджар рассмеялся!' (с. 127).

Абу Хаййан указывает, что формы условия для прошедшего времени употребляются при выражении действия, которое должно было произойти, чтобы совершилось другое действие (с. 152).

Подробное описание автором «Ал-идрак» значений и особенностей употребления аффикса -missä представляет большую ценность, ибо по другим источникам эта форма не известна.

Фонетически формант -mis- в -missä близок к аффиксу -myš. Однако по функциональной нагрузке, по особенностям формообразования и употребления они различны. Так, в «Ал-идрак» формант -mis- не употребляется самостоятельно, а только в сочетании с аффиксом -sa; -mis- не участвует в образовании условных форм от повелительной основы глагола: нельзя образовать словоформу типа tur-missä, но можно — типа tur-myš-sa; аффиксы -myš и -missä могут употребляться вместе (tur-myš-mis-sä). Вполне допустимо, что этимологически -myš и -mis- были вариантами одной морфемы, однако функционально, в рамках системы глагола диалекта/языка XIV в., представленного в «Ал-идрак», они являются разными морфемами.

Абу Хаййан отмечает специфическое употребление глагола в условной форме в функции определения к подлежащему в составе определительной конструкции: käldi ol kim kör-sä-n säv-gä-sän 'пришел тот, которого, если увидишь, полюбишь' (с. 119); turdy bir är kim kör-är-sä-n säv-gä-sän 'встал один мужчина, которого, если увидишь, полюбишь' (с. 148). Употребление условной формы глагола в этой функции не зафиксировано исследователями других памятников письменности.

Относительно тюркской условной конструкции с местоимением kim Абу Хаййан замечает, что в отличие от арабского языка в тюркском «нет имени, выражающего значение условия» (с. 124). Он пишет: «Аналогично [арабскому] man taḍrib aḍrib ʿкого ты ударишь, я ударю' [тюрки] скажут kimni ur-sa-n/ur-ɣa-sa-n ur-ɣa-män. [Тюрки здесь] приводят и частицу условия, и имя. В арабском же имя содержит в себе значение условной частицы. В этом [тюркском] языке имя отделяют от значения условия, выражая его частицей» (с. 153).

Таким образом, налицо коренное отличие между Ибн Муханной и Абу Хаййаном в понимании сути условного наклонения и его реализации в тюркском языке, хотя оба они исходили из арабской лингвистической схемы. Добросовестное изучение способов выражения грамматических категорий, известных исследователю из грамматической схемы арабского языка, позволило автору сочинения «Ал-идрак» сделать правильные выводы, хотя они и не укладывались в исходную схему арабской грамматики.

Следует отметить, что Махмуд Кашгарский правильно рассматривает глагольную форму с показателем -sa/-sä в качестве средства выражения условия в тюркских языках [5].

В «Ат-тухфа» анонимного автора [6], как и в «Ал-идрак», условным формам посвящена отдельная «Глава об условии» (с. 62б—65б), но формы условного наклонения трактуются иногда отлично от «Ал-идрак» и представлены богаче по объему.

Сообщается, что условные формы тюркского глагола соответствуют по значению условным частицам арабского языка. Они делятся на формы для прошедшего и для будущего времени. Соответственно разделяются и арабские условные частицы: в группу выражения будущего времени включены: in, law и iδā, а в группу прошедшего времени — lawlā, lawmā, kullumā (kullamā?), matâ, matâmā, mahmā, ajjun, ajjumā. Такое деление совершенно не соответствует грамматическому значению этих союзов [7]. Что касается тюркского языка, то это деление на временные плоскости также не выдерживается, далее автор выделяет не две, а четыре разновидности условных форм тюркского глагола:

---

[5] М а ҳ м у д К о ш ғ а р и й. Девону луғотит турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Т. 3. Тошкент, 1963, с. 225.

[6] Цит. по: T. H a l a s i - K u n. La langue des Kiptchaks d'après un manuscrit arabe d'Istanboul. P. 2. Budapest, 1942 (Bibliotheca Orientalia Hungarica. 4). См. также: Ettühfet-üz-Zekiyye fil-lûgat-it-Türkiyye. Çeviren Besim Atalay. İstanbul, 1945; Аттуҳфатуз закияту филлуғатит туркия. Туркий тил (қипчоқ тили) ҳақида ноёб туҳфа. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. Тошкент, 1968; М. Т. З и я е в а. Исследование памятника XIV в. «Китāб ат-туҳфат уз-закиййа фил-луғат-ит-туркиййа» (лексика, морфология, словообразование). АКД. Таш., 1972; Э. И. Ф а з ы л о в. Замечания о рукописи и языке «Ат-туҳфа». — «Turcologica» (К семидесятилетию академика А. Н. Кононова). Л., 1976, с. 334—340.

[7] См.: Б. М. Г р а н д е. Курс арабской грамматики, с. 423—427.

1. Условие в *амре* [как и Абу Хаййан, автор сочинения «Ат-тухфа» отмечает, что повелительная форма глагола (основа), к которой присоединяется аффикс -sa/-sä, значения повеления не передает, а употребляется вместо формы глагола будущего времени]: tur-sa-n tur-γaj-män — in qumta anta aqum anā 'если ты встанешь, встану и я' (с. 63б); bi tur-sa tur-ar-män — пример переводится на арабский язык тремя способами: 1) [in?] qāma al-amīru qumtu '[если] встанет бек, и я встану'; 2) iδā qāma al-amīru 'когда встает / встанет бек...'; 3) law qāma al-amīru 'если бы бек встал...' (с. 63а).

Исходя из деления в «Ат-тухфа» условных частиц арабского языка на две группы, можно предположить, что действие, выраженное словоформой tur-sa, отнесено к плоскости будущего времени, поскольку все три арабских союза в переводе причислены к группе частиц будущего времени. Однако грамматически правильный перевод арабских условных предложений показывает разноплановость временной отнесенности действия, выраженного тюркской формой tur-sa. Такой перевод скорее свидетельствует об отсутствии у нее самостоятельного временного значения.

Отметим, что по сравнению с «Ат-тухфа» в сочинении Абу Хаййана, известного арабского ученого-филолога, аналогия между тюркскими условными формами глагола и арабскими условными союзами проведена более грамотно и логично, с учетом основных дифференциальных признаков сравниваемых форм.

2. Условие в прошедшем времени: bi tur-dy-sa tur-ur-män (с. 63а) — перевод отсутствует; bi tur-dy-sa quly tur-myš-dur 'если бек встал, его раб стоит' (с. 64а); bi tur-dy isä tur-ar-män 'если бек встал, встану и я' (с. 63а).

3. Условие в настоящем времени: bi tur-ar-asa tur-ar-män (с. 63а) — перевод отсутствует; bi tur-ar-sa tur 'если встает бек, встань'; bi tur-mas-sa tur-ma — перевод отсутствует (с. 64б); bi tur-ar isä (с. 63б) — перевод отсутствует; tüš-är-sä-ŋ igilik tap-γaj-sän (с. 59б) — перевод не ясен: 'если найдешь жилище, будет хорошо'?

4. Условие в будущем времени: bi tur-γaj-sa tur-ar-män (с. 63а); tur-γaj isä (с. 63б) — переводы отсутствуют.

Приведен также пример, в котором временная отнесенность условного действия не указана: bi tur-myš-sa quly tur-myš-tur — in al-amīru qāimun mamlūkuhu qāimun 'если бек стоит, его раб стоит' (с. 64б) — предложение арабского перевода составлено грамматически неверно.

Таким образом, в «Ат-тухфа» глагольные формы, выражающие условие, представлены в сочетании со всеми временными аффиксами, что и легло в основу их классификации автором сочинения.

Обращает на себя внимание показатель условия asa, упомянутый в «Ат-тухфа» в единичном случае (bi tur-ar-asa tur-ar-män,

с. 63а). Этот показатель в нескольких случаях отмечен Г. Телегди в тексте филологического трактата неизвестного автора XV в. «Ал-praканин»: aldym- (aldyn-, aldyq-, aldyŋyz-)asa; aldyjasalar, aldylyrasa; alurasam, kätäräsäm [8]. Данные «Ал-каванин» и «Ат-тухфа» подтверждают вероятность употребления в диалекте, известном Ибн Муханне, именно формы äsä как фонетического варианта isä. В исследованиях других памятников кыпчакских, карлукских и огузских языков данного периода формы äsä нет.

В рассматриваемых грамматиках можно выделить следующие типы условных образований:

1. tur-sa (+ -m, -n, -q, -nyz, -lar)
2. tur-dy-sa; tur-dy isä
3. čyq-sa-jdy
4. tur-γaj-sa; tur-γaj isä; ur-γa-sän; bar-γaj äsä
5. tur-ar-sa; tur-ar isä; tur-ar-asa; gäl-ür-sä; ajt-yr-sa-ŋ, tur-ur-sa-n, käl-mäz-sä-ŋ
6. tur-myš-sa
7. tur-myš-missä
8. tur-myš-missä idi-n/idi-m
9. kül-är-missä-jdi
10. dägül-missä (+ -m)
11. ävdä-missä-jdi; dägül-missä-j-idi (+ -lär), dägül-missä-j-idü (+ -k, -n).

По структуре формы делятся на простые, сложные и аналитические.

К простым относятся образования 1-го типа: показатель условного наклонения присоединяется непосредственно к основе глагола, позитивной или негативной. В полной парадигме спряжения этот тип представлен в «Ат-тухфа» (с. 51б, 63б):

	ед. ч.	мн. ч.
1-е л.:	tur-sa-m, käl-sä-m	tur-sa-q, käl-sä-k
	tur-ma-sa-m, käl-mä-sä-m	tur-ma-sa-q, käl-mä-sä-k
2-е л.:	tur-sa-n(ŋ), käl-sä-ŋ	tur-sa-ŋyz, käl-sä-ŋiz
	tur-ma-sa-ŋ, käl-mä-sä-ŋ	tur-ma-sa-ŋyz, käl-mä-sä-ŋiz
3-е л.:	tur-sa, käl-sä	tur-sa-lar, käl-sä-lär
	tur-ma-sa, käl-mä-sä	tur-ma-sa-lar, käl-mä-sä-lär

Аналогичная парадигма представлена в «Ал-идрак» (с. 153). В «Ал-хилйа» приводится только форма 3-го л. ед. ч. этого типа (toγ-sa, с. 33).

Сложными являются образования 2, 4, 5, 6, 7 и 10-го типов, которые характеризуются присоединением аффикса -sa/-sä после показателя времени: -dy + -sa, -^{0}r + -sa, -γaj + -sa, -myš + -sa, а также -missä + именная основа или причастие.

[8] G. Telegdi. Al-Qawānīn. . . Eine türkische Grammatik in arabischer Sprache aus dem XV. Jhdt. — KCsA. Ergänzungsband 1. H. 3. Budapest — Leipzig, 1938, c. 297.

Аналитические образования представлены 3, 8, 9 и 11-м типами условных форм, где показатель прошедшего времени глагол-связка idi присоединяется к показателю условного наклонения.

Как явствует из рассматриваемых грамматик, спряжение всех типов форм условного наклонения осуществлялось с помощью усеченных аффиксов лица.

Материалы других средневековых памятников свидетельствуют об употребительности как усеченных, так и полных аффиксов лица при спряжении глаголов условного наклонения [9]. По наблюдениям исследователей, парадигма спряжения условных форм глагола с полными аффиксами лица является более древней. Она отмечается в памятниках вплоть до XV в., хотя переход к усеченным формам спряжения зафиксирован начиная с XI в.[10].

Следует отметить, что в исследуемых сочинениях вспомогательный глагол-связка в условных формах фигурирует только в виде idi и isä/äsä, что, как известно, более характерно для огузских языков. Варианты ärdi и ärsä не встречаются.

Значения условных форм тюркского глагола авторы арабоязычных грамматик определяют термином šart 'условие'. Они не упоминают значений желания, просьбы, цели, намерения, повеления, не указывают временной плоскости свершения другого действия и т. д., отмечаемых современными исследователями [11]. Между тем в текстах сочинений встречаются примеры, где условные формы выступают в значениях желания [käškä Zajd čyqsajdy 'о, если бы Зейд вышел!' («Ал-идрак», с. 127)] и обозначают различные временные плоскости свершения другого действия [gün toɣsa sängä gälgä-män 'когда солнце взойдет, я к тебе приду' («Ал-хилйа», с. 33 : 029)].

Авторы всех трех рассматриваемых сочинений пишут, что форма типа tur-sa, т. е. простая форма условного наклонения, выражает значение будущего времени, и отмечают, что сказуемое предложения следствия должно при этом стоять в форме будущего времени. Однако, как показывают примеры, именно это обстоятельство и обусловливает временную семантику условного глагола типа tur-sa. К такому выводу приходят и некоторые совре-

---

[9] Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. Т. 3, с. 225; Э. И. Фазылов. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV в. АДД. Таш., 1967, с. 69; М. Ш. Рагимов. История формирования наклонения глагола в азербайджанском языке. АДД. Баку, 1966, с. 66; Ғ. Абдураҳмонов, Ш. Шукуров. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Тошкент, 1973, с. 149—150.

[10] Ш. Шукуров. Наклонения и времена глагола в письменных памятниках узбекского языка в сравнительном освещении. АДД. Таш., 1974, с. 58—62.

[11] Э. И. Фазылов. Староузбекский язык, с. 69—71; М. Ш. Рагимов. История формирования наклонений глагола, с. 69—70; Ш. Шукуров. Наклонения и времена глагола, с. 65—67.

менные исследователи средневековых тюркских языков: «Форма на *-са* имеет относительный характер, т. е. она может выражать действие (условие), отнесенное к будущему или к прошедшему времени, или в „общевременном" значении» в зависимости от «временного значения второго глагола, выступающего в функции сказуемого главного предложения» [12].

Во многих работах, посвященных тюркским языкам — как современным, так и средневековым, — в условном наклонении традиционно выделялись два времени: будущее (или настояще-будущее) и прошедшее. При этом простые формы условия рассматривались как формы будущего (настояще-будущего) времени условного наклонения, а все прочие — как формы прошедшего времени условного наклонения. Некоторые современные исследователи классифицируют условные формы также по принципу реальности/ирреальности условного действия, выделяя при этом простые формы условия (повелительная форма + -sa) как выражающие условие реальное, и все остальные — как выражающие условие ирреальное [13].

Фактически этот же принцип применен и Абу Хаййаном. В «Ал-идрак» представлены два ряда условных форм глагола, различающихся как морфологически, по способу формообразования, так и семантически, характеристикой условного действия, реального или ирреального. Как было показано выше, оба ряда четко разграничены самим автором сочинения. Один ряд составляют формы, образованные присоединением аффикса -sa (с последующими показателями лица/числа) непосредственно к основе глагола, позитивной или негативной. Семантически такой формой передается реальное условие, относящееся к любой временной плоскости или безотносительно ко времени, в зависимости от временной формы сказуемого главного предложения или от контекста. Другой ряд составляют формы, образованные от причастных глагольных форм или от именных частей речи путем присоединения сложного аффикса -missä. Семантически эти формы выражают условие ирреальное (что подчеркивается наличием форманта -mis-), относящееся к той временной плоскости, на которую указывает временной аффикс, входящий в состав такой формы.

Классификация условных форм, которую мы находим у Абу Хаййана, относительно оправдана лишь в рамках системы форм «Ал-идрак» (относительно, так как невключенными остаются формы типа čyq-sa-jdy, ur-γa-sa-n, tur-ur-sa-n, отмеченные в тексте).

---

[12] Ш. Шукуров. Наклонения и времена глагола, с. 64—65; М. Ш. Рагимов. История формирования наклонений глагола, с. 72.

[13] А. М. Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.—Л., 1962, с. 161.

Этот принцип не применим к системе форм условного наклонения, представленного в «Ат-тухфа», где они дифференцируются в зависимости от своей оформленности временными аффиксами.

В «Ат-тухфа» условное действие, выраженное словоформой, содержащей и временной аффикс, относится к той временной плоскости, на которую показатель времени указывает. Условная форма глагола, не содержащая временного аффикса, взятая вне контекста, во временном отношении нейтральна, что подтверждается трояким способом ее перевода в сочинении.

Следует подчеркнуть, что во всех рассмотренных случаях аффиксы -dy, -myš, -°r, -γaj выступают как средство, выражающее характер протекания условного действия во временном плане, и представляют две временные плоскости его свершения: прошедшего (сочетания с idi) и непрошедшего (сочетания с -myš, -°r, -γaj). Формы внутри второго ряда дифференцируются в зависимости от их отдаленности от момента речи (при этом, как свидетельствует арабский перевод, формой на -myšsa передается условное действие, совпадающее с моментом речи) и от модальной окрашенности, т. е. по признакам, характерным для данных показателей времени в рамках индикатива, представленного в рассматриваемых сочинениях. Сказанное позволяет заключить, что в тюркских языках мамлюкского государства XIII—XV вв. грамматические показатели времени и наклонения глагола были дифференцированы. При этом категория времени реализовалась и в микросистеме кондиционалиса (кроме индикатива).

Таким образом, в рассматриваемых средневековых арабоязычных грамматиках различие в авторских трактовках средств выражения условия в тюркских языках сводится к тому, что Ибн Муханна в этом качестве рассматривает лексические единицы — «частицы» isä/äsä, kim, nä; Абу Хаййан — глагольные формы двух видов, противопоставленные по принципу реальности/ирреальности условного действия; анонимный автор «Ат-тухфа» — глагольные формы условия в сочетании с различными временными аффиксами, определяющими временную отнесенность условного действия. Условные формы глагола, представленные в этих грамматиках, в основном известны по другим памятникам кыпчакских, огузских и карлукских языков. Исключение составляют формы с -missä, приводимые Абу Хаййаном. Малоизвестен также формант äsä.

Как показало проведенное исследование, дифференциальным значением условных форм тюркского глагола, представленного в арабоязычных грамматиках XIV в., является выражение неосуществленного действия, реальное свершение которого может быть или не быть возможным в той или иной временной плоскости или безотносительно ко времени, в зависимости от наличия показателя времени и его разновидности.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АДД — Автореферат докторской диссертации.
АКД — Автореферат кандидатской диссертации.
АО — Археологические открытия.
ВЯ — Вопросы языкознания. М.
ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения». СПб.
ЗВОРАО — «Записки Восточного отделения (Имп.) Русского археологического общества». СПб., Пг.
ЗИВАН — «Записки Института востоковедения АН СССР». Л.
ЗКВ — «Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии наук (Академии наук СССР)». Л.
ЗРГО — «Записки Имп. Русского географического общества». СПб.
ИАК — Известия Археологической комиссии.
ИАН СССР — «Известия Академии наук СССР». М.—Л.
ИАН ТуркмССР — «Известия Академии наук Туркменской ССР». Аш.
ИВСОРГО — «Известия Восточно-Сибирского отдела Имп. Русского географического общества». Иркутск.
ИОРЯС — «Известия Имп. Академии наук по Отделению русского языка и словесности». СПб.
КСИА — «Краткие сообщения Института археологии АН СССР».
КСИИМК — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР». М.—Л., М.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МЭ — Материалы по этнографии.
НАА — «Народы Азии и Африки. История, экономика, культура». М.
ОЛЯ — Отделение литературы и языка.
ППВ — «Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. Ежегодник». М.
СА — «Советская археология». М.
САИ — Свод археологических источников.
СВ — «Советское востоковедение». I—VI. М.—Л. (1940—1949); М. (1956—1959).
СМАЭ — «Сборник Музея антропологии и этнографии». М.—Л.
СТ — «Советская тюркология». Баку.
СТОЭ — Сборник трудов Орхонской экспедиции. Т. 1—6. СПб.
СЭ — «Советская этнография». М.—Л., М.
ТС — Тюркологический сборник.
УЗ ГАНИИЯЛИ — «Ученые записки Горно-Алтайского научно-исследовательского института языка, литературы, истории».
УЗИВАН — «Ученые записки Института востоковедения АН СССР». М.—Л., М.
УЗ ТНИИЯЛИ — «Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории».
AOH — «Acta orientalia Academiae scientiarum hungaricae». Budapest.

APAW — «Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften». Philologisch-historische Klasse. B.
GMS NS — «E. J. W. Gibb Memorial» Series. New Series.
JA — «Journal asiatique». P.
JSFOu — «Journal de la Société Finno-ougrienne». Helsinki.
KCsA — «Kéleti Szemle (Revue orientale)». Budapest.
MSFOu — «Mémoires de la Société Finno-ougrienne». Helsinki.
NAW — «Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen».
PhTF — Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden.
RHR — «Revue de l'histoire des réligions». P.
RO — «Rocznik Orientalistyczny». Lwów (Kraków).
SBAW Berl. — «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst».
SBAW Wien — «Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften». Wien.
StO — «Studia orientalia». Helsinki.
TDAY — «Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten». Ankara.
T'P — «T'oung Pao, ou Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie, l'ethnographie et les arts de l'Asie Orientale». Paris — Leiden.
UAJ — «Ural-altaische Jahrbücher». Wiesbaden.
ZAS — «Zentralasiatische Studien». Wiesbaden.

3 р. 10 к.